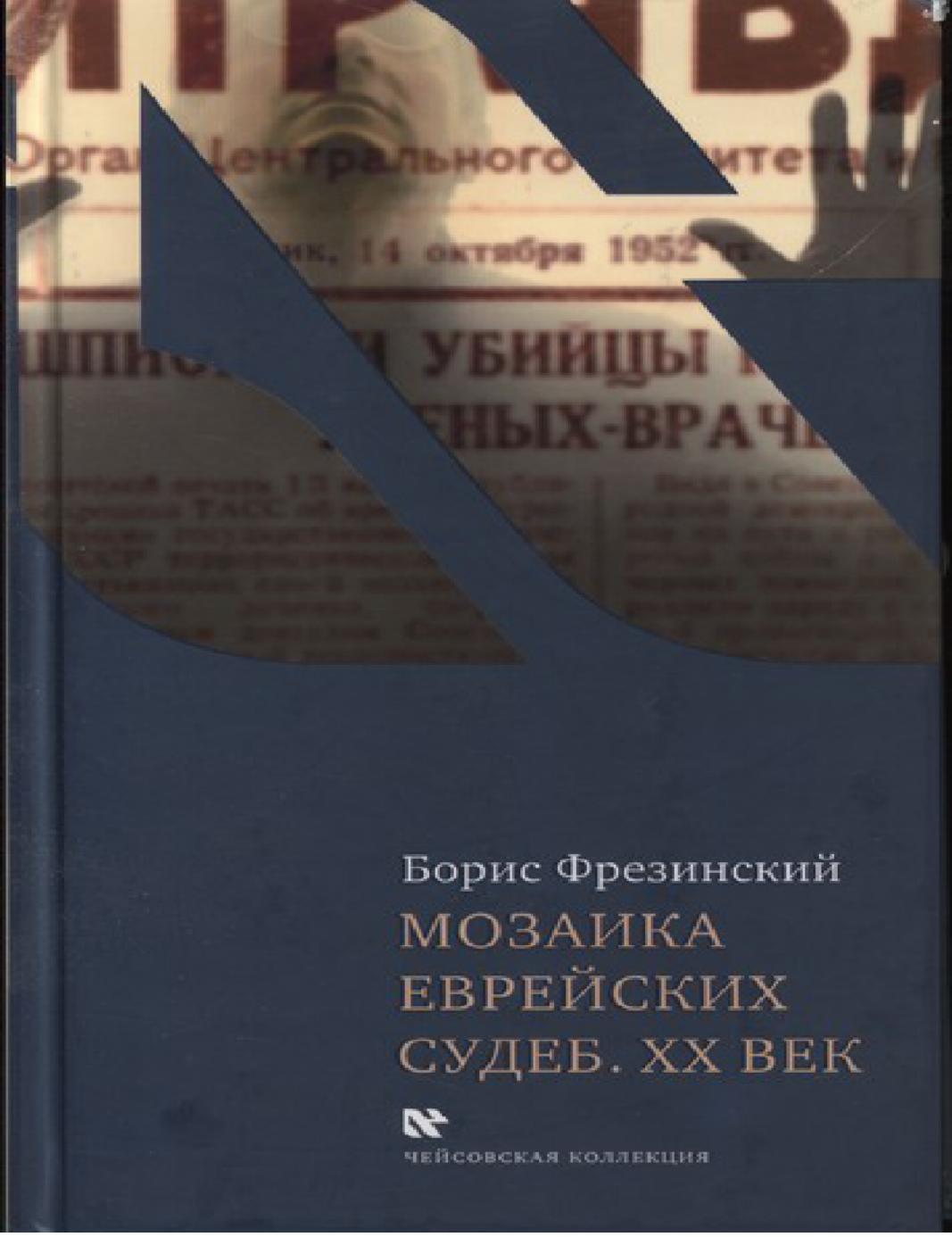

Борис Фрезинский
МОЗАИКА ЕВРЕЙСКИХ СУДЕБ. XX ВЕК
ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…

- Борис Фрезинский
  - От автора
  - I
    - «Подвиг» чекистов
    - Генерал Сергей Трофименко и актер Соломон Михоэлс
    -
      -
      -
      -
      -
  - II
    - Натан Альтман в Париже и в Питере
      -
      -
      -
    - Серж Фотинский — парижский художник
      -
      -
      -
      -
    - Рисунки Лидии Эйдус (мир Кафки)
      -
      -
      -
  - III
    - Максим Максимович Литвинов
      -
      -
      -
    - Любовь и вера, мука и стойкость
      -

- IV
  - Скандалист Виктор Шкловский
  - Зовущий «На Запад!» Лев Лунц
  - Михаил Слонимский, обреченный на писательство
  - Вениамин Каверин в Северной столице
  - Серапионова сестра Елизавета Полонская
  - Французский писатель Vlad Pozner
  - Евгений Шварц, классик
  - Григорий Козинцев: роман судьбы
  - Современник Мандельштама Борис Лапин

- Золотая пчела (Овадий Савич)
- Илья Ильф. Весна 1937-го
- Большой человек Гроссман
- Нас не нужно жалеть (Семен Гудзенко)
- Поэт Авром Суцкевер — в тридцать и в девяносто
- Глаза Маши Рольникайте
- Жизнь после смерти (Лев Дановский)

○ V

- Два промежутка из долгой жизни Лидии Сегаль-Бродской (Фрагменты судьбы)
  - 1915–1916
  - 1937–1943
- Влюбленный в Пушкина Путерман

- Берлинские годы Семена Либермана — поэта, редактора, человека книги и театра
  - I. Группа «4 + 1»
  - II. «Russische Rundschau»
  - III. Стезя театральная
  - IV. Московский эпилог
  - Приложение
- Пять жизней Марселя Райх-Раницкого
- Лазарь Лазарев — критик, редактор, мемуарист
- Случай Бенедикта Сарнова
- Судьба Бориса Чернякова
- Михаил Балцвиник — его стихи и его собрание
- Он дышал воздухом истории (А. И. Добкин)
  - Аннотированный именной указатель
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

Борис Фрезинский
Мозаика еврейских судеб. XX век

От автора

Эта книга — отнюдь не монография.

Она составлена из разных (даже по жанру) сюжетов, написанных в разное же время, но всякий раз по внутреннему интересу автора.

В книге речь идет о судьбах очень разных людей творческих профессий; среди ее героев больше всего писателей, есть и художники, и деятели театра и кино, журналисты, политики. Все они работали в XX веке и все родились на территории Российской империи (а более молодые — в СССР), хотя жили и за ее пределами. Мне могут возразить, что, скажем, Марсель Райх-Раницкий родился в той части Польши, которую в свое время захватила вовсе не Россия, но и ему после Второй мировой войны пришлось жить и работать в Польской Народной Республике, пребывавшей под сапогом СССР…

Всех героев этой книги на излете советского режима именовали лицами еврейской национальности — независимо от того, считали они себя иудеями, христианами, атеистами или коммунистами. Всех — даже «половинок», которых соответствующие службы окрестили для себя и для потребителей своей информации «Ивановыми по матери» и про которых считали, что им, так же как и полновесным евреям, доверять тоже не рекомендуется.

В книге 31 персонаж; это не так уж и мало, и в некотором смысле можно считать ее состав выборкой, в той или иной мере представительной. А коли так, читатель может сам поразмышлять над тем, что это: просто рассказы о жизни и работе советских деятелей, скажем, культуры, или речь и впрямь идет о неких специфических судьбах, сложившихся так, а не иначе исключительно вследствие национального происхождения героев; а если и не исключительно, то все же не без некоторого влияния этого самого происхождения.

Никакая задача научного выявления указанных специфических особенностей автором не ставилась. Так что, скорее, это книга о том, как по-разному складывались судьбы людей еврейского происхождения, работавших на территории существовавшего еще недавно «социалистического лагеря», или концлагеря (если кому-то это кажется более точным выражением).

В любом случае нельзя не признать, что не только в России судьба еврейского населения в XX веке была одной из наиболее сложных, а по временам и трагических…

Может быть, и любопытно было бы составить из написанного автором в разное время книгу очерков о судьбах деятелей культуры и политики нееврейского происхождения (скажем, о Замятине и Шостаковиче, о Волошине и Цветаевой, Зощенко и Ахматовой, Федине и Павленко, Николаях Тихонове и Акимове, об Окуджаве и Вс. Иванове, Бухарине и Хрущеве…) и сравнить получающиеся мозаики, но автор и в будущем такой задачи себе не ставит.

Конечно, не случайно книга начинается с убийства Михоэлса — знакового преступления для советской эпохи, обозначившего начало нового политического курса Сталина. И это для книги — своего рода трагический камертон.

I
Убийство Михоэлса

«Подвиг» чекистов

Поздним вечером 12 января 1948 года в Минске палачи из госбезопасности по прямому указанию Сталина убили Соломона Михайловича Михоэлса — народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного еврейского театра, председателя Еврейского антифашистского комитета СССР (ЕАК), человека мировой славы и мирового авторитета. Это убийство — первое в длинной серии разработанных «органами», в серии, осуществление которой прервала лишь смерть главного заказчика.

Если бы, казнив Михоэлса, ГБ тут же объявила его врагом, шпионом и кем угодно еще, страна это приняла бы покорно: граждане СССР не имели права сомневаться в справедливости всего, что творили под общим руководством вождя доблестные чекисты. Но в случае С. М. Михоэлса реализован нестандартный вариант — после казни были напечатаны официальные некрологи «выдающемуся советскому художнику» (в них Михоэлс даже не «погиб», а попросту «умер»), организованы торжественные похороны, проведены вечера памяти, театру и студии присвоено имя покойного, создан его мемориальный кабинет. Все это, безусловно, подтверждало официальную версию: не казнь, не убийство, а смерть в результате случайного автомобильного наезда. Но тогда, рассуждали граждане, это дело находится в компетенции не ГБ, а всего лишь милиции, а милиция как-никак имела право на отдельно взятые ошибки, во всяком случае, сомнения в правильности ее действий преследовались не столь сурово.

Так поползли по Москве слухи, поползли из кругов, близких к казненному. Например, кто-то из видевших обнаженный труп Михоэлса говорил, что на его теле не было иных повреждений, кроме височной раны. Это опровергало версию об автомобильном наезде. Значит, убийство. Но на руках убитого тикали золотые часы. Значит, не грабители. Были слухи, что расследовать это дело поручили знаменитому Льву Шейнину; он прибыл в Минск, начал работать, но неожиданно был отстранен, уволен с работы, а затем арестован. Народная молва готова была даже из палача Шейнина сделать борца за справедливость (Шейнин, скорее всего, неправильно понял заказчиков и начал что-то искать). Затем, в кругах ВТО знали, что вместе с Михоэлсом в Минск (это была поездка от Комитета по Сталинским премиям для просмотра выдвинутых на премию спектаклей) должен был ехать критик Головащенко и, хотя командировочные документы на него уже

были оформлены, за два дня до поездки вместо Головащенко было велено послать Голубова-Потапова, театрального критика, уроженца Минска, еврея, человека симпатичного, но пьющего и, как потом выяснилось, находящегося у ГБ на крючке. Люди, провожавшие Михоэлса в Минск, видели, что Голубов-Потапов был не в себе, жаловался друзьям, что ехать не хотел, но приказали. В Минске были свидетели того, как Голубову-Потапову кто-то позвонил в гостиницу, слышно было плохо, вроде позвали в гости, и Михоэлса тоже. По дороге в эти гости их обоих и убили.

Когда в конце года закрыли ЕАК и арестовали его деятелей, закрыли театр Михоэлса, закрыли еврейское издательство и т. д. и т. п., а следом еще начали яростную антисемитскую кампанию в газетах и на собраниях, тогда уже граждане могли догадаться, что убийство Михоэлса все-таки не по милицейской части.

Когда убили Михоэлса, мне было 7 лет, и ничего об этом событии я не знал. Необычную фамилию Михоэлс впервые услышал ровно через 5 лет после убийства, 13 января 1953-го, когда объявили об аресте «врачей-убийц», которые через «еврейского буржуазного националиста Михоэлса»[1] были связаны с западными разведками. Не прошло и 4 месяцев, как врачей реабилитировали, некоторых палачей посадили, а перечисляя их преступления, сообщили, что ими также «был оклеветан народный артист СССР, советский патриот С. М. Михоэлс».

Расследование, которое тогда провел по личной инициативе Л. Берия, не сделали гласным; гласными были только слухи и версии. В том же 1953-м я услышал такую версию от нашей соседки по коммуналке (она была родом из Минска, и ее отец, крупный медик, академик, продолжал там жить и работать, что придавало версии дополнительную достоверность): Михоэлса по телефону пригласили в гости, сказали, что в восемь вечера за ним придет машина; машина пришла без четверти восемь, и Михоэлс уехал, а ровно в восемь пришла другая машина, и ее водитель удивился, узнав, что Михоэлс уже уехал; ну а утром какой-то старый еврей, шедший с окраины в город, увидел торчавшие из сугроба ноги… Про золотые часы, тикавшие на руке убитого, там тоже было.

Эта версия не упоминала Голубова-Потапова и разводила преступников и организаторов приглашения…

В 1957 году вышла на русском книга избранных стихов еврейского поэта Переца Маркиша, первая после его ареста в 1949-м и расстрела; в ней напечатали переведенную Арк. Штейнбергом поэму (или цикл из 7 стихотворений) «Михоэлсу —

неугасимый светильник (У гроба)». В поэме устами Михоэлса прямо говорилось об убийстве:

О Вечность! Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны.

Маркиш — поэт, и в его сознании смерть Михоэлса связывалась с недавней Катастрофой:

Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям
Шесть миллионов жертв, запытанных,
невинных…

Ты тоже их почтил, как жертва пав за них
На камни минские, на минские сугробы…

Книгу эту готовили в пору XX съезда, и цензура поэму пропустила, не придав ей значения политического намека, но ни в одном последующем советском издании Маркиша поэмы уже не было (теперь известно, что в ходе следствия и суда Маркишу инкриминировали поэму как клеветническую).

Обвинений ГБ в убийстве Михоэлса цензура не пропускала, и многоопытный по части ее обдуривания Илья Эренбург протащил на страницы своих мемуаров утверждение, что Михоэлса убили «агенты Берии», сославшись на какую-то литовскую газетку (в те времена газетные тексты почитались как документ). В том же 1965 году, перед самым наступлением застоя, напечатали воспоминания А. Тышлера о Михоэлсе с такими строчками: «Я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который наложил последний грим на лицо Михоэлса, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым, неповрежденным». Для людей с памятью это было многозначительно.

С окончанием «оттепели» неупоминаемым в СМИ стало не только убийство Михоэлса, но и он сам…

В 1975 году в гостях у вдовы Михоэлса Анастасии Павловны Потоцкой я расспрашивал ее о событиях 1948 года. В ее рассказе было два эпизода, которые, мне кажется, не попали в печать. Вскоре после похорон Михоэлса к Анастасии Павловне явился поэт И. Фефер и привел с собой несколько человек в велюровых шляпах («Я до сих пор их отчетливо помню», — заметила А. П.):

«Нужно отдать все материалы, связанные с поездкой Михоэлса в США». «Мне пришлось подчиниться, и все это исчезло». Напомню, что, как теперь официально признано, И. Фефер, давний антагонист Михоэлса, был многолетним агентом ГБ; его приставили к Михоэлсу во время поездки в 1943 году в США для сбора средств в помощь Красной армии и потом — в ЕАК; на показаниях Фефера в основном базировались обвинения в шпионаже деятелей ЕАК. Второй эпизод — удивителен. После объявления Михоэлса врагом на кладбище, где была захоронена урна с его прахом (деятелей культуры его масштаба принято было хоронить на Новодевичьем; Михоэлса же кремировали не случайно), приехали некие молодые люди и объявили директору, что им велено ликвидировать могилу Михоэлса. Директор ответил: «Пожалуйста, только прежде предъявите мне мандат на это». Никакого мандата не было, и, сказав, что они его забыли и привезут завтра с утра, молодые люди исчезли навсегда — дать официальную бумагу на уничтожение могилы никто не решился…

Еще в застойные годы из книги Светланы Сталиной, оказавшейся случайным свидетелем телефонного доклада Сталину о выполнении его задания, стало известно, что версию об автомобильном наезде на Михоэлса предложил сам «отец народов». Версия эта прочно засела в головы организаторов убийства, и, когда в марте 1953-го они по запросу Берии давали показания, подробности «наезда» выскакивали из них автоматически.

Сегодня ряд документов по делу об убийстве Михоэлса опубликован Архивной службой России; наиболее полно они представлены в томе «Государственный антисемитизм в СССР. 1938–1953», изданном Международным фондом «Демократия» в серии «Россия, XX век» (М., 2005).

Приведем отрывок из объяснительной записки, адресованной Л. П. Берии на тринадцатый день после смерти Сталина одним из убийц Михоэлса, полковником госбезопасности Ф. Г. Шубняковым[2] (в этой записке В. И. Голубов-Потапов именуется «агентом» ГБ, кем он и был; упоминаются также министр госбезопасности СССР Абакумов, его первый заместитель Огольцов и министр госбезопасности Белоруссии Цанава); речь идет о событиях в Минске 12 января 1948 года:

> «Мне было поручено связаться с агентом и с его помощью вывезти Михоэлса на дачу где он должен быть ликвидирован. На явке я заявил агенту, что имеется необходимость в частной обстановке встретиться с

Михоэлсом, и просил агента организовать эту встречу. Это задание агент выполнил, пригласив Михоэлса к „личному другу, проживающему в Минске“. Примерно в 21 час я и работник спецслужбы Круглов (в качестве шофера) подъехали в условленное место, куда явились агент и Михоэлс, с которым я был познакомлен агентом, и все отправились ко мне на „квартиру“, т. е. на дачу т. Цанава. На даче была осуществлена операция по ликвидации Михоэлса.

1. После того как я доложил т. Огольцову, что Михоэлс и агент доставлены на дачу, он сообщил об этом по ВЧ Абакумову, который предложил приступить к ликвидации Михоэлса и агента — невольного и опасного свидетеля смерти Михоэлса.

2. С тем чтобы создать впечатление, что Михоэлс и агент попали под автомашину в пьяном виде, их заставили выпить по стакану водки. Затем они по одному (вначале агент, а затем Михоэлс) были умерщвлены — раздавлены грузовой автомашиной.

3. Убедившись, что Михоэлс и агент мертвы, наша группа вывезла их тела в город и выбросила их на одной из улиц, расположенных недалеко от гостиницы. Причем их трупы были расположены так, что создавалось впечатление, что Михоэлс и агент были сбиты автомашиной, которая переехала их передними и задними скатами…»

28 октября 1948 года по решению Политбюро Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешное выполнение задания правительства» были награждены: министр государственной безопасности СССР Абакумов, первый заместитель министра госбезопасности СССР Огольцов, генерал-лейтенант Цанава — орденом Красного Знамени; старший лейтенант Круглов, полковник Лебедев и полковник Шубняков — орденами Отечественной войны I степени…

Главного организатора убийства Михоэлса И.В. Сталина за общую организацию операции, равно как и за организацию всех предшествующих и последующих убийств, Политбюро наградой не отметило. За беспрекословное выполнение задания не был посмертно награжден и В.И. Голубов-Потапов…

2 апреля 1953 года этот Указ о награждении от 28 октября 1948 года был отменен.

То, что Российское государство до сих пор не сочло необходимым представить миру официального документа об

организации одного из самых мрачных по его последствиям политического убийства XX века, разумеется, не случайно. Сталинское прошлое еще долго будет тащить назад страну, не имеющую духа решительно и бесповоротно с ним порвать.

Генерал Сергей Трофименко и актер Соломон Михоэлс
Минск, 1948

За долгие годы, прошедшие после убийства С. М. Михоэлса, об этом преступлении возникла обширная литература — документальная, публицистическая, мемуарная. Многие сюжеты кочуют из одной книги в другую. Расскажем об одном из них — его изложение в книгах мемуаристов и публицистов нуждается, как представляется, в принципиальном уточнении.

Сюжет этот связан с именем генерала С. Г. Трофименко. Его имя в контексте михоэлсовской темы для людей, имевших отношение к самому близкому окружению генерала и актера (сюда придется включить и «специалистов» ГБ, занимавшихся обоими), впервые возникло в книге Н. Вовси-Михоэлс «Мой отец Соломон Михоэлс» (Тель-Авив, 1984). С тех пор без него, как правило, не обходилась литература о гибели Михоэлса.

Биография генерала С. Г. Трофименко сегодня известна разве что военным историкам. Потому приведем здесь краткие сведения из нее, хронологически связанные с нашим сюжетом. Сергей Георгиевич Трофименко (1899–1953) после участия в советско-финской войне командовал с января 1941 года Среднеазиатским военным округом. В первых числах декабря 1941 года он отбыл из Ташкента на фронт, где провел всю войну, командуя сначала группой войск, а затем, с 1942 года, армиями. В 1944 году ему было присвоено воинское звание генерал-полковника и звание Героя Советского Союза. Послевоенная его карьера выглядит так: 1945–1946 годы — командующий Тбилисским военным округом; 1946–1949 годы — командующий Белорусским военным округом; 1949–1953 годы — командующий Северо-Кавказским военным округом. С 1946 года генерал Трофименко был депутатом Верховного Совета СССР.

Источником *всей* информации на тему «Трофименко — Михоэлс» является вторая жена генерала И. Д. Трофименко. Информация эта (точнее, опубликованная ее часть) содержится в рассказах И. Д. Трофименко трем лицам: Л. С. Трофименко — дочери генерала от первого брака (его пересказывает в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» Н. Вовси-Михоэлс), Э. Е. Лазебниковой-Маркиш — жене поэта Переца Маркиша (см. ее воспоминания «Столь долгое возвращение…»), С. Д. Глуховскому — писателю военной темы, уроженцу Белоруссии (рассказанное ему напечатано в пересказе писателя А.Борщаговского — см. его

книгу «Записки баловня судьбы»). Собственные воспоминания, записки или дневники И.Д. Трофименко (до войны закончившей, кстати сказать, Литературный институт в Москве) — неизвестны.

Сразу перечислим пороки *напечатанных* пересказов того, что говорила И. Д. Трофименко. Это — небрежности, допущенные в книге дочери Михоэлса; вольность изложения (если не сказать сильнее), свойственная тем страницам воспоминаний Э. Маркиш, где речь идет не о ней самой; сомнительность свидетельств Глуховского. Все названные пороки множились впоследствии при тиражировании этих пересказов разного рода авторами. Возникавшие в результате контаминации допускали самые невероятные выводы — вплоть до использования генерала Трофименко спецслужбами для решения поставленной Сталиным задачи ликвидации Михоэлса.

Именно это породило настоятельную необходимость ввести в исторический оборот свидетельства, уточняющие опубликованные пересказы. Есть надежда, что таким образом удастся прояснить накопившиеся несообразности и устранить самую возможность нелепых предположений.

А теперь перейдем к существу вопроса.

Напомню, что народный артист СССР, художественный руководитель Государственного еврейского театра (ГОСЕТ), председатель Еврейского антифашистского комитета СССР Соломон Михайлович Михоэлс вечером 7 января 1948 года вместе с уроженцем Минска театральным критиком В. И. Голубовым-Потаповым (как ныне известно, секретным сотрудником ГБ) по командировке Комитета по Сталинским премиям выехал из Москвы в Минск для просмотра выдвинутого на Сталинскую премию спектакля Белорусского драмтеатра «Константин Заслонов». А 12 января примерно в 22 часа Михоэлс вместе с Голубовым были убиты спецгруппой ГБ, осуществлявшей прямой приказ Сталина. Трупы Михоэлса и Голубова обнаружили утром 13 января, в день предполагаемого возвращения в Москву.

Какими неожиданностями оборачиваются иные знакомства

Мне было 12 лет, когда я впервые узнал об убийстве Михоэлса (тут ни убавить, ни прибавить — я был вполне политизированный ребенок). По понятной причине это хорошо запомнилось — дело было 4 апреля 1953 года. Услышав в тот день из громкого разговора старших в школьной библиотеке, что «врачи-убийцы» реабилитированы, я прочел об этом после школы в «Правде», откуда узнал и другое: народный артист СССР

Михоэлс был оклеветан врагами. Дома я спросил про Михоэлса у наших соседей по большой коммуналке (о врачах-убийцах я знал и так — моя мама работала в поликлинике, где я ошивался все детство, и хорошо помню атмосферу антисемитской истерии, которая царила там с января 1953 года, а вот об актере с такой странной фамилией Михоэлс ничего не знал). То, что в ответ на мой вопрос рассказала мне Г. Д. Кошелева, я запомнил навсегда. Надо сказать, что и Галина Даниловна, специалист по французской литературе, окончившая аспирантуру филфака ЛГУ, и ее муж, математик А. И. Кошелев, очень приветливо ко мне относились, неизменно давая мне широко пользоваться их домашней библиотекой. Историю, которую Г. Д. мне тогда рассказала, я хорошо помню. Вот она. Артист Михоэлс приехал из Москвы в Минск; в один из дней его пригласили в гости, пообещав прислать за ним машину. Машина пришла несколько раньше, чем он ждал, и он на ней уехал. А в точно назначенное время пришла другая машина, и ее шофер очень удивился, что Михоэлса уже увезли. На следующее утро какой-то старый еврей шел с окраины Минска в город (эта литературная подробность мне тоже запомнилась) и увидел, что из сугроба торчат ноги, он за них дернул и вытащил труп. Это был Михоэлс. Золотые часы на его руке никто не украл. История эта была, несомненно, минского происхождения, поскольку Г. Д. — уроженка Минска и ее отец, Д. А. Марков, крупный невропатолог, академик, продолжал жить и работать в Минске. Сходный рассказ возникнет по ходу нашего повествования еще раз… Чтобы закончить с детскими воспоминаниями, упомяну, что в 1950-е годы к Г. Д. Кошелевой часто заходила ее подруга по филфаку, очень яркая молодая женщина, которую звали Ляля; вскоре она стала женой проф. Макогоненко. Как я теперь знаю, она тоже была родом из Белоруссии и дружила с неизвестной мне тогда дочерью генерала Трофименко (об этом я еще скажу)…

Прежде чем приступить к изложению существа дела, еще одно необходимое отступление — на сей раз о главном источнике моей информации.

Книгу «Мой отец Соломон Михоэлс» я прочел только в московском издании 1997 года, когда уже многое, связанное с гибелью Михоэлса, официально прояснилось, и потому воспоминания его дочери к описанию трагедии 1948 года добавляли немногое (московское их издание практически повторяло тель-авивское, за исключением, увы, информативного факсимиле командировочного удостоверения Михоэлса в Минск). На имя генерала Трофименко я не обратил тогда особого внимания и даже того, что оно уже встречалось мне в других

сочинениях перестроечной поры, не вспомнил. Только теперь, перечитывая материалы о гибели Михоэлса, что называется, другими глазами, я обращал пристальное внимание и на имя генерала, и на относящиеся к нему факты и эпизоды, описание которых в одной книге подчас противоречило другой. Поясню, почему «другими глазами».

С женой питерского математика профессора Д. М. Эйдуса Лидией Сергеевной (она преподавала математику в Ленинградском институте авиаприборостроения и одновременно профессионально занималась живописью и графикой) я познакомился в 1970-е годы, то есть до их отъезда в Израиль. В 2000 году в Иерусалиме я с радостью побывал в гостеприимном доме Эйдусов. Потом мы переписывались и регулярно говорили по телефону. За это время Л. С. Эйдус в Иерусалиме издала две книги — проиллюстрированный ею «Процесс» Кафки и альбом своих пастелей к различным произведениям этого, любимого и глубоко ею прочувствованного, классика мировой прозы XX века, а в Питере прошла выставка ее живописи, графики и гобеленов. По просьбе Л. С. издание иллюстрированного ею «Процесса» я передал в различные культурные центры Питера, и, в частности, в музей Ахматовой, которая Кафку высоко ценила. Когда я сообщил об этом Л. С., она рассказала, что во время войны со своими мамой Мириам Израилевной Летичевской и бабушкой эвакуировалась в Ташкент. Отец, устроив в Ташкенте ее мать и бабушку, настоял на том, чтобы Л. С. жила в его доме, и, уезжая на фронт, не разрешил ей покинуть дом, где оставалась его вторая жена Ирина Дмитриевна с двумя мальчиками. Мачеха организовала у себя нечто вроде литературного салона — именно там Л. С. увидела А. А. Ахматову и даже, по ее просьбе, читала наизусть ахматовские стихи. Услышав это, я попросил Л. С. описать для меня ее ташкентскую встречу с Анной Андреевной и вскоре получил от нее подробное письмо, которое передал в архив Музея Ахматовой в Фонтанном доме[3]. Однако мы в самом деле ленивы и нелюбопытны, и об отце Л. С., командовавшем перед войной Среднеазиатским военным округом, и даже о его фамилии — я ничего не спросил.

Следующий ташкентский сюжет, раскрывшийся в ходе наших разговоров и переписки, был связан с С. М. Михоэлсом. Тут уж мне стало известно имя генерала Трофименко (раньше я думал, что в Питере Л. С. носила фамилию мужа, но это произошло только в Израиле). Узнав, что рассказ Л. С., в крайне небрежном и неточном изложении, помещен в израильском издании книги дочери Михоэлса, я снова попросил Л. С. записать все собственноручно и вскоре (это был август 2003 года) получил от

нее подробное большое письмо. Оно было послано в пакете, где вместе с ним оказалось издание 1984 года книги «Мой отец Соломон Михоэлс», надписанное так: «Дорогим Лиле и Дане Эйдус с любовью Тала Михоэлс. 7/II 75 г.» (надпись сделана, конечно, в 1985 году — ошибка в цифири была опиской).

Так были получены материалы, которые здесь приводятся.

Что написано о генерале Трофименко в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» и не только в ней (уточнения Л.С. Трофименко-Эйдус и не только ее)

Первое упоминание генерала в книге «Мой отец Соломон Михоэлс» — в описании утра 13 января 1948 года, когда в ГОСЕТ только что поступило сообщение из Минска о гибели Михоэлса. Подробностей не было. Спустя некоторое время со ссылкой на портье гостиницы «Беларусь», где жил Михоэлс, сообщили о телефонном разговоре Соломона Михайловича днем 12 января с неким то ли Сергеем, то ли товарищем Сергеевым, по приглашению которого Михоэлс вместе с сопровождавшим его театральным критиком В.И. Голубовым-Потаповым отправился в гости и в гостиницу уже не вернулся. Никакого «товарища Сергеева» близкие Михоэлса вспомнить не могли, а вот по части «Сергея» им сразу же пришел в голову генерал Трофименко: «Был у нас знакомый — генерал Сергей Георгиевич Трофименко. Отец с Асей <Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс, вторая жена С. М. — *Б. Ф.*> познакомились с ним во время войны в Ташкенте. После войны Трофименко был назначен начальником Белорусского военного округа и жил с семьей в Минске. Стали звонить Трофименко. Его к телефону не позвали. Говорили с перепуганной взволнованной женой. Сквозь плач она пролепетала, что приедет шестнадцатого на похороны, но так и не приехала. Выяснить у нее так ничего и не удалось, хотя по ее словам папа у них в тот вечер и вообще за весь приезд ни разу не был, и Трофименко ему сам тоже не звонил» (Н. Вовси-Михоэлс, с.251).

Первое уточнение Л. С. Трофименко-Эйдус касается знакомства Михоэлса с генералом Трофименко в Ташкенте: «В середине декабря 1941 г. дочери Михоэлса находились еще в Свердловске, и Михоэлс с женой еще в Ташкент не прибыл. Из официальной автобиографии моего отца: „В конце ноября мне было приказано самолетом вылететь в Москву для назначения на новую должность в действующую армию. Из-за непогоды вылететь не удалось, и я прибыл в Москву воинским поездом 9 декабря“.

До Москвы поезда ходили из Ташкента 7 дней, ну воинский, возможно, дня 2–3 сэкономил; значит, примерно со 2 декабря отец не был в Ташкенте, а Михоэлс еще туда не прибыл». Добавлю к этому замечание Л. С. о том, что в Ташкенте дочь Михоэлса вместе с А. П. Потоцкой была пару раз в гостях у И. Д. Трофименко и знала, что генерал — на фронте. Отмечу также, что Э. Е. Лазебникова-Маркиш, тоже эвакуированная с сыновьями в Ташкент, пишет в книге «Столь долгое возвращение…» (Тель-Авив, 1989): «Там <в Ташкенте. — *Б. Ф.*> познакомилась я с Ириной Трофименко — женой крупного генерала Сергея Трофименко, находившегося на фронте. Ирина жила с двумя мальчиками-сыновьями в Ташкенте, в хорошем, просторном особняке. Мы почувствовали приязнь друг к другу и вскоре, с порывистостью молодости, подружились. И эта дружба оказалась прочной… Так и повелось, что частенько стали захаживать к Ире Трофименко обнищавшие писатели — в ее богатом и относительно благополучном доме было приятно провести время… Сергей Трофименко вернулся с фронта лишь в конце войны, в мае 1945, и большинство завсегдатаев „салона“ познакомилось с этим милым человеком только в Москве» (с. 150–152).

Знакомство С. М. Михоэлса с С. Г. Трофименко состоялось 23 мая 1945 года в Москве дома у Переца Маркиша, где генерал устроил банкет в честь Победы для боевых товарищей, пригласив на него и ташкентских друзей своей жены — Вс. Иванова и Михоэлса с женами и вдову Ал. Толстого (см.: Э. Маркиш. «Столь долгое возвращение…», с. 160–161; о том, что ее отец познакомился с Михоэлсом после парада Победы в Москве, пишет мне и Л. С., заметив попутно: «Отец очень трудно сходился с людьми; друзьями богат не был, не считая тех, кто в войну был рядом. Обаяние Михоэлса помогло стать их отношениям теплыми, к тому же все они — отец с И. Д. и Михоэлс с Асей — любили выпить: не последний способ сближения…»).

Второе уточнение — о звонке к генералу Трофименко в Минск. Л. С. о словах «его к телефону не позвали» пишет с удивлением: «Он мог быть на работе, мог быть занят, наконец, и вообще его просто так к телефону не звали — таков был порядок».

Теперь третье уточнение Л. С. — о фразе, что Михоэлс, находясь в Минске, у генерала Трофименко вообще не был. Л. С. пишет мне: *был и даже ночевал!* Об этом И. Д. Трофименко рассказывала ей летом 1953 года, когда Л. С. приехала из Ленинграда к отцу, лежавшему в госпитале и к тому времени пережившему уже семь инсультов (разговор был по возвращении

из госпиталя). В ее рассказе есть деталь из тех, что обычно не забываются: «Когда Михоэлс был у нас и остался ночевать, то после ванны я ему дала Сережин халат; это было очень смешно, мы веселились» (действительно, поясняет Л. С., 196 см роста отца и Михоэлс, рост которого, я помню, ниже среднего). Напомнив о дружбе Михоэлса с отцом, Л. С. замечает: «Поэтому, когда Михоэлс отправился в Минск, было естественно, что они встретились в хлебосольном доме моего отца».

О гибели Михоэлса написано уже очень много, есть воспоминания, контаминации документов и слухов, попытки позднейших расследований, историко-политические обзоры и пр., однако точная и полная картина последних минских дней Михоэлса отчетливо все еще не прописана, одни свидетельства противоречат другим, да, пожалуй, все они внутренне противоречивы. Живущий в Париже А. И. Ваксберг вздыхает: «К сожалению, каждый час пребывания Михоэлса в Минске ни в одном доступном мне документе не отражен» (А. Ваксберг. «Из ада в рай и обратно». М., 2003, с. 308). Судя по тексту Ваксберга, точнее было бы сказать, что не отражен каждый минский *день* Михоэлса, если бы не важные свидетельства из интервью актрисы БелГОСЕТа заслуженной артистки БССР Юдифи Арончик («Родник», Минск, 1990, № 3, с. 38–39), которые частично поддаются независимой проверке с помощью минских газет той поры.

Прежде чем привести хронику последних дней жизни Михоэлса, какой она возникает из интервью Ю. Арончик минскому литератору С. Мехову, замечу, что это единственный источник, в котором сообщается, что в Минск Михоэлс прибыл не только с критиком В. И. Голубовым (писавшим под псевдонимом В. Потапов), но и с сотрудником Комитета по делам искусств СССР, жившим в Москве белорусским писателем И. М. Барашко — всех троих поселили в гостинице «Беларусь» в двухкомнатном номере люкс.

А теперь — хроника: 8 января утром Михоэлса встречают на перроне минского вокзала официальные лица и друзья. 9 января он присутствует на спектакле БелГОСЕТа «Тевье-молочник» (приглашение на спектакль, постановку которого Михоэлс консультировал, он получил заранее) и весь вечер после спектакля допоздна проводит с актерами театра. 10 января смотрит в Белгосдраме спектакль «Константин Заслонов» и вечер после спектакля, видимо, проводит в этом театре. 11 января посещает Белорусский театр оперы и балета и до двух часов ночи задерживается там на затянувшемся обсуждении оперы «Алеся», после чего до половины восьмого утра 12 января — застолье дома

у Ю. Арончик в окружении близких друзей из БелГОСЕТа; прощаясь, Михоэлс назначает исполнителям ролей Тевье и Годл М. Соколу и Ю. Арончик в половине девятого вечера прийти к нему в гостиницу для делового обсуждения их работы (в 10 часов вечера, говорит он, вместе с Голубовым они приглашены к секретарю ЦК КП(б) Белоруссии М.Т. Иовчуку). Придя в гостиницу, М. Сокол и Ю. Арончик услышали от дежурной по этажу, что Михоэлс с Голубовым куда-то срочно вышел и просил его обождать. Прождав до 11 часов, они ушли ни с чем, а утром Ю. Арончик пришла в гостиницу, чтобы проводить Михоэлса в Москву…

Проверка основных дат по минским газетам показывает, что, хотя со времени убийства Михоэлса и прошло более сорока лет, память актрису не подвела и даты она указала верно.

Подшивки всех белорусских газет за январь 1948 года, просмотренные мною в РНБ, произвели впечатление девственности. О приезде Михоэлса в столицу Белоруссии ни одна газета не сообщила, хотя великие артисты в Минск приезжали отнюдь не каждый месяц. А сообщение о его гибели появилось только 16 января (ГОСЕТ в центральной «Правде» еще 14 января известил о «внезапной и безвременной кончине» своего руководителя). Текст некролога и четырех сообщений четырех театров Минска в обеих ежедневных минских газетах (одна — на русском, другая — на белорусском) был абсолютно одинаков, с употреблением нейтрального слова «умер», а где и как — о том ни гугу. (Замечу, что еженедельная «Літаратура і мастатцтва» 17 января поместила те же тексты и еще фотографию Михоэлса, не указав, конечно, что снимок сделан в Минске 11 января 1948 года; газеты Белорусского военного округа «Во славу Родины», комсомола «Сталинская молодежь» и газета «Железнодорожник Белоруссии» о Михоэлсе не писали и программы театров не давали.) Минские газеты «Советская Белоруссия» и «Звязда», публиковавшие репертуар театров, сообщили, что в пятницу 9 января в Белорусском гос. театре драмы им. Янки Купалы шел «Тевье-молочник» Государственного Еврейского театра Белоруссии (по-белорусски: Яурейскога тэатра; своего зрительного зала у него не было). А вот спектакль Белгосдрамы «Константин Заслонов» шел трижды — в субботу 10 января в 20 часов, в воскресенье 11 января в 12 часов дня и в 20 часов. Естественно, что Михоэлс смотрел его 10 января. К сожалению, в воскресенье 11 января газеты не напечатали программу театров (в этот день в Белоруссии были выборы, и газетные полосы заполняли материалы на эту тему), в понедельник 12 января минские газеты не выходили. Таким образом, об оперном

спектакле «Алеся» получить информацию не удалось.

Ну вот, теперь, наконец, вернемся к нашей основной теме — встрече Михоэлса с генералом Трофименко. Выезжая из Москвы, Михоэлс знал, что 9, 10 и 11 января его ждут спектакли, и вполне мог бы приехать в Минск утром 9-го. Однако он приехал 8-го, и предположение, что именно для того, чтобы повидаться с генералом Трофименко, — не является натяжкой. Дело в том, что вплоть до утра 7 января считалось, что вместе с Михоэлсом в Минск едут и Перец Маркиш с женой, давние друзья Трофименко, которых он звал в гости, поздравляя с Новым годом 2 января, и, узнав о командировке Михоэлса в Минск, они решили ехать с ним, чтобы вместе отправиться к генералу. Торчать в Минске из-за белорусских спектаклей им никакого смысла не имело, и, поскольку о поездке они генералу сообщили заранее, ясно, что для визита и был выбран первый же день. За несколько часов до отъезда Маркишу пришлось, однако, сдать железнодорожные билеты, так как еврейское издательство загрузило его срочным чтением верстки (см.: Э. Маркиш. «Столь долгое возвращение…». Тель-Авив, 1989, с. 173–174) — не иначе как стараниями агента ГБ Фефера, выполнявшего заказ своих хозяев, которым лишний свидетель в Минске был не нужен. Сам Фефер был направлен ГБ в Минск чуть позже, и Михоэлс неожиданно обнаружил его в гостинице «Беларусь» утром 11 января, а 12-го плотно встречался с ним и расстался в 18 часов…

Итак, дату встречи Михоэлса с генералом Трофименко можно считать точно установленной — вечер 8 января с ночевкой.

Отмечу попутно, что в двух опусах встречу Михоэлса с генералом Трофименко неверно относят на вечер 12 января. Э. Маркиш, рассказывая о своем визите в московский дом И. Д. Трофименко в 1956 году, вкладывает эту информацию в уста некоего высокопоставленного генерала: «В КГБ прекрасно знали, что Трофименко дружен с Михоэлсом. Знали, что последний день Михоэлс провел у Сергея, а оттуда пошел на спектакль, после которого был убит» (с. 176). А. Борщаговский в «Записках баловня судьбы» приводит со слов уроженца Белоруссии писателя Самуила Давыдовича Глуховского (его имя даю по московскому справочнику) неизвестно когда услышанный им рассказ И. Д. Трофименко: «Писатель Семен Глуховский, мой давний друг, не удовлетворенный моим рассказом об этом убийстве (на страницах журнала „Театр“), предлагает другую легенду, с которой он за десятилетия так сжился, что все другие кажутся ему крайне сомнительными. В тот роковой вечер <т. е. 12 января. — *Б.Ф.*> Михоэлс, оказывается, допоздна засиделся в гостях у генерала Трофименко, и вот как вдова генерала спустя

годы вспоминала случившееся: „Это был лучший друг нашего дома. Мы подружились еще в Ташкенте, муж обожал Соломона Михайловича. И ведь не хотела я его в тот вечер отпускать — он приехал в Минск, и когда еще свидимся? У него в гостинице не было ванной — я вызвалась разогреть ванную, убеждала его не уходить, переночевать у нас. Но какой-то звонок (по телефону) его встревожил, он ушел, а утром — дикая, потрясающая новость…“» (с. 155). Приведя эти слова, А. Борщаговский негодует: «Возникает и чувство протеста, и недоумение в связи с этой версией: как мог командующий округом, генерал-полковник, бог и царь, отпустить Михоэлса одного на темные улицы Минска, к полуночи, в тревожный, еще не отстроенный мир, на улицы города, в недавнем прошлом снесенного с лица земли? Как мог он не вызвать для Соломона Михайловича машину, которая всегда к его услугам?» (с. 155–156). Впрочем, к этой версии Борщаговский относится скептически («С. Глуховский уверяет, что сам выслушал горестный рассказ вдовы Трофименко, но это не прибавляет рассказу достоверности» — с. 156), хотя с его легкой руки она тиражируется многими авторами (например, «историком-центристом» Г. Костырченко, вещающим и в журнале «Лехаим», и в «Нашем современнике»),

С последним в жизни С.М. Михоэлса вечером 12 января 1948 года картина теперь более или менее прояснилась, так что отпадают и другие версии, генерала Трофименко не затрагивающие, — 12 января Михоэлс-де был в театре на спектакле (см. воспоминания Э. Маркиш — с. 176, книги М. Гейзера «Соломон Михоэлс» — с. 193 и А. Ваксберга «Из ада в рай и обратно» — с. 309).

Вернемся к письму Л. С. Трофименко-Эйдус о последнем в жизни Михоэлса посещении генерала Трофименко; оно содержит еще одно и важное свидетельство: Михоэлс в гостях у генерала был *один* — без Голубова-Потапова! Л. С. пишет по этому поводу: «Ирина Дмитриевна никогда имени-фамилии такой не слышала, и никогда у них такого человека в доме не было, — и добавляет: — Отец был очень осторожным человеком; приехать к нему на машине по его приглашению и то было не просто (часовой у ворот, проверка документов и т. д.)… Да никогда отец не пустил бы незнакомого человека в свой дом. Дом прослушивался, вечно там болталось много народу — и работница, и адъютант, и ординарец, и т. п. Выпивать с незнакомым человеком? Никогда!.. Дома всех высших военных чинов в Минске были за забором, и проходили к ним через будку с охраной» (если допустить невероятное: Михоэлс взял Голубова с собой, не спросясь генерала, то его все равно не пропустили бы). Замечу в связи с

этим, что реплика Борщаговского о рассказе И. Д., изложенном Глуховским: «Вдова Трофименко каким-то образом потеряла Володю Голубова, а ведь он, что ни говори, был в эти часы с Михоэлсом и убит одновременно с ним» (с. 156), еще раз говорит о том, что версия, будто Михоэлс был у Трофименко именно в вечер убийства 12 января, — неверна.

Теперь о последнем эпизоде с генералом Трофименко в книге «Мой отец Соломон Михоэлс». Хронологически он относится уже к началу 1980-х годов: «Недавно в Израиль приехала дочь генерала Трофименко, того самого, с которым Михоэлс познакомился в Ташкенте и который был командующим Белорусским военным округом в 1948 году во время убийства отца. Она мне рассказала со слов своей мачехи, жены Трофименко, что в тот роковой вечер отец был действительно приглашен к генералу. Трофименко выслал за ним свою машину с шофером, но в гостинице страшно удивились и сообщили, что машина генерала Трофименко уже забрала Михоэлса и Голубова.

— Когда?

— Да с полчаса назад.

Так, спустя тридцать два года после убийства, нам открылось еще одно звено в сложной цепи злодейской инсценировки» (с. 276–277).

Как возник этот рассказ в книге, Л. С. Трофименко-Эйдус объясняет в своем письме ко мне. Разговор шел за обедом у дочери Михоэлса, никаких записей ее рассказа не велось; сообщив все, что ей было известно со слов мачехи, Л. С. рассказала и о слухах об убийстве Михоэлса, которые ходили в Минске, и привела один из них: «В дни, когда уже стало известно о гибели Михоэлса, я приехала из Ленинграда в Москву. Мама жила тогда в Москве, и, приезжая к ней даже на несколько дней, я должна была обойти всех ее главных подруг. Так я попала к ее подруге по имени Мэри Григорьевна, у которой гостила некая дама из Минска — мать служившего там офицера и свекровь успешно начинавшей карьеру актрисы Белорусской госдрамы. Кто я — дама не знала. Военный городок внутри Минска невелик, там все знают и всё знают раньше всех. С большим жаром, приехав прямо оттуда, где все произошло, она стала рассказывать новости: к гостинице-де подъехала машина командующего, приехала она за Михоэлсом, но в гостинице сказали, что машина от командующего только что уехала. (Всему военному городку, конечно же, было известно, как и в театре, что Михоэлс был в гостях у командующего). Я упомянула об этом вскользь, когда говорила с Талой, но о Голубове вообще не могла сказать ничего, т. к. *ничего о нем не знала.* Что осталось от моего рассказа в

голове Талы, Вы видите». Замечу здесь от себя, что именно эту, видимо тогда ходовую, версию я слышал в 1953 году от минчанки Г. Д. Кошелевой. Изучение такого рода мифологии — социологически значимая задача для историков, тем паче что в этой легенде использование автомобиля для доставки жертвы к месту гибели оказалось угаданным точно.

Приведу еще один фрагмент из письма Л. С. Трофименко-Эйдус, связанный с моими детскими воспоминаниями, о которых упоминал, — мир действительно тесен: «Моя подруга, жена проф. Макогоненко, некая Ляля (< Людмила Семеновна. — *Б. Ф.*> Пайкина по отцу) была <приемной. — *Б. Ф.*> дочерью начальника по медицинской части в Белорусском военном округе <хирург, генерал Петров. — *Б. Ф.*>. Она мне рассказывала, что, несмотря на то что ее отец был „самым главным“ врачом округа и генералом „от медицины“, когда он захотел присутствовать на вскрытии Михоэлса, то охрана его не допустила…»

Что же касается рассказа Л. С., приведенного в книге «Мой отец Соломон Михоэлс», то в сочинении А. Борщаговского он излагается в такой модификации: «Дочь генерала Трофименко сообщила Наталии Михоэлс, что он и Голубов, задержавшись после спектакля, вышли из театра одни и на пустынной улице роковая машина гонялась за ними, пока не настигла» (с. 154) — как видим, однажды напечатанное живет уже своей жизнью…

Теперь о замечании А. И. Ваксберга, что сразу после убийства Михоэлса Трофименко был отозван в Москву не случайно (с. 329). В телефонном разговоре со мной Л. С. прокомментировала это так: «В 1946 году маршал Тимошенко был на три года освобожден от должности командующего Белорусским военным округом и направлен в третьестепенный Южно-Уральский округ за то, что без предварительного разрешения, самовольно, слетал на своем самолете в Москву — ему не терпелось взглянуть на родившегося внука (или внучку), отцом которого был Василий Сталин. В 1949 году трехлетний срок ссылки истек, и он вернулся в Минск, а отца тогда (*т. е. в 1949-м, а не в 1948-м*) отозвали в Москву на курсы Академии Генштаба (он был этим недоволен, т. к. Академию Генштаба уже закончил), а затем назначили командующим Северо-Кавказским округом». Замечу, что информация, которой обладал генерал Трофименко об убийстве Михоэлса, не зависела от того, служит он в Минске или в Краснодаре, и он был достаточно осторожен, чтобы не вызывать дополнительных подозрений МГБ.

Приведу теперь воспоминания Л. С., существенно корректирующие, как я полагаю, свидетельство другого автора — Э. Маркиш. Сначала — отрывок из ее воспоминаний о рассказе И.

Д. Трофименко про утро 13 января: «Ирина повела детей в музыкальную школу. В середине урока в класс вошел Сергей Трофименко, вызвал жену в коридор.

— Убили Михоэлса! — сказал Сергей. — Езжай домой, дай телеграмму в Москву, жене Соломона Михайловича.

Вслед за тем Сергей вернулся в штаб, а Ирина с детьми — домой. Не успела она закончить текст телеграммы, как позвонил Сергей.

— Телеграмму еще не отправила? — спросил Сергей. — Не отправляй!

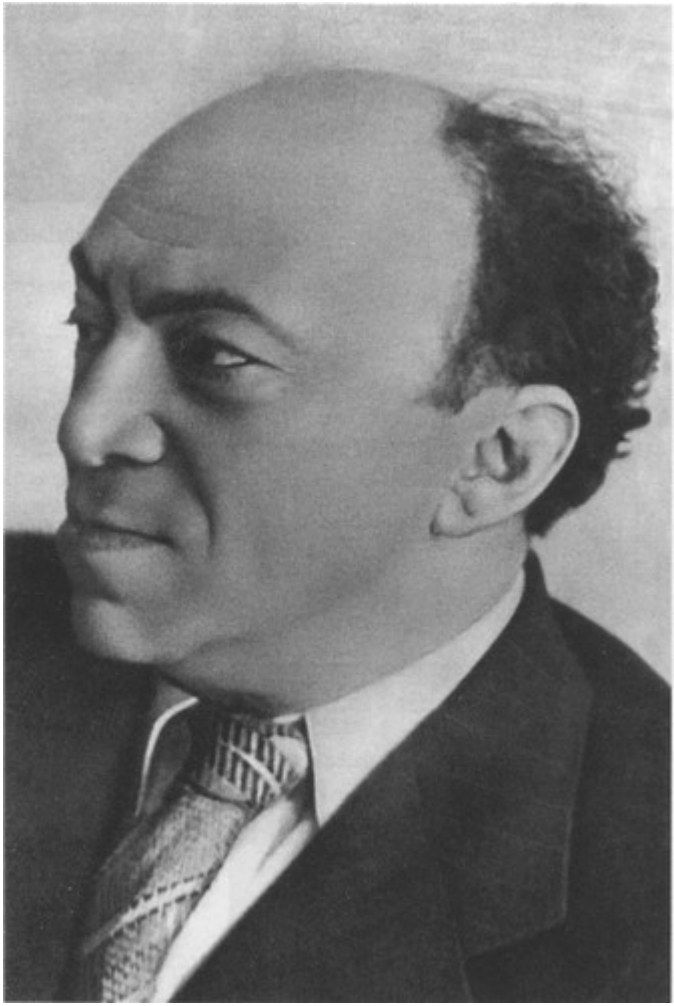
Приехав обедать, Сергей объяснил: позвонили из ЦК, телеграмму отправлять „категорически не рекомендовали“» (с. 175–176). Такая вот «убедительная» картина: генерал Трофименко, по должности своей слухами не пользующийся и, видимо, любезно проинформированный о безвременной кончине Михоэлса одним из организаторов его убийства генералом ГБ Цанавой, бросив все дела, кинулся искать по городу свою жену, чтоб попросить ее дать в Москву телеграмму соболезнования, чему помешало знавшее всё про тайные замыслы тов. Сталина ЦК Белоруссии. Комментарии, что называется, излишни.

Теперь — рассказ И. Д. Трофименко о том же утре, поведанный ею летом 1953 года дочери генерала: «Утром, не очень рано, я поехала в музыкальную школу (там учились мои братья. — *Л. С.*) на педагогический совет (И. Д. была общественница. — *Л. С.*). Во время педсовета к телефону кто-то попросил директора школы (Тала и Нина Михоэлс сказали мне, что директор был давний друг их отца. — *Л. С.*). Мы все увидели, что директор в ужасном состоянии и с трудом нам пересказал телефонный разговор. Тогда я позвонила на работу Сереже, рассказала, что Михоэлс убит; он был потрясен, сказал, что постарается все выяснить. Но ему нигде ничего не сказали и даже решительно отстранили от вмешательства. Возможно, это было распоряжение Цанавы». Далее Л. С. приводит один эпизод, характеризующий статус двух генералов: «Если мой отец был командующим Белорусским военным округом, то Цанава — начальником всего КГБ, или как это там тогда называлось, этого же округа. Цанава был ставленником Берии. Мне рассказывала И. Д., что в какой-то праздник, когда Берия прибыл в Минск, даже отца, генерал-полковника, депутата Верховного Совета и пр. и пр., *лейтенант* ГБ не впустил через правительственный вход в театр на торжественное заседание, где отец должен был сидеть в президиуме, как у них тогда полагалось…»

Л. С. Трофименко-Эйдус книгу Н. Вовси-Михоэлс прочла в 1985 году и только из нее узнала, как произвольно там излагается

ее рассказ. Почему она тогда промолчала? В ее письме об этом написано так: «Промолчала я потому, что Тала старше меня на несколько лет, со всякими хворями, заботами о семье (дочь, внучка, трудное материальное положение). Основной кормилец — младшая сестра Нина, с которой я училась некоторое время в одной школе в эвакуации в Ташкенте. Кроме того, в тот год мы не верили, что эта книга может попасть в Россию. Зачем же мне было травмировать ее? — думала я. Но когда оживились отношения с Россией и Тала, так же как и другие члены семьи, стала наезжать в Москву, я забеспокоилась. Вскоре в Израиль приехала группа киношников делать картину про Михоэлса (появилась ли такая картина — не знаю). Через Талу они назначили мне день встречи, очевидно зная текст ее книги, просили привезти фотографии отца и другие материалы. Я растерялась, но сначала все же решилась приехать на эту встречу и как-нибудь осторожно сказать, что с текстом Талы я не согласна. Позже, обдумав предложение киношников, я пошла по линии менее решительной — позвонила младшей сестре Талы Нине, сказала все, что я думала о работе Талы, и отказалась от встречи с киношниками…»

Подводя итог всему здесь рассказанному, подчеркну, что Л. С. Трофименко-Эйдус, любившая своего отца и систематически с ним общавшаяся (в 1943 году вместе с И. Д. Трофименко она, например, летала к нему на фронт), с детства знала его вторую жену, жила с ней в Ташкенте, так что их отношения были вполне доверительными. Несомненно, она была внимательна ко всему, что рассказывала ей И. Д. Трофименко, и рассказы эти в памяти хранила. В сюжете, связанном с гибелью Михоэлса, Л. С. (в отличие от и Э. Е. Лазебниковой-Маркиш, и С. Д. Глуховского), особенно чувствительна была ко всему, что имело отношение к отцу, не пытаясь вписать услышанное в хронику последних дней Михоэлса. В этом особенность и, как ни странно, ценность, правдивость того, что она запомнила. Поэтому, хотя со времени, когда И. Д. Трофименко делилась с близкими рассказами о минской трагедии 1948 года, прошло много лет, свидетельствам Л. С. в данном случае можно отдать безусловное предпочтение.



Последнее фото С. М. Михоэлса.
Минск, 11 января 1948 г.

Дирекция, парторганизация, местком и коллектив работников Московского государственного Еврейского театра с глубокой скорбью извещают о внезапной и безвременной кончине своего художественного руководителя и друга — народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии, профессора

Соломона Михайловича

МИХОЭЛСА

и выражают глубокое соболезнование семье покойного. О дне похорон будет сообщено особо.

Сообщение ГОСЕТа в «Правде» за 14 января 1948 г. о кончине С.М. Михоэлса

С. Г. Трофименко

Выступление И. Г. Эренбурга на вечере памяти С. М. Михоэлса. Москва, 16 февраля 1948 г.

II
Натан Альтман
Серж Фотинский
Лидия Эйдус

Натан Альтман в Париже и в Питере

Быть современником больших людей не одна только радость — это и большая ответственность. Осознается это не сразу и обычно, когда уже поздно. Поэтому далеких предков легче судить.

Какой школьник не посмеется сегодня над современниками Пушкина, предпочитавшими ему Бенедиктова? Но уже современники Мандельштама, горланившие Безыменского, считают, что заслужили социальную защиту, а наши знакомые, обожавшие Асадова, когда уже были написаны стихи Бродского, еще не увенчанные нобелевскими лаврами, откровенно недоумевают: чем они виноваты, если читали то, что лежало на прилавках? Каково людям, всю жизнь считавшим, что живут в эпоху А. Герасимова и Соколова-Скаля, а теперь зачисленным в современники Филонова и Фалька? Чьими современниками окажутся толпящиеся у шедевров Глазунова и Шилова?

Не стоит спешить с выводами о том, что именно из сделанного сегодня уцелеет в искусстве через сто лет. Например, в 1970 году самая главная газета Питера «Ленинградская правда» не поместила некролога умершему художнику Натану Альтману — сочли, что маленькой черной рамочки с сообщением о смерти ему хватит. А сегодня, когда полотна недавних советских «классиков», которых провожали в последний путь пышными некрологами, из залов Русского музея заслуженно перебрались в запасники, альтмановская Ахматова является гордостью основной экспозиции музея.

«Ля рюш»

Натан Альтман родился в 1889 году в Виннице. Его мать служила кастеляншей в больнице, своего отца он не помнил. Ему был 21 год, когда он приехал в Париж; за его плечами было одесское училище и несколько картин, выставленных на обозрение в той же Одессе, — картин мастеровитых, но провинциальных.

В Париже Альтман остановился у товарища по училищу, но — так случалось со всеми неимущими талантами, приезжавшими сюда учиться живописи, — вскоре он перебрался в многолюдное и дешевое общежитие, где жила, училась и работала добрая сотня начинающих художников.

Это были теперь легендарные и прославленнее мастерские «Ля рюш» («Улей»). Когда я разыскивал в Париже места,

связанные с жизнью и работой знаменитых художников парижской школы (выходцев из России), «Ля рюш» я даже не стал искать. Почему-то казалось, что эта ветхая постройка давно снесена. Оказалось, нет! «Ля рюш», очищенный от окружавших его развалюх и мусора, сегодня сверкает не только старой славой, но и новой чистотой — здесь, как и прежде, живут и работают молодые художники, и только слово «нищета» к ним трудно отнести.

Итак, «Ля рюш». Он расположен в той части левобережного Парижа, которую давно уже зовут (по одноименному бульвару) Монпарнасом. В классическую пору импрессионистов центром парижской художественной богемы был Монмартрский холм, но со времен Пикассо этот центр демонстративно переместился на левый берег Сены в район Монпарнаса. Здесь снимали недорогие мастерские будущие знаменитости. В монпарнасских задрипанных (а теперь сверкающих) кафе и барах, названия которых звучат, как цитата из путеводителя, — «Ротонда», «Клозери де лила», «Дом», «Куполь», «Селект», после рабочего дня встречались у стойки художники и поэты: Модильяни и Аполлинер, Пикассо и Жакоб, Блез Сандрар и Цадкин…

Длинная и узкая улица Вожирар пересекает весь этот район и кончается бойнями; там, на самой — к началу XX века — окраине Парижа, в Данцигском проезде парижский живописец и скульптор Альфред Буше построил в 1895 году выставочный зал. Его-то и переоборудовали вскоре под художественные мастерские. «Ля рюш» занимает целый квартал. В центре его увенчанное шпилем трехэтажное здание с кариатидами, украшающими портал. Его принято считать круглым, но это правильный двенадцатиугольник в плане. По периметру каждого этажа располагаются 12 комнат-мастерских в одно окно. Это соты «Ля рюш». Вокруг ротонды — масса хибар-сараюх, теперь снесенных; их снимали самые неимущие. В монографии «Художники Монпарнаса. „Ля рюш“», написанной художественным критиком «Фигаро» Жаниной Верно, на плане всего квартала указаны фамилии самых знаменитых жильцов. Сарайчик, который снимал Альтман, значится под номером 14 и расположен за ротондой, с улицы его не видно.

Альтман проработал в «Ля рюш» 10 месяцев — он много писал, занимался скульптурой, здесь же в «Ля рюш» посещал занятия студии русской художницы Марии Васильевой (студия именовалась «Русской Академией», и, кроме художников, туда приходили русские поэты — читать стихи; Серапионова сестра Елизавета Полонская рассказала об этом в книге воспоминаний). Не менее важной школой для Альтмана были роскошные

парижские музеи и масса картинных галерей.

Десятые годы — пора схватки еще недавно царившего в живописи фовизма (Матисс, Дерен, Вламинк) с нарождавшимся кубизмом (Брак, Пикассо). Альтман учился и тому и другому, не становясь адептом ни одного направления. Он навсегда сохранил эту гибкость, способность меняться, не становясь эстетическим однодумом.

В «Ля рюш» рядом с Альтманом трудились ныне знаменитые художники из России — Шагал, Сутин, Архипенко, Цадкин, Кремень, Липшиц… С парижского «Улья» начинается традиция сравнивать Альтмана с Шагалом. В этом сравнении Шагал неизменно оказывается впереди — начнем с того, что он появился на свет на два года раньше Альтмана и в Париж приехал в том же 1910 году, раньше Альтмана, и, когда Альтман впервые выставил свои полотна в Петербурге, Шагала там уже знали. Дело было не только в сходстве судеб и в еврейских темах (Шагал писал только их, преобладали они и у раннего Альтмана), дело было также в природе таланта. И если Альтман уступал Шагалу в честолюбии, целеустремленности, одержимости работой, то кто скажет это про талант?

Шагал всегда был один, а вот когда Натан Альтман приехал в Париж, оказалось, что один Альтман из России там уже есть — художник Александр Альтман, четырьмя годами старше Натана (пять его парижских пейзажей в 1910 году выставлялись в петербургском салоне В. Издебского), так что в 1911 году наш герой подписывал свои полотна только именем — Nathan; он к этому привык и потом, когда других Альтманов уже никто не знал, всегда ставил свой знак— Нат. Альтман.

Альтман не стал певцом Винницы, как Шагал прославил на весь мир свой старый Витебск. Париж дал Шагалу форму — сюжеты были при нем. Главное, чему научился в Париже Альтман, — искусству впитывать новое и меняться, оставаясь самим собой. Таким он появился в Петербурге.

Под самой крышей в грязном, шумном доме

Когда Натан Альтман в конце 1912 года приехал в Петербург, он еще не знал, что в этом городе пройдет половина его жизни.

Как и в Париже, в Петербурге Альтман застал схватку двух направлений в живописи — «Мира искусства», утвердившегося в качестве законодателя художественной моды, и «Союза молодежи» (футуристов Филонова, Бурлюков, Розановой, Малевича), которому стилизаторство Бенуа и Сомова казалось

таким же прошлым, как эстетика передвижничества — мирискусникам.

В Петербурге, как и в Париже, Альтман не примкнул ни к одному направлению — он выставлялся у тех и у других, выглядя откровенно левым у мирискусников и несомненным консерватором в «Союзе молодежи».

Абрам Эфрос в превосходном «Портрете Натана Альтмана» (Москва, 1922 год) сохранил для нас эффект появления художника на невских берегах зимой 1912 года: «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники заметили, что их число стало на единицу больше. Альтман не шумел, не кричал: „Я! Я!“, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо, может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой… Он сделал это с такой безупречной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место». В Петербурге Альтман сразу же стал несомненно петербургским художником.

Он занимался не только живописью: возобновил начатые в Париже занятия скульптурой и много рисовал. (После Парижа в Виннице он издал альбом своих шаржей.) Графика петербургского периода — это не только рисунки, вошедшие в его альбом «Еврейская графика», но и масса шаржей — их печатал «Сатирикон», а модели поставлял подвал «Бродячая собака», где Альтман с удовольствием проводил время.

В «Бродячей собаке» Альтман встретился с Анной Ахматовой — так возобновилось их мимолетное парижское знакомство. Эта встреча дала художнику дивную модель, поэту — новые строки, а русской живописи — одну из самых чарующих ее жемчужин.

Альтман снимал тогда мансарду на Мытнинской набережной, 5, в большом семиэтажном доме, принадлежавшем Матвею и Федору Кириковым. Меблированные комнаты назывались «Княжий двор» (уже давно там помещается университетское общежитие, знаменитая «Мытня»).

Ахматова и Гумилев в ту пору снимали жилье в доме 17 по Тучкову переулку; в его створе оказываются и Тучков мост, и Мытнинская набережная. Анна Андреевна ежеутренне приходила позировать Альтману в мансарду «Княжьего двора» (название меблирашек она потом забыла и звала их «Нью-Йорк», но в стихах все точно:

Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом

И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

Это — «Эпические мотивы», они писались в 1914–1916 годы).

А через четыре года в живописи Натана Альтмана произошли бросающиеся в глаза перемены — Альтман «полевел» вместе со временем. Его беспредметные (и предметные) плоскостные композиции пореволюционных лет — визитная карточка той эпохи, когда левые художники, принявшие революцию, получили годы свободы и создали то, что во всем мире зовется «советским авангардом». Это единственная мирового значения страница искусства советской эпохи, страница, которую вырубили, как только до этого дошли руки, — на то она и революция, чтобы пожирать своих детей.

А еще были служба в Петроградской коллегии по делам искусств, профессорство в Свободных художественных мастерских, дружба и совместная работа с Маяковским, Луниным, Хлебниковым, Мандельштамом, с художниками Штеренбергом, Лебедевым, Бруни, Тырсой, Анненковым. И поездки в Москву, в Наркомпрос по делам Питера (Василий Кандинский писал в 1920 году Александру Родченко: «Альтман очень просит Вас прийти сегодня на Волхонку в 11 часов. Потом там будет Штеренберг. Все по поводу выделения картин для Петербурга»).

Ветер революции давно стал бранным выражением, и на Блока 1918 года смотрят как на помешанного… Сегодняшние межеумки кривят рот, глядя на рисунки, сделанные Альтманом в 1920 году в Кремле (Б. М. Кустодиев, кстати сказать, усматривал в них тогда «некоторый уклон в сторону шаржа»), а ведь, поди, никто не упрекнет Юрия Анненкова за папку графических портретов вождей Октября — еще бы, у Анненкова алиби: он циник и эмигрант…

Есть люди, от которых на каждом повороте истории остается грязь. Натан Альтман оставил нам холсты, излучающие свет.

Праздник, который всегда

В 1928 году Альтман снова приехал в Париж. На сей раз с Московским еврейским театром Грановского. Но когда театр вернулся в Москву, Альтман остался в Париже. У него был статус гражданина СССР, он посылал свои работы на советские выставки, но как художник и человек был свободен.

Это продолжалось 8 лет — зенит жизни. Альтман много писал маслом, оформлял книги, много гулял, бражничал, любил красивых женщин. Воздух Парижа снова вошел в него.

Монпарнас успел уже забыть о кубизме, и, как говорят, «даже Пикассо всматривался в Энгра». Альтман в очередной и, как оказалось, в последний раз обрел новую живописную манеру — ушли рациональность и геометрия, он сам назвал это «отходом от абстракции к живому человеку».

В 1929 году Альтману удалось устроить французскую визу балерине театра Грановского Ирине Петровне Дега, которую годом раньше он прославил волшебным портретом. Теперь они могли жить в Париже. Ирина Петровна была очаровательной, веселой, легкой, деятельной, и, конечно, это была золотая модель для художника. В начале 1980-х годов в Москве и в Питере я много расспрашивал ее о парижской жизни тех лет.

Альтманы сняли квартиру далеко от центра — на бульваре Брюн, 21, в районе фортов Порт де Ванв. Это был только что выстроенный восьмиэтажный дом со всеми удобствами (редкость в тогдашнем Париже).

Под Альтманами жили Савичи — друзья Ильи Эренбурга, и, заслышав голос Ильи Григорьевича, Альтманы устремлялись вниз, причем Ирина Петровна лихо съезжала по перилам.

Вскоре грянул экономический кризис, и картины перестали покупать. В это трудное время Ирина Петровна много работала, чтобы дать Альтману возможность заниматься живописью. Успех пришел к нему не сразу (Фальк писал об этом из Парижа сыну в Москву), но пришел.

На ретроспективе Ивана Пуни в Трокадеро (1993 год) в одной из витрин лежала фотография, запечатлевшая художников на выставке 1928 года в галерее Зак. Там были респектабельный Федер (не знающий, что погибнет в гитлеровском концлагере), скованный Фотинский (ему удастся улизнуть из Парижа), всегда обаятельный Пуни, Анненков с молодой, задорной улыбкой и

Натан Альтман, стоящий со всеми вместе и совсем отдельно. Он необыкновенно хорош на этом снимке, и кто скажет по его загадочной улыбке, успех у него или неудача.

Юрий Анненков и Иван Пуни — ближайшие приятели парижских лет Альтмана, приятели по части радостей жизни; дружил Альтман и с молодыми русскими художниками Терешковичем, Пикельным, Воловиком, с женой Эренбурга Любой Козинцевой. «Однажды, это было в 1929 году, — рассказывала мне Ирина Петровна, — поздно вечером постучали в дверь. На пороге стоял мрачного вида субъект, от него несло спиртным. Альтман, ни слова не говоря, собрался и ушел с ним. Пропадали они по парижским кабакам несколько дней. Вернувшись, Альтман назвал мне имя темного гостя. — Тут Ирина Петровна наклонилась ко мне и тихо сказала: — Дайте слово, что никому не скажете». Я много лет честно молчал, ну а теперь это уже никому не может повредить. Ночным гостем был Яков Блюмкин, тот самый, убийца германского посла графа Мирбаха, а затем один из ближайших сотрудников Дзержинского в ГПУ. Он возвращался в Москву с ответственного задания, но по дороге не удержался и тайно навестил изгнанного Сталиным Троцкого. Блюмкин вез в Москву секретное послание Троцкого Карлу Радеку. Но Радек так перепугался, получив письмо, что, не вскрывая конверта, отнес его Сталину. В тот же день Блюмкин был арестован и расстрелян. Когда весть об этом дошла до Парижа, Ирина Петровна, естественно, перепугалась. Она была в общем-то легкомысленным человеком и, конечно, абсолютно далеким от политики, но тут было чего опасаться, этот страх не улетучился и через 50 лет…

В Париже Альтман снимал мастерскую на бульваре Сен-Жак, 47. Во дворе этого дома сквер, а в нем — длинное двухэтажное здание. Все квартиры выходят в огромный общий коридор; двухсветная мастерская с внутренней лестницей на антресоли. Уезжая из Парижа, Альтман оставил эту мастерскую своим приятелям — художникам Воловику и Найдичу. Я был в этой мастерской у вдовы Найдича, хорошо помнящей Париж 1920-1930-х годов. На ослепительно белой стене картины висят в несколько рядов; портрет теперешней хозяйки мастерской кисти Альтмана нельзя не заметить сразу…

В 1933 году в Париже вышла книга «Натан Альтман», которую написали французский критик Вольдемар Жорж и русский писатель Илья Эренбург. Издательство «Триангль» выпускало книги только на идише; кто перевел тексты, неизвестно, но, когда уже в Питере Альтман, для которого идиш был языком детства, попытался сделать обратный перевод, он так и не смог полностью

понять витиеватый текст…

В Париже у Альтмана родился сын — прелестный мальчуган с большими умными глазами (сохранилось несколько его карандашных портретов, сделанных Альтманом). Мальчик умер, когда ему было всего полтора года. Ирина Петровна рассказывала, как их поддерживал тогда Эренбург: «Он так понимал мое страдание, ежедневно приходил, чтобы чем-нибудь отвлечь, хотя мы и держались на людях сдержанно. Но Эренбург так понимал…»

В конце 1935 года Альтманы расстались — Ирина Петровна уехала в США, заключив контракт с американской балетной труппой, а Натан Исаевич принял решение вернуться на родину. Его очень звали в СССР, сулили интереснейшие заказы; Альтман не мог забыть кризиса на Западе и, как многие, верил в великое будущее СССР.

Когда кругом позор и преступленье

7 января 1936 года Альтман писал из Москвы в Америку теперь уже бывшей жене: «Все театры предлагают делать постановки, издательства иллюстрировать книги, дают заказы на картины, дают командировки, чтобы ехать смотреть страну и все то замечательное, что за эти годы создано… Московский Совет постановил поручить мне оформление внешнее и внутреннее нового музея Маяковского, в который превращают дом, где Володя жил, и весь участок возле дома». И еще одно, следующее по времени, письмо: «В Москве замечательно интересная жизнь. Масса интересной работы. Чувствую себя бодрым и жизнерадостным. Страна колоссально растет, массы безудержно стремятся к культуре и знанию и растут с каждым днем. Сегодня опубликовано постановление ЦИК о переименовании Триумфальной площади в площадь Маяковского. Мне страшно не терпится начать работать. Работу предлагают со всех сторон. К сожалению, я все еще сижу в гостинице. С квартирой дело пока не подвинулось».

Наивным восторгам Альтмана пришел конец 28 января 1936 года вместе со статьей «Правды» «Сумбур вместо музыки», в которой громили Шостаковича. А в феврале-марте сорвавшиеся с цепи псы рвали на части архитекторов Мельникова и Леонидова, художников Лебедева, Тышлера, Штеренберга, режиссеров Мейерхольда и Таирова, поэтов Пастернака и Заболоцкого, кинорежиссеров Эйзенштейна и Довженко. Это называлось кампанией по борьбе с формализмом.

Альтман прозревает быстро. Он перестает писать в Америку; ему уже ничего не предлагают, о квартире в Москве нет и речи. Весной 1936 года он оказывается в Ленинграде и вместе со своей новой женой поселяется на углу Лесного и Кантемировской. Здесь Альтман прожил 35 лет. Он еще успел оборудовать мастерскую, а издательство «Academia», перед тем как исчезнуть навсегда, отпечатало большеформатный тираж «Петербургских повестей» Гоголя с замечательными и конечно же чудовищно «формалистическими» иллюстрациями Альтмана, выполненными еще в Париже (здесь снова возникает тень Шагала, незадолго перед тем сделавшего серию рисунков к «Мертвым душам»).

Живописи больше не было. К мольберту Альтман приколол листок, на котором его красивым готическим почерком были написаны строки Микеланджело Буонарроти:

Отрадно спать.
Отрадно камнем быть.
Нет, в этот век,
Ужасный и постылый,
Не жить, не чувствовать —
Удел завидный.
Не тронь меня.
Не смей меня будить!

М. Эткинд в монографии «Натан Альтман», с трудом пробившейся к читателю в 1971 году, глухо назвал все это «кризисом художника».

Когда началась война и в Ленинграде уже сказывался голод, Альтман как-то пришел в Союз художников, где подкармливали мастеров кисти и резца. «А у вас какое звание?» — полюбопытствовал вахтер. «У меня нет звания, — совершенно спокойно ответил Альтман. — У меня есть имя».

Вот запись Г. М. Козинцева военной поры: «Альтман о званиях и премиях: я просто хотел быть хорошим художником, но теперь это „вопрос меню“». И еще одна запись: «Как в Новосибирске Натан красил таракана серебряной краской — это будет у меня лауреат».

Альтман не обладал волей Фалька, исступленно работавшего в кромешной нищете, но, в отличие от многих мастеров, он не позволил себе писать плохо — он не писал вообще.

Он был неизменно подтянут и элегантен, знал себе цену и дружил лишь с теми, кто понимал, что такое мастерство и подлинный вкус. В Москве это были Эренбурги, в Ленинграде — прежде всего Г. М. Козинцев.

В 1920 году шестнадцатилетний Козинцев учился у Альтмана в Свободных художественных мастерских; теперь разница в возрасте была не столь заметна. Альтман работал с Козинцевым над всеми его театральными шекспировскими постановками. «Король Лир» в БДТ (премьера состоялась перед самой войной, спектакль шел недолго — при бомбежке сгорели декорации); «Отелло» в Александринском театре (премьера в Новосибирске в 1944 году) и, наконец, знаменитый «Гамлет» в Александринском театре — эта премьера 1954 года ознаменовала начало театральной «оттепели», и работа Альтмана была вдохновенной.

К 80-летию Альтмана в Москве вспомнили о художнике, некогда рисовавшем в Кремле Ленина, и, несмотря на совершенно недостаточную общественную работу и сугубо неарийское имя, все-таки присвоили ему звание заслуженного художника РСФСР (ушлые бездари этих лавров благополучно достигали к пятидесяти). Когда курьер принес Альтману правительственную телеграмму с пустыми словами поздравления, он ничего не сказал, только смял несчастный листок в кулаке и бросил на пол… Впрочем, другой подарок Альтман принял охотно: ему позволили ретроспективную выставку. Она и посейчас памятна многим. Альтман ежедневно приходил на улицу Герцена помолодевший и стройный, и видеть его самого на фоне его волшебных холстов было незабываемой радостью.

Натан Альтман.
Париж, 1928 г.
Фото И. Эренбурга

Н. И. Альтман с Л. М. Козинцевой-Эренбург и обезьяной Федькой.

Париж, 1928 г.

Фото И. Эренбурга

Серж Фотинский — парижский художник

О существовании французского художника, выходца из России Сержа Фотинского послевоенные русские читатели узнали из мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» еще в 1960 году — сначала он был упомянут в длинном и пестром списке посетителей легендарного парижского (точнее даже — монпарнасского) кафе «Ротонда», а затем последовал краткий, но, как всегда у Эренбурга, выразительный портрет: «Художник Серж, или Сергей Фотинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все, он голодал, как все, писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, но всегда говорил „у нас в России“; получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный…» Я обрываю это краткое повествование и обращаю внимание читателей на слова о приезде Фотинского в Париж: «задолго до меня». Эренбург, как известно, приехал в Париж в декабре 1908 года. Когда же приехал Фотинский?

Единственная изданная в России книга (помимо «Люди, годы, жизнь»), где я встретил упоминания о Фотинском, — больших размеров монография-альбом В. М. Полевого «Двадцать лет французской графики». В аннотированном указателе сообщается, что Фотинский приехал во Францию в 1908 году, а в тексте книги (с. 89) — что это произошло в 1907-м. Сомнительно и то и другое. Ясность в этом вопросе, равно как и уникальная информация о том, как Фотинский попал во Францию, пришла нежданно-негаданно.

Как-то я рассказывал о своих эренбурговских штудиях московскому поэту Дмитрию Антоновичу Сухареву; зашла речь и об эренбурговских мемуарах, первое бесцензурное, комментированное издание которых я тогда уже начал готовить. И тут Д. А. говорит: «А вы знаете, я — родственник одного из друзей Ильи Григорьевича». — «Кого?» — немедленно спросил я. И в ответ прозвучало: «Фотинского».

Сухарев — литературный псевдоним поэта; как ученый-биолог, специалист по мозгу, он известен под своей подлинной фамилией: Сахаров. В семье Д. А. Сухарева память о дальнем родственнике, давно уехавшем во Францию, хранили, и связей с ним не порывали — мать Д. А., Ирина Владимировна, встречалась с художником в 1935 году, когда он на время оказался в Москве; Д. А. виделся с ним в Париже уже в 1970-м. Вот откуда я узнал то, что не было известно никому во Франции: что Серж Фотинский — это Абрам Саулович Айзеншер. Он родился в 1887 году в Одессе. Смолоду (еще до революции 1905 года, всколыхнувшей всю

Россию) был участником всяких революционных дел, грозили ему серьезные неприятности, и в 1903 году молодому Айзеншеру удалось раздобыть российский паспорт на имя Сергея Фотинского, и с ним он бежал во Францию. Так в Париже 1903 года шестнадцатилетний Абрам Айзеншер стал Сержем Фотинским и уже никогда не возвращался к своему подлинному имени[4]. Понятно, что значит в юном возрасте период в пять лет, — для Эренбурга, встретившего Фотинского в 1912 году, тот был уже парижанин с почти десятилетним стажем…

Пылкость Фотинского особенно запомнилась Илье Эренбургу в марте 1917 года: «Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой „Ротонде“ и бился над переводом сонета Дю Белле… Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фотинский — я не заметил, как он вошел в кафе…

— Как, ты не знаешь? — кричал Фотинский. — Царя нет!

Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фотинского. На первой странице газеты было напечатано: „Государственный переворот в Петрограде. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила“. „Ну и что? — сказал я Фотинскому. — Чем Михаил лучше Николая?“ Но Фотинского разочаровать трудно: он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму: „В Петрограде забастовки, демонстрации“. „Это настоящая революция!“ — кричал Фотинский; я его снова обнял».

Февральская революция открыла в Россию путь многим политэмигрантам, но Фотинский возвращаться не захотел (в длинных списках на возвращение, которые составлялись в парижском посольстве Временного правительства — там попадаются и те, кто все-таки в Россию не поехал, — Фотинского нет)[5]. Он навсегда остался во Франции. Возможно, это было связано уже с обстоятельствами семейной жизни. Вот отрывок из записанных мною воспоминаний А. Я. Савич: «Сержа Фотинского Эренбург звал „Фотя“. Они были старые друзья, еще с дореволюционных лет. Фотинский приехал во Францию из России, женился на француженке (его жена Лиан Ренар происходила из семьи ремесленников; она изумительно вкусно готовила; в Париже у нее была своя квартира с уборной по старинке на лестнице, а у Фоти ателье в другом районе Парижа. Фотинского Лиан считала гением)».

В СССР о Фотинском в 1926 году поведал иллюстрированный ежемесячник «Вестник работников искусств», напечатав корреспонденцию Самуила Марголина «Монпарнасские россияне (Из парижских впечатлений)»[6]. Фотинскому в ней был посвящен «искусствоведческий» пассаж, похожий скорее на пародию: «Сергей Фотинский выставил в галерее Жозефа Билье цикл своих

работ за пятнадцатилетие своей парижской жизни. Это, в большинстве случаев, акварельные пейзажи французских провинций. Каждый из них напоминает контр-рельеф четкой выпуклостью своих очертаний. Художник любит синюю и зеленую краску. Влияния кубизма возымели на его мастерстве свое действие, но художник ушел дальше кубизма. Он передает жанр, как реалист, от которого не ускользнет ни одно явление действительности, и как романтик, готовый проникать внутрь вещей и поэтизировать даже городские пейзажи. Утрилло, естественно, оказал на него максимум влияния, оставив ему в то же время достаточную долю самостоятельности и индивидуальной самобытности». В той же неподражаемой манере Марголин описал общественную деятельность художника: «Сергей Фотинский объединяет разрозненные группы монпарнасских россиян не только как общественник и секретарь французского союза русских художников, устремляющихся в Советскую Россию, но и как мастер, умеряющий пыл крайностей живописных направлений…»

Фотинский писал не только пейзажи, но и натюрморты; делал он и портретные зарисовки. Я видел не много его работ (он дарил их в Париже Эренбургу, Лидину[7], возможно, другим знакомым — так они попадали в СССР). Выходящие теперь на Западе каталоги распродаж графики и живописи — монументальны и фантастически полны; в них регулярно встречаются и по нескольку работ Фотинского. «В последние годы у Фоти ослабло зрение, — рассказывала А. Я. Савич, — он видел все как-то стерто, его живопись изменилась — это понравилось публике, и его поздние вещи имели успех…».

В 1920-1930-е годы Фотинский много занимался графикой — ему были доступны разные техники. В начале 1920-х годов его графика систематически появляется в хорошо иллюстрированном левом французском журнале «Кларте», который редактировал Анри Барбюс. Среди художников этого журнала было и несколько выходцев из России — помимо Фотинского это: Осип Цадкин, Жан Лебедев, Натан Альтман, Дм. Митрохин, Виктор Барт, Айзик Федер, Хана Орлова… Чтобы показать, какому уровню требований надо было удовлетворить, чтобы пробиться на страницы журнала, назову несколько художников, чьи рисунки там постоянно появлялись: Пикассо, Матисс, Фужита, Люрса, Лот, Мазерель. Героико-романтические ксилографии Фотинского в «Кларте» (они до некоторой степени напоминают графику Рокуэлла Кента) попадали и на обложку журнала; Фотинский напечатал в «Кларте» целую серию литографий.

В 1928–1935 годах Серж Фотинский печатается в новом

барбюсовском международном журнале «Монд». Графика этого журнала блистательна — один только перечень имен художников завораживает: Матисс, Пикассо, Леже, Шагал, Ривера, Синьяк, Дерен, Дюфи, Марке, Гросс; здесь начинал Жан Эффель. И вот в таком блистательном ряду мы видим имена и русских художников — как парижан: Анненкова, Ларионова, Лебедева, Альтмана, так и приезжающих из СССР Дейнеки, Редько, Глущенко, Кибрика… Фотинский не затерялся в этом искрометном перечне…

В начале 1930-х годов он вступает в ряды АЕАР — французской левой Ассоциации революционных писателей и художников (большинство писателей и художников этой ассоциации и группировались вокруг журнала Барбюса).

В июне 1935 года, когда в Париже состоялся Международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры, Фотинский с подачи Эренбурга — одного из основных организаторов конгресса — становится художественным корреспондентом московской «Литературной газеты» на конгрессе; его зарисовки, беглые портреты писателей, приехавших на парижский конгресс, газета печатала в нескольких номерах (замечу, что парижский журнал «Лю» помещал зарисовки с конгресса Натана Альтмана). Но участие в работе конгресса Фотинский принимал не только как художник. Большинство советских делегатов не владело французским (отбор делегатов шел по соображениям сугубо идеологическим — о языке не думали), и Эренбургу пришлось привлечь все свои парижские ресурсы, чтобы обеспечить гидами и переводчиками гостей из СССР. Они были закреплены за друзьями и знакомыми Эренбурга. Фотинским досталась Анна Караваева (кто теперь вспомнит этого «классика» советской литературы!). Привожу рассказ А. Я. Савич: «Караваева ежедневно агитировала жену Фотинского Лиан за СССР. Летом в Париже стоит невыразимая духота и город пустеет. Караваева говорила Лиан: „Духота у вас тут. А у нас в СССР вот такие горы снега!“ — „Как, — ужасалась Лиан. — Даже летом?“»…

По завершении парижского конгресса писателей, в том же 1935 году, Серж Фотинский после длительнейшего перерыва решил наконец съездить в Москву. Уговорил его предпринять это путешествие, разумеется, Эренбург, да и гонорар от «Литгазеты» содействовал поездке. Она планировалась двухнедельной: посмотреть, как изменилась страна, повидать родных. Человек Фотинский был родственный и, хотя с момента его бегства во Францию прошло 30 лет, родных не забывал. Одна из его почтовых открыточек 1930-х годов — матери Д. А. Сухарева

Ирине Владимировне — уцелела: «Зайди в отель „Метрополь“ — там живет Любовь Михайловна Эренбург. Она передаст тебе привет от меня и подарочки. Она скоро уедет в Париж» — все оказии в Москву всегда использовались.

Эренбург с его любовью к броским, емким фразам и прозрачным намекам (последнее — от понимания, что цензуру можно только обмануть) повествует об этом событии в жизни Фотинского так: «В 1935 году он решил съездить в Москву на две недели; прожил в Москве два года; глядел на все с восторгом и с испугом». Два года, конечно, преувеличение (уж очень напрашивается к двум неделям) — на самом деле Фотинский задержался (правильнее сказать, его задержали) меньше: он вернулся еще в 1936-м. Задержка произошла, разумеется, не по своей воле — таково было решение НКВД. За Фотинского «болели» все друзья, ему самому было совсем не до восторгов. А. Я. Савич, на собственной судьбе хорошо узнавшая, что значит, когда НКВД не выпускает из страны, рассказывала: «Когда срок его путешествия истек, ему неожиданно отказали в выездной визе. Он прибегал к Лидину и возмущенно жаловался на чиновников, а Лиан приходила ко мне и жаловалась на судьбу. Слава Богу, все устроилось — ИГ стал хлопотать, и Фотинского выпустили во Францию. Но в Россию он уже больше не ездил». Добавлю, что хлопоты были основательные — Эренбургу пришлось обращаться к другу своей юности Н. И. Бухарину, которому в последние месяцы своей свободы (в 1937 году он был уже арестован, а в 1938-м расстрелян) удалось добиться для Фотинского загранпаспорта. Московские родственники художника этого не забывали, но семейное предание было закодировано: «Помог большой человек, ставший потом врагом народа».

Когда немцы в 1940-м подходили к Парижу, Фотинскому удалось бежать, но в 1941-м он им все равно попался и был посажен в Компьенский концлагерь. Судьба оказалась к нему милостивой — он чудом уцелел.

После войны он встречался с Эренбургом только в его наезды во Францию. И в каждый приезд он Эренбурга поражал. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» читаем: «Он живет в Париже шестьдесят лет, но продолжает говорить: „У нас в Советской России…“ Говорит он по-русски своеобразно: „Ты берешь авион?“ Еще своеобразнее переходит улицу — подымает руку, как бы предупреждая водителей, что машины должны уважать пешехода, вид у него при этом Моисея, останавливающего морские волны».

В послевоенном 1946-м авторитет России, победившей Гитлера, был еще очень велик, и Фотинский взволнованно

говорил Эренбургу, что «поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские — победители, они спасли мир». Эта эйфория быстро рассосалась. Когда через три года Эренбург снова приехал в Париж — на сей раз мрачный и еле живой (в СССР шла кампания по борьбе с «космополитами», как тогда именовали евреев, — французы задавали об этом много вопросов, а он вынужден был от них уворачиваться: одно неосторожное слово, и — капут), Фотинский прибежал к нему в гостиницу и, как подчеркивает Эренбург, «не задавал мне неприятных вопросов», а повел бродить по городу и выставкам: «Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблони Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревоженно спросил: „А ты здоров?“ Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать — отвечал невпопад». Потом, слава Богу, Сталин умер, и наступила «оттепель»…

Письма Фотинского к Эренбургу сохранились как раз «оттепельной», относительно свободной поры.

Приведу их здесь; язык писем, пожалуй, посуше того своеобразного языка, на котором Фотинский говорил; редакционная правка — минимальна. В РГАЛИ письма хранятся без конвертов, и дат на них, как правило, нет. Примерно они выстраиваются в такую хронологическую цепочку.

1

Париж, 1 мая <1960>

Дорогой Эренбург и дорогая Люба, как живете и когда приедете в Париж?

Вот уже год, как ты не приезжал к нам. У меня все по-прежнему. Со зрением не хуже, я могу заниматься живописью, в этом году я много работал и думаю продолжить летом. Мы уезжаем в деревню[8] 15 мая до октября, там легче работать, т. к. жизнь в Париже невыносима. Я занимаюсь садоводством (прошлым летом урожай огурчиков был великолепный).

Если приедешь в Париж и меня уже не будет и если у тебя будет свободное время, приезжай к нам хоть на несколько дней. Я тебя приглашаю. Предупреди меня, и мы тебя устроим. Понятно, с Любой, если она приезжает с тобой.

Увидим Les grottes de Lascaux и другие замечательные места в этой области.

Буду рад, если напишешь несколько слов из Москвы.

Ну вот так, дорогой Эренбург.
В Париже сейчас холодно, как зимой.
Крепко обнимаю тебя и Любу. Фотя.
Лиан также шлет вам лучший привет.
Привет всем друзьям.

2

Дорогой Эренбург, все лето жил в деревне и скоро возвращаюсь в Париж. На днях узнал, что ты в Париже. Звонил отсюда в твой отель, но, к сожалению, ты уже уехал. Когда был вечер в Москве в память Аполлинера, я слушал передачу и слышал тебя, d'Aster[9] и др., словно был в Москве. Хотел бы повидать тебя и Любу. Надеюсь, что приедете осенью или зимой сюда. Мы работали все лето — я писал, занимался живописью, а Лиана делала ковры (по моим рисункам).

Обнимаю тебя и Любу, также и Лиан.

Твой Фотя.

3

Дорогой Эренбург,

когда думаешь приехать в Париж? Если б я знал, что ты был в Париже этим летом, я бы нарочно приехал, чтоб тебя повидать. Но, к сожалению, я узнал о твоем приезде, когда мы возвратились в Париж поздно осенью.

Крепко обнимаю тебя и Любу. Лиана Вам кланяется, и передай сердечный привет Ирине и сестрам Беле и Жене[10].

Твой Фотя.

4

Дорогие Эренбурги.

Я получил Ваш привет, переданный мне Кавериным[11], и был очень рад. Каверины очень милы и симпатичны. К сожалению, у них не было много времени, чтобы фланировать по Парижу.

Из Италии в декабре месяце я получил твое письмо и ответил тебе моментально, но получил это письмо обратно из Италии. Ты, вероятно, переехал в другой город, и это письмо тебя не догнало. Когда приедете в Париж? Мы с Лианой думаем уехать в деревню 15 мая и быть до 15 октября. Но если ты приедешь в это время в

Париж, я возвращусь в Париж, чтоб повидаться. Я читал отрывок из твоих мемуаров «La Rotonde» в журнале «Horizon»[12].

Здоровье мое благополучно. С глазами не ухудшается, процесс остановился. Я работаю, т. е. занимаюсь живописью. Думаю устроить свою выставку.

Лиана шлет Вам обоим свой сердечный привет, и мы обнимаем Вас крепко

Твой Фотя.

Привет Ирине и сестрам.

5

Дорогие Эренбурги.

Я получил письмо от Worms'a, в котором он мне пишет, что Вас видел в Москве и Вы ему сообщили, что писали мне, но я не ответил на это письмо. К сожалению, я не получил (вероятно, оно затерялось). Надеюсь, что ты скоро приедешь в Париж.

Обнимаю и целую Вас. Ваш Фотя.

Привет Лидину и Савичам[13].

6

Париж, 26 июля

Дорогой Эренбург.

Люсьен едет в Лондон на 2 дня, я воспользовался этим случаем, чтоб он тебя обнял за меня. Передай ему, если знаешь, как поживают мои родные.

На днях уезжаем в деревню в «Perigord» на 2 месяца, надеюсь, что вакансы не будут прерваны, как в 1939.

Передай сердечный привет Любе, Лидину и Савичам.

Обнимаю тебя, твой Фотя.

7

Дорогой Эренбург.

Я был очень рад, получив от тебя письмо. Глупо и досадно, что мы не могли встретиться, несмотря на то, что ты все время бываешь на границах и был даже (одно слово — нрзб. — *Б. Ф.*) головой. Живу, как всегда, работаю, выставляюсь иногда, но иногда, читая газеты или слушая радио, начинаю беспокоиться, не зная, чем все это кончится. А кто знает?

Как ты воображаешь Париж сей во всей своей красе и даже не хочется его оставлять для вакансов.

Если увидишь моих родных, скажи им, что покамест все благополучно, собираюсь устроить в этом году свою выставку.

Передай Любе, что я совершенно отошел от импрессионизма и приблизился к neoexpressionizму. Когда устрою выставку, пришлю Вам каталог.

Лиана тебе очень кланяется, передай сердечный привет и поцелуй от нас Любе. Кланяйся Ирине, милому Лидину, Савичам.

Обнимаю тебя, твой Фотя.

8

Дорогие Эренбурги,

Был очень рад, когда получил твою телеграмму. Мы шлем Вам лучшие пожелания к Новому году и крепко целуем Вас. Когда увидимся? Надеюсь, что приедете в этом году в Париж.

Твой Фотя.

9

С Новым годом, дорогие Люба и Илья, целую Вас крепко. Увидимся ли в этом году в Париже?

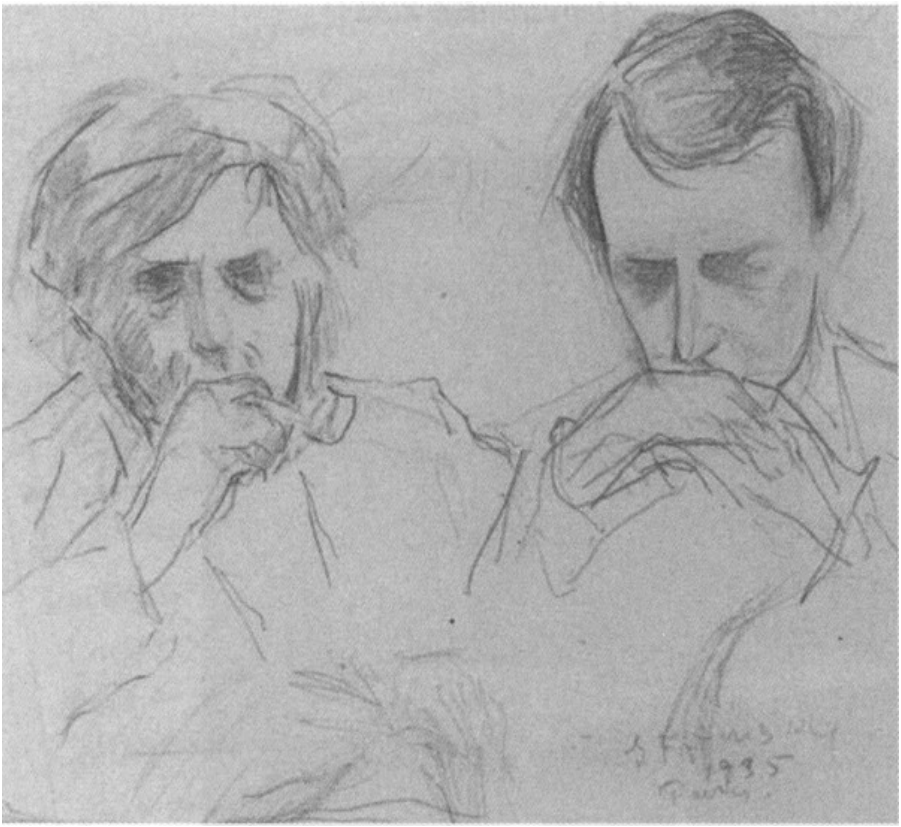
Ваш Фотя.

Это последняя открытка, она написана почерком очень старого человека. Сохранилось еще письмо Лиан к Л. М. Эренбург по-французски от 3 сентября 1968 года — в первую годовщину смерти Эренбурга.

Фотинский пережил обоих Эренбургов — он умер в 1972 году. Лиан долго занималась его картинами, и, как вспоминала А. Я. Савич, ей в итоге удалось их как-то пристроить…

Слева направо: С. Фотинский, Л. Козинцева-Эренбург, В. Лидин, И. Эренбург, А. Савич, Ф. Расп, О. Савич. Париж, 1927 г.

И. Эренбург и С. Фотинский. Париж, 1962 г.



И. Эренбург и А. Мальро. Париж, 1935 г.
Рисунок С. Фотинского

Рисунки Лидии Эйдус (мир Кафки)

В иерусалимском издательстве «Филобиблон» вышел по-русски роман Франца Кафки «Процесс» — элегантное издание на меловой бумаге с 32 цветными иллюстрациями Лидии Эйдус.

Книга эта (очередное переиздание классического перевода Р. Я. Райт-Ковалевой) интересна для нас тем, что представляет собой первое русское издание романа Кафки с цветными рисунками, их автор — бывшая петербуржанка.

Лидия Эйдус — человек двух призваний: математик и художник. Немало инженеров выучилось у нее высшей математике за многие годы ее вузовской работы в Питере; круг знакомых с ее художественными работами — наверное, уже. Первая персональная выставка Лидии Эйдус прошла в Питере еще в 1977 году, но через три года художница (вместе со своим мужем, известным питерским математиком, профессором Д. М. Эйдусом) уехала в Израиль (на суперобложке, где изложены ее биографические данные, употребляется слово «репатриировалась»: лексика, понятно, зависит от географии). Первая персональная выставка Лидии Эйдус в Израиле состоялась в 1988 году в иерусалимской «Нора-галерее» — «репатриация» не остановила творчества, но лишь расковала его. Внутренние мотивы и темы израильских работ Л. Эйдус репатриировались вместе с ней — работа над Кафкой была задумана и начата еще в Питере.

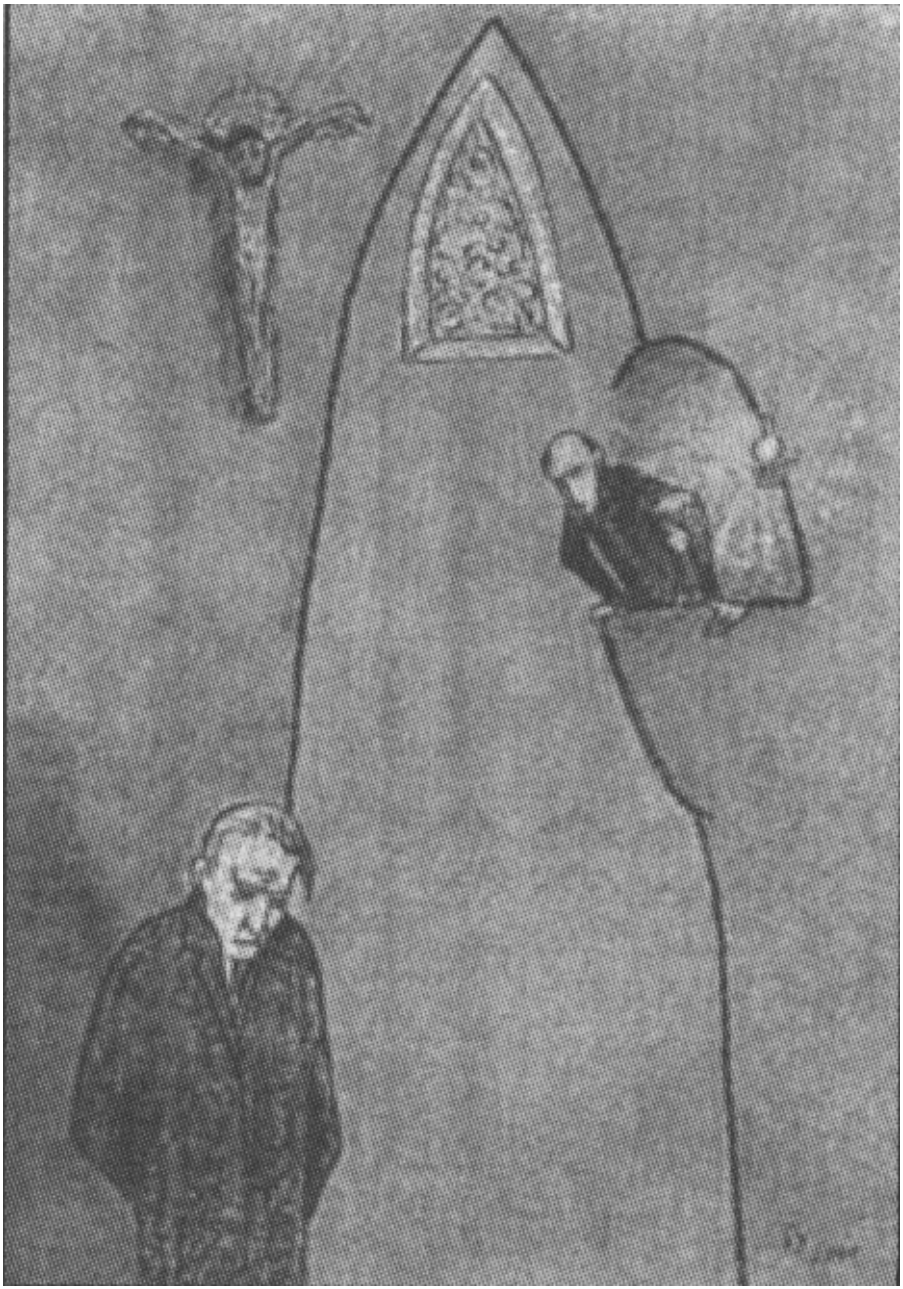
Что может побудить израильского художника работать над Кафкой, если исключить такой общечеловеческий стимул, как заказ? В Израиле с его повышенной идеологизацией — это, конечно, ощущение национальной общности, и Кафка там *свой* куда в большей степени, чем в Берлине, Вене и, возможно, даже в Праге. Для Лидии Эйдус Кафка, конечно же, тоже *свой*, но он стал таким еще в Ленинграде, в СССР, и дело тут не в национальных корнях, а в содержании его прозы. Граждане тоталитарных государств, ощущавшие и осознававшие «прелести» режимов, не могли не считать Кафку *своим* автором. Мне кажется, что Кафка все эти 20 лет не отпускал Лидию Эйдус как память о пережитом, как единство бреда — ее прошлой жизни и страниц его текста. Художники «демократий» (понятие, разумеется, условное) не могут ощутить кафкианский бред как родной, пережитый. Конечно, мир Кафки моделирует определенные стороны функционирования любого государства, но тоталитарные режимы с их особым характером взаимоотношений массы и аппарата власти приговорены описываться им.

Последние годы Кафку в России издавали много и довольно полно. Ситуация несравнима с запоздалым проникновением писателя в СССР, с острой борьбой за самую возможность его издания. Помню тогдашний эренбурговский эвфемизм «Кафка предвидел страшный мир фашизма»: так доказывалось право советских людей прочесть книги писателя. Бешеный ажиотаж вызвало единственное небольшое советское избранное писателя (1965 год). Кафка — не Булгаков, чтение его не опьяняло интеллигенцию; привлекала не столько эстетика, скорее — узнаваемость абсурда. И то, что писателя приняли, выразилось в советском каламбуре: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью (легко усвоенный, он стал трюизмом — печальная судьба гениальных и доступных острот).

Замечательные иллюстрации Лидии Эйдус к «Процессу» прежде всего естественны. Их принимаешь, как будто знал давно. Цитаты из романа под ними подчеркивают строгое следование тексту. Художник стремится не к самовыражению во что бы то ни стало, не к созданию мира, автономного от прозы, но к тому, чтобы показать нам, как все это происходило с беззащитным Йозефом К. Уныло-протокольному психологизму романа и безумию его сюжета в иллюстрациях Л. Эйдус соответствуют точная композиция и сознательная простодушность рисунков пером на почти монохромном, неброском, зыбко-шероховатом фоне — он подчеркивает бред и неотвратимость происходящего с несчастным господином К.

Технические обстоятельства определили формат книги и размер напечатанных рисунков (их пришлось заметно уменьшить против оригиналов), а также расположение их блоками по четыре. Наверное, это не лучший вариант — увы, не все во власти художника…. Осенью 2000 года в Иерусалиме в известном теперь по телерепортажам квартале Гило мы сидели с Эйдусами у издателя книги — он варьировал на компьютере тон рисунков. Начался обстрел — нестрашный, потому что к этому там уже привыкли. Израиль — маленькая страна, созданная упорным трудом его народа. Если задуматься, эта война кажется таким же бредом, как процесс Йозефа К.

Ну, а в 2002 году в Петербурге состоялась большая выставка графики, живописи и гобеленов Лидии Эйдус; в следующем году в Иерусалиме вышел альбом ее иллюстраций к произведениям Кафки (к «Процессу», «Замку» и рассказам)…



Л. Эйдус. Иллюстрация к прозе Ф. Кафки

Обложка книги Л. Эйдус
(Иерусалим, 2003)

III
Максим Литвинов
Анна Ларина-Бухарина

Максим Максимович Литвинов

В июле 1876 года в городе Белостоке, который теперь Польша, а тогда был Россия, в семье весьма среднего достатка родился мальчик Меер Валах. В мировую историю XX века ему суждено было войти под именем дипломата Максима Максимовича Литвинова. В общей сложности он прослужил на дипломатическом поприще меньше 30 лет, но в истории века эти годы были наполнены событиями столь радикальными, что год можно считать уж никак не меньше, чем за два.

Биографию Литвинова выигрышно было излагать в послесталинское, «оттепельное» время. Его биограф З. С. Шейнис, собравший огромный материал, в шестидесятые годы написал о Литвинове книгу, которой 20 лет не давали хода, хотя она не содержала никакой политической крамолы. У книги был личный враг, и он имел конкретное имя: А.А. Громыко. Этого человека, волею случая и кадрового голода после массового отстрела дипломатов литвиновской школы, приняли в 1939 году на службу в Народный комиссариат иностранных дел и вскоре послали в США, где во время войны он служил под началом Литвинова. Тогда-то он и получил исчерпывающую письменную характеристику: «Тов. А.А. Громыко к дипломатической службе непригоден». Если б это заключение было ошибкой, Громыко еще мог бы его простить Литвинову, но, поскольку это была чистая правда, его ненависть не остывала до гробовой доски — больше сорока лет…

Сейчас трудно представить, что были такие времена, когда советскую дипломатию в мире уважали, — это было в эпоху Литвинова. То, что пришло ему на смену: тупой исполнитель злой воли Сталина Молотов, откровенный мерзавец Вышинский, серый, как мышь, Громыко, лучший друг Саддама Хусейна Примаков, весь этот цинично серый паноптикум создал такой исторический фон, на котором фигура М. М. Литвинова воспринимается как колосс. Я не говорю уже о том, в какой партийно-родственный рассадничек превратилась отечественная дипслужба в последние десятилетия — идейных литвиновских интеллектуалов навсегда сменили посредственности и циники.

Книга Шейниса о Литвинове по распоряжению Шеварднадзе вышла в свет в 1989 году. Она содержит много любопытных фактов и живой, привлекательный портрет героя — на работе и дома, в семье, но эта книга принадлежит безвозвратно ушедшей эпохе. Дело не только в героико-романтическом описании революционной деятельности. Скажем, Литвинов вместе с Камо

закупал за границей и поставлял в царскую Россию оружие — какой здравомыслящий человек может этим восхищаться сегодня, в пору неукротимого международного бандитизма? Дело и в абсолютно некритическом отношении к Ленину и его партии (вся их международная политика 1920-х годов: подтверждение отказа от западных долгов и безвозмездной национализации всей зарубежной собственности, демагогический призыв к всеобщему разоружению — в книге, по сути, не обсуждается)… Конечно, нельзя не признать, что поставленные ему задачи Литвинов решал блестяще и в итоге добился признания СССР большинством западных стран. Последними были США: в 1933 году Литвинов установил личные добросердечные отношения с Рузвельтом, что оказалось до крайности полезным в 1941-м. Но исторический вес этих побед сегодня заметно поусох.

Еще более сомнительна и позиция Литвинова (как и Луначарского) в делах партийных — он абсолютно сторонился всех идейных схваток, занимался только своим конкретным, с этими схватками не связанным, делом. Вместе с тем, признавая политические реалии (власть Сталина), он считал, что Сталин не знает и не понимает Запада («Восточных шейхов он перехитрит и обведет вокруг пальца, но Запад — не по нему…» — это его слова Эренбургу). А в 1937-м однажды Литвинов не вытерпел, позвонил Сталину и поехал в Кремль, но Сталин его жестко срезал: «Товарищ Литвинов, вы можете ручаться только за себя»…

Есть, однако, в деятельности Литвинова страницы, представляющие не только политический, но и острый человеческий интерес — драматический и даже трагедийный. И связаны они не с его победами, а с поражением, хотя, прислушайся тогда мир к Литвинову, история XX века была бы иной. Я имею в виду его борьбу в Лиге Наций за коллективную безопасность в Европе, против угроз со стороны нацистской Германии. Фактически эту борьбу Литвинов вел на три фронта — явный, завуалированный и тайный. Явный фронт — ненавидевшая его команда Гитлера. Завуалированный — близорукие политические хитрованы, стоявшие тогда во главе западных демократий: они боялись и Гитлера, и Сталина и не в состоянии были просчитать последствия своей политики на ход вперед. Тайный — Сталин и его подручный Молотов; идея коллективной безопасности была для них ширмой; не исключено, что тайные планы Сталина включали мировое господство в будущем, а в ближайшей перспективе — дележ Европы на паях с Гитлером. Победить при таком раскладе было нельзя. Когда Литвинова вызывали в Кремль, он отстаивал свою точку зрения, спорил, никогда не льстил Сталину (похоже, только его такого

терпел до поры до времени отец народов) и, кажется, добивался своего. Но за спиной Литвинова циник и политический авантюрист Карл Радек несколько лет по поручению Сталина вел тайные переговоры с нацистскими представителями, негласно дезавуируя политику Литвинова. Осужденный, но не расстрелянный в 1937 году, Радек был ликвидирован в 1939-м — уже за ненадобностью. О двойной сталинской игре Литвинов не догадывался до весны 1939 года. Его постепенно изолировали: принципиальные статьи по внешней политике не присылали визировать, старый штат посольств репрессировали, новый назначался помимо Литвинова, и о делах информировали не его, а Молотова. Официально Литвинова сняли в мае 1939 года с формулировкой «за ошибочную позицию, в особенности в оценке политики Англии и Франции»; его место занял ненавидевший Литвинова Молотов. К Литвинову приставили охрану, и на его протест Берия отшутился: «Вы себе цены не знаете, вас надо охранять».

Сталин был уверен, что, сняв еврея Литвинова, сделал Гитлеру классный подарок и теперь его перехитрит. Максим Максимович, кстати, был убежденный ассимилянт и считал себя и свою семью русскими. Не один только Гитлер этого не признавал. Когда в 1938 году на XVIII съезде ВКП(б) Сталин ввел графу «национальность» в регистрационные карточки делегатов, Литвинов автоматически написал там: русский. И тогда молодой чиновник, пряча ехидную улыбочку, вернул ему карточку: «Вы тут неточность допустили, исправьте…»

Оставшись без работы, Литвинов был вынужден обратиться к Сталину с письмом; ответа он не получил, но его вызвал Жданов и предложил должность председателя Комитета по вопросам культуры. Литвинов отказался, сказав, что это не его сфера деятельности…

На пленуме ЦК в 1940 году, где Литвинова вывели из состава ЦК, он отстаивал свою позицию, но Сталин его возражения категорически отверг. Однако на прямой и резкий вопрос Максима Максимовича: «Так что же, вы считаете меня врагом народа?» — Сталин, выждав паузу, ответил: «Нэ считаем. Папашу считаем честным революционером…». (Папаша — дореволюционное подпольное имя М. М.). А на Лубянке уже вовсю выбивали из арестованных дипломатов показания против Литвинова…

Пакт о мире и договор о дружбе с нацистской Германией завершились нападением Гитлера на СССР. Литвинов этому не удивился, Сталина это потрясло. Литвинов написал два письма: в донорский пункт, предлагая свою кровь для раненых бойцов, и

Молотову, прося для себя работы. Молотов Литвинова принял и спросил, на какую должность он претендует. Литвинов ответил: «Только на вашу». С этим банкроты согласиться не могли.

В конце 1941 года Сталин понял: без помощи Америки Гитлера не побороть. Рузвельт сообщил, что хотел бы видеть советским послом Литвинова, — Сталину с Молотовым пришлось смириться. В 1943 году, когда положение стабилизировалось, Литвинова отозвали…

Последние свои годы в Москве пенсионер М. М. Литвинов ложился спать, засунув под подушку револьвер, — не хотел сдаться живым, если за ним придут.

Умер Максим Максимович 31 декабря 1951 года в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. Сразу после его смерти было обнаружено отпечатанное на старом бланке депутата Верховного Совета СССР письмо (все три письма, хранящиеся в фонде Литвинова в РГАСПИ, приводятся здесь впервые):

> «Председателю Совета министров СССР
> тов. И. В. Сталину
>
> Дорогой Иосиф Виссарионович,
>
> Обращаюсь к Вам в этом предсмертном письме с последней просьбой. Считаясь с приближением естественного конца жизни, я не могу не думать о судьбе своей семьи, особенно жены. Дети мои мало обеспечены и фактически до сих пор находятся на моем иждивении, так что содержать свою мать они никак не смогут. Я прошу поэтому назначить по крайней мере моей жене персональную пенсию и, если возможно, сохранить за семьей занимаемой ею квартиры <так в оригинале>, если она будет в состоянии ее оплачивать.
>
> Умирать буду со спокойной совестью, в сознании, что сделал для коммунизма и дорогой родины все, что мог в меру моих сил, знаний и разумения, и что не по своей вине не сделал больше.
>
> С последним приветом и пожеланием Вам здоровья и долголетия.
>
> М. М. Литвинов
> 24 октября 1948».

Прочитав это письмо 31 декабря 1951 года, дочь Литвинова Татьяна Максимовна на листочке школьной тетрадки в клетку написала такое письмо тому же адресату:

> «Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я познакомилась с содержанием письма моего отца, которое он писал в 1948 году, и хочу к нему только прибавить, что с тех пор мы, дети его — Михаил Максимович и Татьяна Максимовна — „оперились“ и вполне способны к самостоятельной жизни. Мы не хотели бы, чтоб у Вас сложилось впечатление о нас, как о вечных иждивенцах.

Горячий привет!

Татьяна Литвинова

31 /XII 1951 г.».

Эти два письма были переданы секретарю Сталина А. Н. Поскребышеву, который не передал их сразу же своему главному патрону. Об этом говорит его записка, адресованная второму человеку в государстве после Сталина — Маленкову — и сохранившаяся в фонде Литвинова в РГАСПИ; смысл ее первого слова («Дополнительно» — к чему?) остается неясным:

«т. Маленкову Г. М.

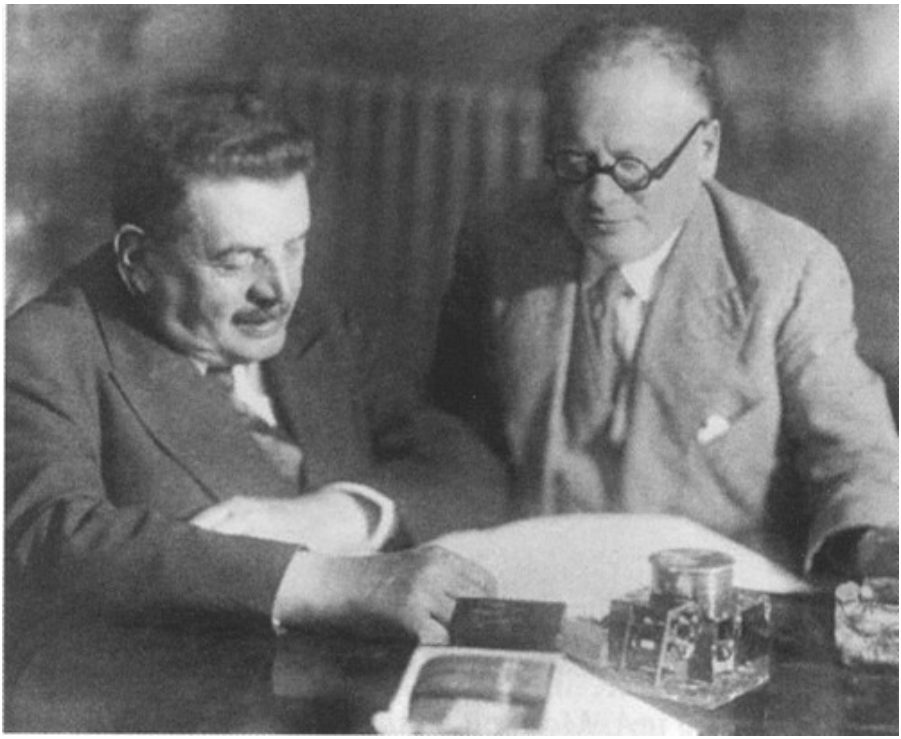
Дополнительно прилагаю письмо М. Литвинова от 1948 г. на имя товарища Сталина И.В. и письмо его детей — ответ на письмо М. Литвинова.

Как поступить?

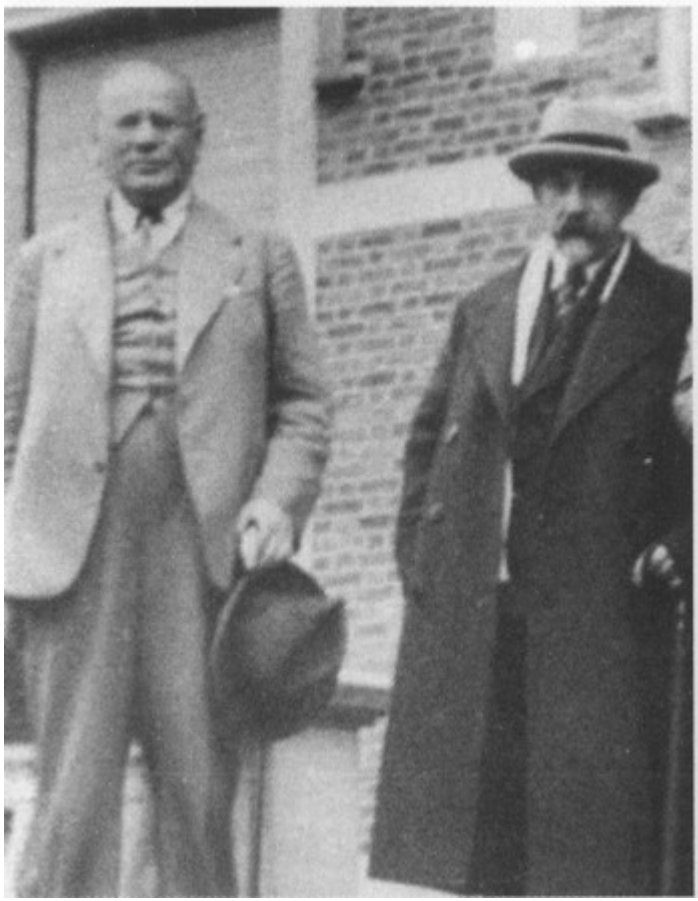
А. Поскребышев

15 1.1952».

За неимением информации об ответе Маленкова ограничимся справкой: вдова М. М. Литвинова Айви Вальтеровна (урожд. Фейви Лоу, 1890–1977) родилась и умерла в Англии; его сын Михаил Максимович родился в Англии в 1917-м и умер в Москве в 2006-м, его дочь художница Татьяна Максимовна, родившаяся в Англии в 1918 году, теперь живет в Англии…



М. М. Литвинов (справа) и Э. Эррио. 1936 г.



М. М. Литвинов (слева) и Я. З. Суриц. 1932 г.

Любовь и вера, мука и стойкость (А. М. Ларина-Бухарина)

Российский XX век не располагал к воспоминаниям — в сталинские годы, казалось, было сделано все, чтобы ни один луч правды не дошел до потомков. Железный занавес окружал не только одну шестую земной суши — едва ли не каждый человек был отъединен от другого непроницаемой стеной страха; в это состояние так вжились, что, даже когда наступила «оттепель», страхи не исчезли, их преодолевали дрожа.

Но вот век завершился, и оказалось, что вопреки всем планам власть предержащих и прогнозам их обслуги век оставил библиотеку мемуарных книг, в которой, как и во всякой библиотеке, есть книги разного достоинства, но есть и особая полка…

Книга Анны Михайловны Лариной «Незабываемое» — одна из самых невероятных и потрясающих в этой библиотеке по тому, что пришлось пережить ее автору, а пережив, найти в себе силы пережитое описать. Переживали многие, описали пережитое тоже не единицы, но случай Анны Михайловны — особый, ее муки — двойные, и писала она не только за себя.

«Незабываемое» прежде всего поражает самим фактом своего существования — по всем расчетам тех, от кого зависело, быть или не быть конкретному человеку, автора и уж тем более ее книги быть не должно было. Однако книга есть. Недаром свою дочь, родившуюся после войны в ссылке, А. М. назвала Надеждой.

Мемуары написаны человеком, которого невыносимые беды, какие только могут выпасть на душу, тонны клеветы и лжи, обрушившиеся на самое дорогое в жизни, не уничтожили, не лишили разума и веры, не свернули и не остановили. Тут уместен лишь библейский масштаб сравнения…

Жизнь Анны Михайловны вырубили в 1937-м, когда ей было 23. К своим запискам она приступила (тайком!) в 1960-х. Интервал между этими двумя моментами заполнен тюрьмами, казнью любимого, неизвестностью судьбы ребенка и матери, расстрелом, оказавшимся инсценировкой, лагерями, ссылками, рождениями и смертями, и — все эти годы — клеветой, клеветой, клеветой. Какую силу, какую волю надо было иметь, чтобы выстоять, не свихнуться, дожить до победы?

Последнее, что Анна Михайловна услышала от своего мужа, Николая Ивановича Бухарина (27 февраля 1937-го): не обозлись. Последнее, что он написал ей (15 января 1938-го) и что ей дали

прочесть только через 54 года: не злобься и еще: будь КАМЕННОЙ, как статуя. И она не потеряла разума, но стала тверже камня — не зная этого завета Николая Ивановича, она исполнила его точно и осознанно («Что касается меня, то я, очевидно, твердокаменная», — написала она в письме, когда страна только еще начала просыпаться…). Только так можно было решить задачу, которая стала главной в жизни, — сохранить содержимое памяти.

Когда в беспросветно застойные годы я впервые увидел Анну Михайловну — не мог поверить, что она — это она; все казалось невероятным, а в чудеса мы с детства были приучены не верить. Сталин вытоптал вокруг себя все, чтобы не оставить в живых ни одного свидетеля, ни одного помнившего правду, но вот — не все бумаги уничтожены, не все свидетели убиты. Знай он о том…

Не надо делать умный вид, что все загадки и все трагедии русского XX века поняты. Над ними — как вообще над загадками истории общества и человека — будут ломать голову долго. И кому-то человеческие свидетельства помогут…

Книга Анны Михайловны Лариной не утешает, как не могла утешить словами Анна Михайловна несчастного, бьющегося в исступлении Николая Ивановича: в ней оказалась огромная моральная сила, но утешать словами — это было не ее. Книга не содержит и простых рецептов, как избежать повторения кошмара. Не содержит она и полной картины времени. Но она позволяет мысленно пройти по дорогам русского XX века возле самой его преисподней и самого центра зла…

Эпиграф к книге взят из Твардовского; он полемичен и возвращает нас в 1960-е годы, к ненужной теперь попытке доказывать очевидное и отметать отметенное.

Решительный прорыв, который не удался Хрущеву, но получился у Горбачева (Анна Михайловна всегда хранила признательность Михаилу Сергеевичу за реабилитацию Бухарина), оказался ожидавшимся пиком событий; после этого все понеслось вскачь, и то, к чему Анна Михайловна готовилась всю жизнь, — пронеслось.

Первое, что записала А. М. Ларина, когда начала работу над воспоминаниями, было надиктованное ей Бухариным обращение «Будущему поколению руководителей партии»; им заканчивается ее книга. Это обращение она много лет ежедневно повторяла про себя — чтоб не забыть в нем ни слова. Текст его неотрывен от обстоятельств личной судьбы Н. И. Бухарина, от того времени и того места, когда и где он диктовался. Записывая в 1984 году рассказанное мне Анной Михайловной, я позже, уже читая рукопись ее записок, убеждался в выверенности каждого ее

устного слова, которое фактически оказалось словом письменным. С началом перестройки работа над записками стала открытой — А. М. уточняла детали, просила посмотреть в питерских собраниях те или иные подробности прошлого (в Москве делала это сама или помогали московские друзья) — словом, проверяла себя.

История большевистской партии подверглась переоценке отнюдь не в первую очередь. 28 октября 1986 года А. М. писала мне (до перестройки мы не переписывались, ничего не доверяя почте): «Недели две назад была на заседании, посвященном памяти И. Э. Якира. О конце его жизни никто слова не вымолвил. Так что же говорить о Серго, в этом смысле, кто хочет — может руководствоваться первоначальным сообщением в печати. О последующем — все забыто».

До реабилитации Бухарина оставалось почти два года — срок, в условиях стремительно ускоренных социальных и политических процессов, невероятно долгий. Уже компартии Италии, Югославии, даже Китая издавали работы Бухарина и широко их обсуждали. Уже давно начала победное шествие по свету замечательная монография Стива Коэна «Бухарин и большевистская революция. Политическая биография, 1888–1938», сразу же подпольно переведенная на русский язык Евгением Александровичем Гнединым и сыном Бухарина Юрием Николаевичем Лариным (в «тамиздате» имена переводчиков скрыты за псевдонимами Е. и Ю. Четверговых). Но в СССР в этом смысле все оставалось без перемен. Помню, как ожидали политической реабилитации Бухарина в день 70-летия Отябрьской революции (1987), как удивил и огорчил доклад Горбачева, от которого надеялись получить новый взгляд на историю советского времени (мы ждали прорыва, не учитывая того упорного сопротивления, которое оказывали Горбачеву старые кадры Политбюро). В докладе имя Бухарина было названо не ругательно, но отмечалась единственная его заслуга перед страной: нет, не защита крестьянства, гибнущего от сталинской коллективизации, а — борьба с троцкизмом. Слышать это было грустно. А. М. доклад Горбачева приняла, хотя к Троцкому в то время она уже не относилась отрицательно. Дело пусть и медленно, но все-таки шло к реабилитации Николая Ивановича. Анна Михайловна ждала этого, как никто, но жизнь ее крепко приучила ничему не радоваться заранее. 10 февраля 1988 года писатель Камил Икрамов, сын расстрелянного руководителя Узбекистана Акмаля Икрамова, друга Бухарина, писал в «Литературной газете»: «Неделю назад я зашел к своим соседям и друзьям, к вдове Николая Ивановича и к его сыну Юре… Я сказал:

— Анна Михайловна, как я слышал, не сегодня завтра…

Она прервала меня:

— Давайте лучше все-таки подождем».

4 февраля 1988 года пленум Верховного суда СССР отменил приговор в отношении Н. И. Бухарина и его подельников, кроме Г. Г. Ягоды. Расстрелянных не шпионов и не вредителей через 50 лет признали не шпионами и не вредителями. 6 февраля о том объявили на всю страну. Камил Икрамов назвал это «минутой молчания после стольких десятилетий громоподобной лжи».

Официальная реабилитация открыла вал публикаций в периодике, началось переиздание научных трудов Н. И., издание сборников его статей. Тонко чувствующий конъюнктуру поэт Евтушенко еще в июле 1987-го написал длинный стих «Вдова Бухарина», и 26 марта 1988-го «Известия» его напечатали. Но свобода упоминания имени Н. И. уже в апреле 1988 года открыла шлюз и новой клевете, новым нападкам (правда, тогда это еще вызывало общественные протесты).

10 мая 1988 года Бухарин был восстановлен в звании действительного члена Академии наук СССР. 1 июля 1988 года А. М. сообщала: «Книгу Стива собирается издавать издательство „Прогресс“. Надеялась, что последнее решение <о восстановлении Бухарина в партии, принятое КПК 21 июня 1988 года> будет объявлено на партконференции, но она подходит к концу. Слышала, что в комитете партконтроля решение уже вынесено, но, якобы, нужно оформить еще в одной инстанции».

В октябре 1988-го широко отметили 100-летие Н. И. Бухарина. 4 ноября А. М. писала: «Впервые, после полувекового забвенья, мы празднуем годовщину Октября с возвращенным в историю светлым образом Николая Ивановича». Период радостей был недолгим, уже 26 апреля 1989 года в письме А. М. была такая строчка: «Самое радостное тоже омрачается многим».

Наиболее упорным в завоевании новых идеологических рубежей из всех толстых журналов справедливо считалось тогда «Знамя». Именно его главному редактору Г. Я. Бакланову отнесла летом 1988 года Анна Михайловна свои воспоминания. Реакция была мгновенной — они были напечатаны в двух номерах в конце того же 1988 года. № 10 сдали в набор 8 августа, а 1 сентября подписали в печать — помню, как тревожилась А. М. за судьбу книги и успокоилась, лишь когда журнал с первой частью «Незабываемого» вышел в свет. Тираж номера был 516 тысяч! Трепетно храню тот 10-й номер с дорогой для меня надписью: «Моему первому читателю»[14]… В конце 1989 года «Незабываемое» выпустило издательство АПН. «У нас, наконец, вышла моя книга, — писала А. М. — Без опечаток не обошлось.

Даже Л. Д. <Троцкий> в ней назван заместителем председателя Реввоенсовета, почему-то заместителем… Да и какие-то словечки вставлены, которые я не употребляла… Но так или иначе, это радостно, издание книги. Все бы хорошо, если бы не подавленное настроение от всего, что происходит у нас в стране…»

«Незабываемое» сразу же перевели в нескольких странах. Книга стала международной сенсацией. Анна Михайловна смогла повидать мир; ее принимали уважительно и сердечно — мне казалось, уважительней и сердечней, чем в России…

Это очень выношенная книга, многие ее страницы давно и очень тщательно продуманы.

Иногда людей спасает то, что они пытаются прошлое забыть, вычеркнуть из жизни — тем и спасаются. У Анны Михайловны все было совсем наоборот. Ее спасали именно воспоминания — сначала устные; очень нескоро пришла возможность тайком их записывать, со временем все меньше и меньше таясь и опасаясь за себя и близких. Продумывались жизни отца и мужа, да и своя заодно; разбивались устоявшиеся обвинения — тому помогали и постоянно перечитываемые документы, материалы прошлого. Работа защитника требовала уточнений, подробностей. Со временем эта работа была осознана как работа обвинителя. Это новое качество потребовало новых штудий. Основой защиты было непреложное — участие Бухарина в революции, в послереволюционной жизни страны, то, что Ленин назвал его «любимцем партии». В те годы самое звучание этих клише казалось самодостаточным. Понимаю, как тяжко стало Анне Михайловне, когда испытанные аргументы перестали срабатывать, когда выстраданная ею концепция подлинной истории России советских лет начала рушиться, распадаться, — частью, тут ни убавить, ни прибавить, справедливо, чаще — с передержками, новыми фальсификациями. Но это навалилось уже потом, после выхода «Незабываемого»…

Думая над композицией книги воспоминаний, А. М. отказалась от тривиально хронологического повествования. Мемуары построены, как работала память автора в самые страшные годы ее жизни — переключаясь с сиюминутного на прошедшее. Страницы о доарестной жизни постоянно перебивают пунктирную хронологию ссылки, тюрем, лагерей.

«Незабываемое» посвящено памяти двух самых близких автору людей — отца и мужа. Эти два портрета спаянны — они были друзья, и А. М. с детства воспринимала их рядом. Не много найдется в двадцатые годы нашего отошедшего века столь чистых и столь незаурядных личностей (понимаю, сколько сыщется противников этого утверждения, — но сие не доказательство его

ложности)…

Отца — Юрия Ларина (Михаила Александровича Лурье), человека уникальной судьбы, А. М. любила и уважала; двух своих сыновей, Юру и Мишу, она назвала в его честь. Ее воспоминания об отце согреты нежностью. С одной стороны, имя Ю. Ларина не было вымарано из истории, но, с другой, о нем просто не вспоминали, поэтому посвященные ему страницы книги А. М. — важный источник информации об этом человеке.

По понятной причине и о Бухарине, чья известность в двадцатые-тридцатые годы была общенародной, воспоминаний написано не много. Его портрет, созданный пером Анны Михайловны, живой. Дело не только в том, что она Бухарина хорошо знала — дружба, несмотря на разницу лет, началась давно, вместе было проведено немало времени; последние три года его свободной жизни — просто рядом, последние безумные месяцы — неотлучно. Конечно, это — всего лишь сырье, материал, пусть и незабытый, условие, как говорят математики, необходимое, но не достаточное. И дело не только в любви, пронесенной через жизнь и смерть. В данном случае любовь не слепила, не закрывала глаза на слабости, а собственный характер автора, ее жесткая честность, не позволяли — вопреки располагающей к тому трагедии — эти слабости утаивать (В этом смысле А. М. восхищалась безупречностью поведения И. Смилги или, скажем, поведением О. Пятницкого на февральском пленуме 1937 года.) Портрет — правдив. Незаурядность Бухарина проявлялась и в редком сочетании высокого интеллекта и душевной тонкости с простотой некабинетного человека, может быть, даже иногда с простецкостью, и уж, конечно, в его веселости и бесхитростности, в его удивительной детскости, никогда не покидавшей Н. И. и потому позволившей ему в непереносимых условиях Лубянки написать автобиографический роман о своем детстве. Читатель Пастернака и Мандельштама, высоко их ценивший и зачастую им помогавший, и — свой человек в рабочих аудиториях (какая боль в тюремном письме Сталину, что его с 1930 года плотно изолировали от рабочих), спортсмен и — ученый, читавший на основных языках Европы, знавший латынь и древнегреческий… Ленин назвал его «любимцем партии» справедливо — даже серьезный Сокольников и отнюдь не ребячливый Троцкий с этим были согласны, даже никому не доверявший, безжалостный ко всем Сталин по-своему любил Бухарина, да и партия тогда еще не стала «конторой власти». В 1920-х годах, когда многие еще ценили творцов мысли, а не творцов аппарата, левая оппозиция своим главным врагом считала Бухарина, и если со Сталиным готова была пойти на

компромисс, то с Бухариным — никогда. Сейчас представляется немыслимым то горе, которое испытывал Бухарин, когда ему грозили исключением из партии. Именно поэтому он не создал никакой организованной фракции — как у левых. Правые, выдуманные Сталиным, — это всего лишь единомышленники в Политбюро.

А. М. была редкостным, политизированным ребенком, слушающим и читающим; ее интересовали взрослые друзья отца сами по себе и их политическая работа, то есть печатные материалы — открытые и закрытые. Поэтому память ее с детства была нагружена разного рода историко-партийной информацией — и в кладовой этой памяти она хранила множество фактов и живых сцен, тем паче что взрослые на нее внимания не обращали и вели себя политически свободно.

Для тех, кому эпоху 1920-1930-х годов время не засыпало песком забвения, возможность из первых рук прочесть в книге А. М. о живых Ленине, Троцком, Сталине, Радеке, Рыкове, Ежове, Орджоникидзе, Берии — несомненно завлекательна. Не скажу, что эта живость изображения касается всех упомянутых в книге, но уж стремление не фильтровать воспоминания — налицо: А. М. себя не щадит, но даже о Берии пишет вовсе не злую правду, даже у Сталина пытается вспомнить что-то человеческое, ненаигранное. Строга она и к информации из чужих уст — скажем, хоть ей и был неприятен К. Б. Радек, а Е. А. Гнедина она, наоборот, глубоко уважала, но его версию о том, что именно Радек по заданию Сталина вел тайные переговоры с гитлеровцами, принять не могла. Точно так же не могла себе простить, что в Астрахани, куда и сама была выслана, прошла, не остановившись, мимо поклонившейся ей тоже сосланной жены Радека.

Кстати, о Сталине. Когда именно о нем заходит речь, голос автора становится голосом обвинителя. Но не надо думать, что для А. М. было все так просто — не будь Сталина, все-де было бы хорошо. «Убийство Сталина ничего бы не дало, — говорила мне А. М. в 1985 году. — Другое дело, если б Ягода — он знал очень много и был из старых ленинцев — собрал тайно пленум и, предоставив документы против Сталина, арестовал бы его. Но, — вздыхала она, — и Ягода знал не все — Сталин действовал через несколько человек, главным образом — через Агранова…» Это была ее постоянная мысль: мы тогда всего о Сталине не знали; мысль, считавшаяся существенной при реконструировании прошлого…

Над загадкой бухаринского процесса бились многие; Артур Кестлер в «Слепящей тьме» сделал первую попытку подойти к

разгадке. Книга «Незабываемое» показывает нам все, что А. М. тогда, до самого ареста Н. И., видела и слышала — и другого свидетеля тому нет.

Тут сразу возникает непростой вопрос — все ли она могла увидеть? Не скрывал ли чего от нее Бухарин (не мог же он не оберегать ее и сына)? А. М. и сама спрашивает себя об этом. И отвечает, что в общем — нет, ничего не скрывал. Правда, речь идет о тех последних кошмарных месяцах, когда он был под самоустановленным домашним арестом. До того, думаю, было иначе. Скажем, в «Незабываемом» нет ни слова о тех адских условиях глобального контроля, в которых протекала его работа в «Известиях», — о чем Бухарин подробно писал Сталину; а вряд ли А. М. могла бы это забыть, рассказывай ей о том Бухарин. Значит, приходя домой, он считал нужным оберегать молодую жену от тяжелых подробностей — недаром в исповедальном письме из тюрьмы он пишет и о том, какие большие надежды возлагал на новую жизнь дома.

Опубликованные после смерти А. М. тюремные письма Бухарина Сталину показывают, что в тюрьме после нескольких месяцев раздумий, когда спасением оказалась лишь работа (поразительная ясность головы арестованного в его тюремных работах очевидна), стоило ему задуматься над своей судьбой, как рассудок и логика вновь отказывали… Разбираться в этом — удел психолога, даже психиатра.

Но и до того, в Москве ли, в Париже ли 1936 года, Бухарина не раз охватывали мрачные предчувствия, и не скрытный человек, он их и не скрывал, оберегая покой лишь своего дома. Потому-то А. М., никогда не слышав от него столь страшных прорицаний, в свидетельства на сей счет других людей поверить не могла. Не могла же она, столько десятилетий занятая анализом пережитого, подумать, что кто-то знал Бухарина лучше ее. Отсюда — неприятие тех воспоминаний, которые казались ей придуманными задним числом.

Мне легче всего сказать об этом на примере поездки Бухарина в Европу весной 1936 года — не раз обсуждал этот сюжет с А. М., в чем-то спорил с ней, приводил аргументы, добытые в результате архивных штудий, и понимал, что приняты будут одни только неотразимые. Речь идет о встрече Бухарина с Эренбургом в Париже до приезда туда Анны Михайловны. Но эта история имела предысторию.

Зная, что И. Г. Эренбург был гимназическим товарищем Бухарина, Анна Михайловна 27 января 1961 года письмом поздравила его с 70-летием. Перед тем ее необычайно тронуло, когда она встретила имя Николая Ивановича в первой части

мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь», напечатанной в «Новом мире», — это было в СССР впервые после 1937 года. Вот фрагмент ее поздравления: «Когда я прочла опубликованную часть „Люди, годы, жизнь“ и нашла там, хотя и мимолетные, но теплые воспоминания о человеке, написавшем предисловие к Вашему первому роману <„Хулио Хуренито“>, о человеке, память о котором для меня свята, мне захотелось крепко пожать Вашу руку и расцеловать…» (Даже имени Бухарина А. М не смела тогда произнести!) «Мне было радостно получить Ваше письмо, — ответил ей взволнованный Эренбург. — Я тоже верю в то, что настанет день, когда и мои воспоминания о Николае Ивановиче смогут быть напечатаны полностью…» Эренбург имеет в виду свои воспоминаниях о молодых Бухарине и Сокольникове — их не рискнул напечатать Твардовский, и тогда Эренбург написал Хрущеву, прося его разрешения на публикацию этой главы; увы, из этого ничего не вышло. Эренбургу удалось лишь в цитате назвать фамилию Бухарина и еще душевно вспомнить его, назвав только имя-отчество, без фамилии, — цензура была лютая.

После обмена письмами Анна Михайловна вместе с сыном Юрой побывала у Эренбурга дома; долго вспоминали Николая Ивановича (несколько эпизодов этого разговора приводятся в «Незабываемом») — эту встречу А. М. всегда помнила. Через некоторое время, под впечатлением того разговора, Эренбург написал еще одну главу о Бухарине для 4-й части мемуаров; он ее, в отличие от других глав, никому не показывал и даже не пытался опубликовать — дело было тогда безнадежное.

В 1986 году я показал А. М. машинопись этой неопубликованной главы из мемуаров Эренбурга. Не знаю, видела ли она ее раньше, но прочла внимательно и сделала ряд поправок. Возле описания последней встречи Эренбурга с Бухариным в Париже 1936 года А. М. решительно написала: «В апреле 1936 г. Н. И. не встречался с Эренбургом в Париже. Апрель я провела в Париже вместе с Н. И.». Прямых доказательств встречи (помимо признания писателя) не было — только косвенные. А. М. приехала в Париж 6 апреля, за день до этого Эренбург уехал в Испанию — так что Эренбурга она не видела. Но парижский доклад Бухарина был 3 апреля, и Эренбург на нем был; кроме того, он дал Н. И. прочесть рукопись своего романа «Книга для взрослых», где в мемуарной главке был абзац о Бухарине — мне это казалось достаточно убедительным. А. М. этих аргументов не приняла. Более того, когда в 1988 году сокращенный текст эренбурговской главы о Бухарине появился в «Неделе», она мне написала: «К публикации Ильи Григорьевича отношусь более чем прохладно, хотя она и теплая. Я слишком

много знаю, чтобы многому поверить, а многое опровергнуть»; через год вернулась к этому: «С воспоминаниями в „Неделе“, касающимися Парижа, я никак не могу согласиться. Он (Эренбург. — *Б. Ф.*) так внимательно слушал меня, когда я рассказывала ему о Париже, спрашивал и о цели командировки, и я по-прежнему сомневаюсь в том, что Н. И. и Илья Григорьевич в Париже встречались. Я же выразила мнение, что поездка была провокационная. Но это нельзя было загодя знать в Париже в 1936 г.». Замечу, что Эренбург приводил в мемуарах закавыченные слова, только если был уверен в точности своей памяти, именно так он привел слова Бухарина о поездке в Париж: «Может быть, это — ловушка, не знаю…» Еще более мрачные слова Бухарина в Париже привел Мальро в книге «Зеркало лимба».

Может быть, такое неприятие эренбурговского рассказа о встрече с Бухариным было вызвано решительным неприятием другого сюжета о Бухарине в Париже 1936 года — но об этом чуть ниже. Безотносительно к Парижу мрачные предчувствия Бухарина в его разговоре с Сокольниковым в Москве (конец 1935 — начало 1936 года) приводила писательница Галина Серебрякова, вдова Г. Я. Сокольникова. Но и ее свидетельства А. М. не приняла. Говорю об этом не для того, чтобы продолжить спор с Анной Михайловной, отнюдь. Хочу лишь подтвердить, что ничего навеянного со стороны, никаких чужих суждений, пусть даже очень авторитетных людей, если только А. М. не была в этих суждениях уверена, в текст ее мемуаров попасть не могло. Это воистину ее воспоминания.

Твердость А. М. наиболее отчетливо проявилась в двух обсуждаемых ею сюжетах — о беседе Н. И. с Л. Б. Каменевым во дворе Кремля в 1929 году и о воспоминаниях Б. И. Николаевского про разговоры с Бухариным в Париже 1936 года. А. М. исходила из своего знания и своего понимания этих сюжетов, а также из анализа тех документов, которые были ей доступны.

Сцена, когда возбужденный Рыков прибежал к Бухарину и сообщил, что Сталин узнал о беседе с Каменевым (А. М. была ее свидетелем), описана впечатляюще. Бухарин тогда сгоряча решил, что это Каменев его выдал, рассказав все Сталину. С тех пор его отношения с Каменевым испортились окончательно. Узнав о переговорах Бухарина и Каменева, Сталин хорошо использовал этот факт против «правых», что дорого обошлось им всем. Мысль о том, что Каменев выдал его Сталину, подтверждалась для Бухарина и показаниями против него, которые давал Каменев после ареста в декабре 1934 года. На этом и основываются суждения А. М. об этом эпизоде.

Итог тщательного расследования Ю. М. Фельштинским этого сюжета на основе документов, недоступных тогда А. М., достаточно убедителен, и, думаю, Анна Михайловна должна была принять невиновность Каменева — не выдавал он тогда Бухарина. Сталин иным путем узнал об их переговорах, организованных Сокольниковым и проходивших не во дворе Кремля, а на квартире, причем не один раз, а уж раскрутил «дело», как только он и умел. Подчеркну, однако, что в любом случае только из воспоминаний А. М. мы узнаем, как именно реагировал Бухарин на всю эту историю. А уж тут ей можно доверять, как никому…

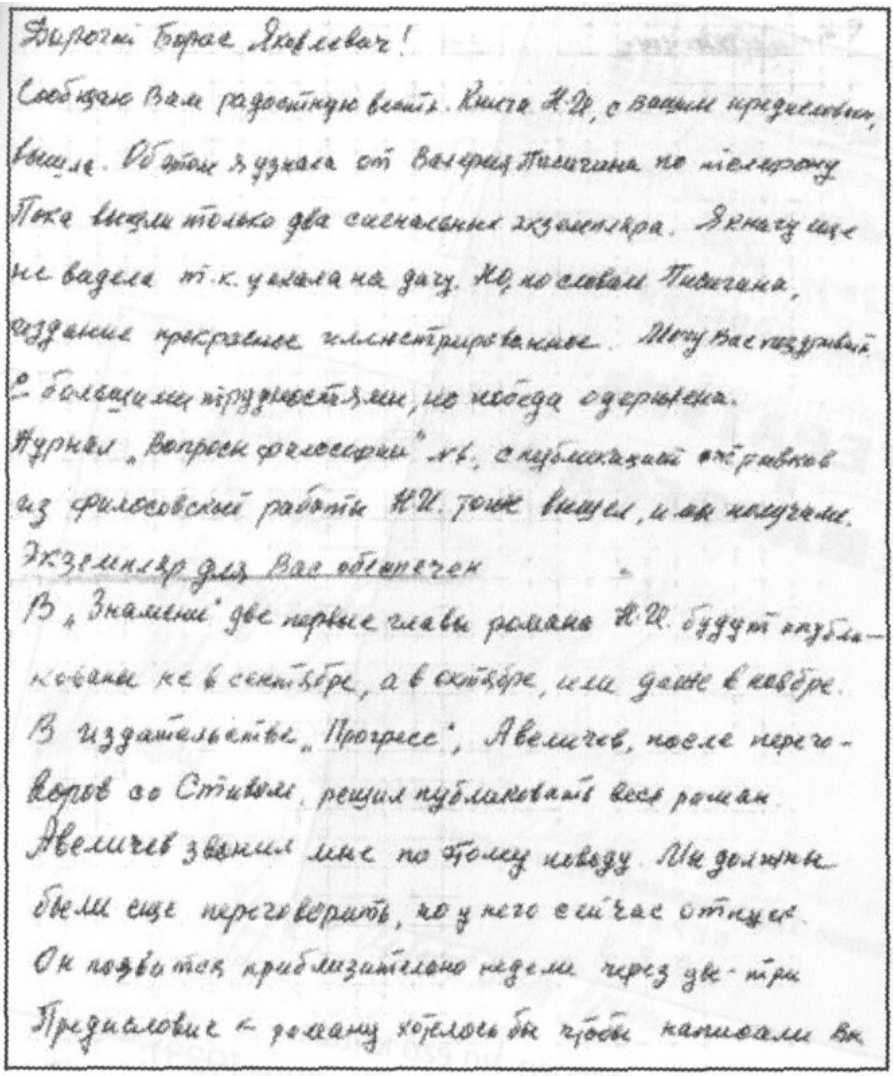
Что касается воспоминаний Б. И. Николаевского о встречах с Бухариным в Париже 1936 года (А. М. узнала о них в 1965 году от Эренбурга), то на сей счет существуют разные взгляды и разные суждения и выносить окончательный вердикт еще рано… Резкость высказываний А. М. по этому вопросу понятна — сторонним наблюдателям сохранять беспристрастный тон куда легче.

А. М. за долгие десятилетия привыкла к защите своих бастионов. Когда пришли новые времена, отринувшие все прежнее — и то, что она не принимала, и то, во что верила, — легкости она не почувствовала. В ее письме от 19 января 1992 года очевидна переживаемая горечь: «О своем состоянии писать не буду, вы его великолепно понимаете. Я никак не вписываюсь в наше сумасшедшее общество, в отличие от многих представителей нашей интеллигенции. Страшно, когда не знаешь, что день грядущий нам готовит». Это незнание, как вскоре выяснилось, касалось не только будущего. 14 октября 1992 года «Известия» опубликовали последнее письмо Бухарина к А. М., написанное на Лубянке 15 января 1938 года. А. М. его раньше не знала. Известинскую публикацию сопровождала ее большая статья. Не могу понять, как она нашла на это силы; время шло, а ее сердечная боль не убывала. 3 января 1993 года А. М. сообщала: «Я по-прежнему пребываю в шоке после получения письма от НИ…» В том же сталинском архиве были обнаружены и все работы, написанные Бухариным в тюрьме, — «Философские арабески», «Кризис капиталистической культуры и социализм», стихи, роман о детстве «Времена». Все это (за исключением стихов) Анна Михайловна увидела напечатанным…

В последнем ее письме, в январе 1996-го, были такие строки: «В народе говорят, что год крысы приносит просветление. Будем надеяться. Я в подвальной камере в Новосибирске с крысой жила дружно, и она скрашивала мне жизнь… О здоровье писать не хочется…»

24 февраля 1996 года Анны Михайловны Лариной не стало.

Обложка книги А.М. Лариной-Бухариной (Москва, 2002)



Дорогой Борис Яковлевич!

Спешу Вам радостную весть. Книга Н.Р. с Вашим предисловием вышла. Об этом я узнала от Валерия Пивоварова по телефону. Пока видела только два сигнальных экземпляра. Книгу еще не видела т.к. уехала на дачу. Но, по словам Пивоварова, издание прекрасное, иллюстрированное. Могу Вас поздравить с большими трудностями, но победа одержана.

Журнал „Вопросы философии" №6, с публикацией отрывков из философской работы Н.Р. тоже вышел, и мы получили.

Экземпляр для Вас обеспечен.

В „Знамени" две первые главы романа Н.Р. будут опубликованы не в сентябре, а в октябре, или даже в ноябре.

В издательстве „Прогресс", Авеличев, после переговоров со Стивом, решил публиковать весь роман.

Авеличев звонил мне по этому поводу. Мы должны были еще переговорить, но у него сейчас отпуск. Он позвонит приблизительно недели через две-три.

Предисловие к роману хотелось бы чтобы написали Вы

Письмо А. М. Лариной-Бухариной автору *книги.*
6 августа 1993 г.

IV
Виктор Шкловский
Лев Лунц
Михаил Слонимский
Вениамин Каверин
Елизавета Полонская
Vlad Pozner
Евгений Шварц
Григорий Козинцев
Борис Лапин
Овадий Савич
Илья Ильф
Василий Гроссман
Семен Гудзенко
Авром Суцкевер
Маша Рольникайте
Лев Дановский

Скандалист Виктор Шкловский

Виктор Борисович Шкловский родился в 1893-м в Петербурге. Отец его — еврей-выкрест, дед по матери — немец. В семье было четверо детей; родители жили бедно, а работали много. Об отце Шкловского процитирую двух мемуаристов — сначала из книги Виктора Борисовича «Жили-были»: «Родился я… в семье уездного учителя, который имел четырехклассную школу без прав на Знаменской улице… Отец впоследствии, глубоким стариком уже, кончил педагогическую академию и умер профессором Высших артиллерийских курсов». Отец Шкловского натаскивал тупых учеников по математике. Николай Чуковский (сын Корнея Ивановича) брал у него уроки и «Школу Б. Шкловского» с единственным учителем помнил долго: «Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окруженной лохматыми, не совсем еще седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал наружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики никогда не проваливались». Из трех братьев Шкловских, помимо Виктора Борисовича, вспоминают еще старшего — Владимира (родился в 1889-м; после третьего ареста расстрелян в 1937-м[15]), тоже филолога; и еще Корней Чуковский упоминает их дядюшку Исаака Владимировича Шкловского, питерского журналиста, критика и этнографа, писавшего под псевдонимом Динео, а после революции эмигрировавшего. 8 июня 1914 года Чуковский записал в дневнике: «Пришли Шкловские — племянники Динео. Виктор похож на Лермонтова — по определению Репина (в 1914 году Репин сделал рисованный портрет Виктора Шкловского, еще курчавого и в студенческой тужурке. — *Б. Ф.*). А брат — хоть и из евреев — страшно религиозен, преподает в духовной академии французский язык — и весь склад имеет семинарский».

Виктор Шкловский, после нескольких и, кажется, безрадостных для него училищ и гимназий, поступил в Петроградский университет, на филологический факультет. Там работали тогда великие ученые, и В. Б. любил потом рассказывать про академика И. А. Бодуэна де Куртенэ. Учась в университете, Шкловский организовал ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка — и в нем легко стал лидером, потому что таков был его темперамент и дар легко генерировать новые идеи.

Один из главных лозунгов Шкловского: содержание литературного произведения равно сумме его стилистических приемов; не менее знаменита и другая его формула: сюжет есть явление стиля.

Рядом с ним были великие лингвисты, были друзья Эйхенбаум (его работа «Как сделана „Шинель“ Гоголя» стала фундаментом нового литературоведения) и Тынянов (ставший автором великих исторических романов и, в отличие от Шкловского, писавший не о себе), был Роман Якобсон, чье имя даже не упоминается в мемуарах Шкловского «Жили-были» (Якобсон не простил Шкловскому измены молодости и вернул ему все надписанные книги). В то время в жизни Шкловского ОПОЯЗ существовал вперемежку с футуристами. Генерируя идеи, Шкловский хотел объяснить все сразу. Книги (тогда это были тоненькие брошюрки) он писал с тех лет. Его интересовала и жизнь *новой* литературы. Сокрушая символизм, он сблизился с Хлебниковым и Маяковским; при этом еще занимался скульптурой и показывал ее Кульбину. Но скульптором не стал, как не стал и ученым, а стал писателем. Точнее — ученые считали его писателем, а писатели — ученым. И правда, Шкловский — писатель, писавший только о себе и о своих идеях про литературу, но зато он выработал свой энергичный стиль, и его можно узнать по одной фразе. На него написано немало пародий — и кажется, что пародировать Шкловского — дело нетрудное.

Но мы забежали вперед.

Началась война 1914 года, и Шкловский записался в автомобильную роту. Дело было новое, и он им овладел. Все ближайшие годы оказались связаны с колесами — автомобили, самокаты, броневики, хотя за плечами у Шкловского было несколько книжечек, статьи, преодоленная попытка стать скульптором-футуристом, ОПОЯЗ и титул некоронованного главы формальной школы. Теперь набирался еще и боевой опыт — лихой.

Это именно Шкловский в феврале 1917 года вывел на улицы восставшего Петрограда броневой дивизион. Это именно он был назначен Временным правительством комиссаром на румынский фронт. Это именно он поднял там в атаку батальон, был ранен и награжден Георгиевским крестом, который вручил ему лично генерал Корнилов. Это именно он был направлен в Иран воевать с турками в составе небольшой русской армии («Сердце мое в этой стране было истерто так, как истирают жесткую дорогу мохнатые лапы верблюдов», — признался Шкловский в книге «Жили-были»). Это именно он, вернувшись в Россию после октябрьского

переворота, связался с эсерами и готовил ответные акции в пору процесса над видными деятелями эсеровской партии. Это именно он в 1922-м бежал от всех засад ГПУ с фантастической дерзостью и смелостью. Все это именно он — Виктор Борисович Шкловский, в молодости «безрассудно смелый человек», как скажет о нем в «Эпилоге» ставший на старости лет его резким оппонентом Вениамин Каверин.

В 1921-м и в начале 1922-го Виктор Шкловский входил в Серапионово братство, хотя в более поздних справках о Серапионах — Шкловского в их группе не числят. Между тем доказательств принадлежности Шкловского к Серапионовым братьям немало: 1) Как положено настоящему Серапиону, Шкловский имел прозвище: Брат-Скандалист (в 1929 году Каверин напишет роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», где Некрылов-Шкловский — главное действующее лицо); 2) Справка журнала «Летопись Дома Литераторов», где в перечислении сказано: «Членами общества являются также критики и теоретики поэтического языка — И. Груздев и Виктор Шкловский»; 3) Сообщение не со стороны, а от самих Серапионов — в № 2 альманаха «Дом Искусств» объявлялся состав подготовленного ими альманаха братства, и в нем значилось: «Статьи В. Шкловского…»; 4) Громкое заявление в полемической статье Льва Лунца «Об идеологии и публицистике»: «Виктор Шкловский — Серапионов брат был и есть»; 5) Константин Федин, внутренне не любивший формалистов (а Шкловский был их признанным вождем), в книге «Горький среди нас» (1944), перечисляя старших товарищей, влиявших на Серапионов, признает: «И, конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя тоже „серапионом“ и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым „серапионом“ — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры»; 6) Шкловский выступал на обоих Серапионовских вечерах в Доме Искусств (19 и 26 октября 1921 года)…

Остановлюсь не потому, что иссяк, а потому, что — хватит.

Конечно, Шкловский — особый Серапион: и Брат, и Учитель. Хотя Учителем он был, возможно, не для всех, но ход его мыслей всех захватывал. Бывавшая на собраниях Серапионов художница Валентина Ходасевич в книге «Портреты словами» описывает это так: «Шкловский — человек внезапный, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас все больше, волнуется сам, заинтересовывает,

захватывает и уже не отпускает вашего внимания… Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю. Я не знаю, как определить, но самый процесс работы его мозга очень ощутим…»

Своим долгом Брата и одновременно Учителя Шкловский считал помогать Серапионам и опекать их, когда Горький уехал. Об этом Виктор Борисович докладывал Алексею Максимовичу в Берлин: «Живем так себе. Дом Искусств дров не заготовил. Пока достал всем три куба, что дальше, не знаю», затем шел отчет о написанном каждым из братьев. Но в смысле собственной литпродукции Шкловский считал себя не подсудным никому. В конце 1921 года он наладил выпуск двухнедельного журнала «Петербург» и делал весь журнал сам, значась в нем единственным редактором. Для Серапионов места не жалел. В декабре 1921-го и в январе 1922-го вышло два номера — в них Шкловский напечатал «Варшаву» Слонимского, «Чертовинку» Зощенко, «Ненормальное явление» Лунца, статью Груздева и одно стихотворение Тихонова, которому еще только предстояло стать Серапионом. Художник Милашевский, по-домашнему встречавшийся тогда со Шкловским, вспоминал его в книге «Вчера, позавчера»: «Энергии — не только мозговой, но и самой обычной, житейской — хоть отбавляй! Не дожидаясь, когда обстоятельства станут более благоприятны, он издавал свои труды за свой собственный счет: бегал по типографиям, договаривался с наборщиками, доставал бумагу. Сам распространял свои издания». Это все можно отнести и к журналу «Петербург».

Серапионство Шкловского оборвалось в марте 1922 года — трагически. Он вынужден был бежать от лап ГПУ за границу. 16 марта писал Горькому: «Надо мной грянул гром. Семенов напечатал в Берлине в своей брошюре мою фамилию[16]. Меня хотели арестовать, искали везде, я скрывался две недели и наконец убежал в Финляндию… Жена осталась в Питере, боюсь, что она на Шпалерной[17]». Но и в этом отчаянном положении Шкловский из финского «карантина» регулярно писал Алексею Максимовичу, поминая Серапионов: «Серапионы остались в России в печали и тесноте»; «Скучаю по жене, Тынянову, по Серапионам»; сообщая, что жену освободили под залог, который внесли литераторы, он подчеркивает: «Главным образом Серапионы»; «У Серапионов наблюдается следующее. Бытовики: Зощенко, Иванов и Никитин обижают сюжетников: Лунца, Каверина, Слонимского. Бытовики немного заелись в „Красной нови“, а сюжетники ходят пустые, как барабаны без фавора и омажа. Я написал уже об этом туда письмо, но этого мало».

Вскоре Горький помог Шкловскому перебраться из Финляндии в Берлин…

Раздумывая над годами своей военно-политической работы и над судьбой России, Шкловский 15 апреля 1922 года писал Горькому как никогда прямо: «Мой роман с революцией глубоко несчастен. На конских заводах есть жеребцы, которых зовут „пробниками“. Ими пользуются, чтобы „разъярить“ кобылу (если ее не разъярить, она может не даться производителю и даже лягнуть его), и вот спускают „пробника“. Пробник лезет на кобылу, она сперва кобенится и брыкается, потом начинает даваться. Тогда „пробника“ с нее стаскивают и подпускают настоящего заводского жеребца. Пробник же едет за границу заниматься онанизмом в эмигрантской печати. Мы, правые социалисты, „ярили“ Россию для большевиков». Этот образ «пробников» не раз потом еще будет использоваться им, но только по другим поводам.

И еще две цитаты из тогдашних писем Шкловского Горькому: «У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушел в науку „об сюжете“, как в манию, чтобы не выплакать глаз. Не будите меня». И: «Если бы коммунисты не убивали, они были бы все же не приемлемы».

Кто в Петрограде до побега Шкловского мог догадаться о его самоощущении?

Н. Чуковский, знавший В. Б. с детства и очень внимательный к старшим, свидетельствовал: В Доме Искусств «его знали все и относились к нему не только с почтением, но и с некоторым страхом. У него была репутация отчаянной головы, смельчака и нахала, способного высмеять и унизить любого человека… Лев Лунц и Илья Груздев ходили за ним, как два оруженосца». В Доме Искусств у Шкловского были не только Серапионы. Снова воспоминания Н. Чуковского: «Шкловский перетащил в просторные помещения Дома Искусств заседания знаменитого ОПОЯЗА — цитадели формализма в литературоведении. Многие любопытствующие студисты посещали эти заседания, был на некоторых и я. Кроме Шкловского помню я на них Эйхенбаума, Поливанова, Романа Якобсона, Винокура. Они противопоставляли себя всем на свете и во всей прежней науке чтили, кажется, одного только Потебню. Но зато друг о друге отзывались как о величайших светилах науки: „О, этот Эйхенбаум!“, „О, этот Поливанов!“ „О, этот Роман Якобсон!“ Винокур к тому времени еще не успел, кажется, стать „О, этим Винокуром“, но зато крайне ценился своими товарищами как милейший шутник… Разумеется, светилом из светил во всем этом кружке был Виктор

Борисович Шкловский. Он не знал ни одного языка, кроме русского, но зато был главный теоретик»… (Замечу, что, и не зная английского, можно было открыть русскому читателю Стерна — это сделал именно Шкловский.) Не любивший Шкловского Шварц признает в дневниках: «Литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы — по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочел… Поэтому он сильнее писатель, чем ученый».

В 1922–1923 годах в Берлине Шкловским были написаны две замечательные книги: «Сентиментальное путешествие» и «Zoo[18], или Письма не о любви».

«Сентиментальное путешествие» — мемуары, речь в них идет о жизни автора в войну и революцию; название двух частей («Революция и фронт» и «Письменный стол») говорят сами за себя. В отличие от мемуаров, написанных через сорок лет, здесь не было ничего о детстве и были сердечные слова о Серапионах, но главное — это повествование о войне и революции, повествование свободного художника.

У книги «Zoo» было еще третье название: «Новая Элоиза». Оно связано не с Руссо, а с Эльзой Триоле — Шкловский включил в книгу ее письма. В сестру Лили Брик Эльзу он был безответно влюблен. Завершив работу над «Zoo», Шкловский писал Эльзе: «Книжка, кажется, удалась, во всяком случае это лучшее, что я написал. Спасибо тебе за это, Эльза. Пишу без надрыва… У меня был прогрессивный паралич любви, и он разрушил мою нравственность. Но дело не безнадежно. Я умею работать, Эльза, умею писать… Твои письма настолько хороши, что у меня к ним чувство соперничества»[19]. Опубликовав ее письма, Виктор Борисович внушил Эльзе, что у нее есть литературный дар. Поверив этому и написав две книжки по-русски, Эльза Триоле (она носила фамилию первого мужа, француза, с которым уже разошлась) затем перешла на чужой для нее французский язык и во время Второй мировой войны стала известной французской писательницей, к тому же воспетой в стихах ее вторым мужем Луи Арагоном. А Виктору Шкловскому в Берлине не оставалось ничего другого, как всерьез думать о своем будущем. Впрочем, судьба его будущего решилась заключительным письмом в книге «Zoo». Это письмо имело неожиданный адрес, потому что оно называлось «Обращением во ВЦИК СССР», и столь же определенное содержание: «Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь

можно только задыхаться… Я хочу в Россию. Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь»[20].

Вениамин Каверин в книге «Эпилог» именно словами «Я подымаю руку и сдаюсь» назвал главу, посвященную Шкловскому, придав этим словам глубоко символический и как бы пророческий смысл. Из 1922 года усмотрел Каверин «сдачу» Шкловского, приобретшую отчетливые внешне черты лишь в 1930-е годы.

Дружба Шкловского с Горьким знала свои приливы и отливы; в Берлине они в итоге поссорились, и в 1925 году Горький писал Федину резко: «Шкловский — увы! „Не оправдывает надежд“. Парень без стержня, без позвоночника и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». С позвоночником тогда были уже проблемы и у самого Горького, но это совсем другой сюжет…

Шкловский был литератором, сложившимся уже к моменту встречи с Серапионами, — а они еще только учились. Пока ему с ними возиться было интересно, он возился, потом, по возвращении в Сов. Россию, закрутила и жизнь, и литература — из Берлина он вернулся не к Серапионам в Питер, а, вспомнив футуристов, в Москву, в ЛЕФ — группу боевую, с заявленной идеологией, литметодой, лидером и т. д. — и какое-то время сверкал там. Он стал вместе с Маяковским одним из лидеров ЛЕФа, увлекся кино (как и Тынянов). В 1926 году вышла его книга «Третья фабрика». Она открывалась объяснением названия: «Во-первых, я служу на 3-й фабрике Госкино. Во-вторых, названье объяснить не трудно. Первой фабрикой для меня была семья и школа. Вторая ОПОЯЗ. И третья — обрабатывает меня сейчас. Разве мы не знаем, как надо обрабатывать человека? Может быть, это правильно — заставлять его стоять перед кассой. Может быть, это правильно, чтобы он работал не по специальности. Это я говорю своим, а не слоновым голосом. Время не может ошибаться, время не может быть предо мною виноватым». Публичное признание того, что время всегда право, начинало одну из главных тем книги — о свободе искусства, вернее, о ее необязательности. «Есть два пути сейчас, — развивал свои соображения Шкловский. — Уйти, окопаться, заработать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения. Третьего пути нет». Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы, сказав «третьего пути нет», не

добавил: «Вот по нему и надо идти. Художник не должен идти по трамвайным рельсам». И опять же Шкловский не был бы Шкловским, вернувшимся в СССР, если бы не развил эту мысль: «Путь третий — работать в газетах, в журналах, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература». Ничего этот путь дать не мог. Шкловскому пришлось смириться с засилием пустых книг и — более того — временами публично петь им дифирамбы.

В 1929 году друг Шкловского, не писавший прозы, Б. М. Эйхенбаум утверждал в книге «Мой современник»: «Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент… В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был литературен, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература. Он пробует ее на вкус, знает, из чего ее надо делать, и любит сам ее приготовлять и разнообразить».

Бенедикт Сарнов в емкой статье «Виктор Шкловский до пожара Рима» вспоминает свой разговор со Шкловским в начале 1960-х годов, свои жалобы как раз на то, что «время виновато», и сокрушительный ответ Виктора Борисовича: «Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости». Образ, что и говорить, производит впечатление, но, если бы все так боялись автобуса, он бы никогда не сделал перерыва в своих безжалостных наездах на нас…

Последняя знаменитая книга Шкловского называлась «Гамбургский счет», она вышла в 1928 году, и с тех пор ее название стало крылатым. Потом Шкловский старался держаться на плаву, писал свои не задерживаемые цензурой книги и откликался на чужие. При его темпераменте и остром уме это не всегда бывало легко — скажем, пылко хвалить в газете фильм Чиаурели «Клятва», воспроизводящий историю, фальсифицированную Сталиным[21].

Шкловскому повезло — его не арестовали; в 1939 году он даже получил орден Трудового Красного Знамени — это надо было заслужить. И все же орден — далеко не вся правда о Шкловском. В страшные годы террора «в Москве был только один дом, открытый для отверженных», — таково дорогого стоящее признание в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам, оно — о доме Шкловского. Исключительно сердечно, что ей в общем-то не свойственно, пишет Н. Я. о Василисе Георгиевне Шкловской… И

еще одно важное свидетельство вдовы Мандельштама о времени террора: «Шкловский в те годы понимал всё, но надеялся, что аресты ограничатся „их собственными счетами“. Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться „свидетелем“, но, когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то, что делает человека свидетелем, то есть понимание вещей и точку зрения. Так случилось и со Шкловским».

В конце Отечественной войны Шкловского ждал тяжелый удар. 24 марта 1945 года Паустовский писал Никитину: «У нас в Лаврушинском печально — 8 марта погиб в Восточной Пруссии сын Шкловского Никита (Котя)… был в противотанковой артиллерии…»… В 1947 году Вс. Иванов записал в дневнике: «Заходил Шкловский… У него провалилось сердце — не может забыть смерть сына»… Уже под старость Шкловский развелся. К новой его спутнице, С. Г. Суок, неизменно оберегавшей писателя от каких-либо политических сложностей, мемуаристы строги[22]… Сам Шкловский к себе был строг и нестрог. 20 июля 1969 года он писал любимому внуку: «Я создавал науку. Удачи шли сплошняком с 1914 по 1926 год. Были одни победы. Они избаловали меня, и я забыл обычную работу, стал сразу председателем ОПОЯЗа, руководителем. То, что я не знал языки, отрезало меня от мира. Потом я ушел в литературу и кино, опять имел удачи и злоупотреблял легкостью успеха. Злоупотреблял удачей. Презирал оппонентов и даже обычно не читал их. Тут еще вторичную роль сыграли цензурные условия и необходимость зарабатывать. В результате я прожил разбросанную и очень трудную и противоречивую жизнь. Я сжигал огромный талант в печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью».

Хорошо помню, как торжественно отмечали в Москве 80-летие Виктора Борисовича. Он сидел в роскошном кресле на сцене ЦДЛ и улыбался. Говорились речи, вручались приветствия и подарки. Бесцветный ответработник читал по бумажке поздравление, в нем говорилось о заслугах Шкловского и сообщалось, что, отмечая эти заслуги, решено издать собрание его сочинений. Вспыхнули аплодисменты. «Собрание сочинений, — повторил чиновник, — в трех томах». И тут раздались возмущенные выкрики: «Почему в трех? Как не стыдно!» — действительно, сочинения всех бездарных литначальников издавались многотомными, а Виктору Шкловскому, писателю мировой известности, отпустили всего три тома. Чиновник занервничал, что-то бормотал, он явно напугался скандала. Но больше всех перепугался Шкловский. Он вскочил со

своего роскошного кресла, подбежал к краю рампы и громко прокричал, что он всем доволен, что ему совершенно достаточно трех томов, что он очень признателен Комитету по печати, и прочее, и прочее. Все это было и смешно, и грустно.

Необоримый страх, временами охватывавший Шкловского, проявлялся не раз — и в выступлении против Зощенко в 1944-м, и в поддержке шельмования Бориса Пастернака в 1958-м, и в том, как не хватило духа поддержать Каверина в борьбе за издание книги Льва Лунца, значение которой он хорошо понимал, но, узнав, что начальство недовольно этой затеей, ушел в кусты. Думаю, что только в этом объяснение тех уничижительных слов о Шкловском, которыми обмолвилась незадолго до своей смерти Ахматова…[23]

Дожив до глубокой старости, Шкловский сохранил пылкость речи, свежесть слова, энергию мысли, темперамент. Внук Всеволода Иванова Антон в воспоминаниях о деде рассказывает, как после смерти деда Шкловский жил у них на даче и дописывал длинную книгу о Толстом. Антон зашел к нему позвать обедать. Шкловский рявкнул: «Пошел вон, я работаю!» Потом сообразил, что не хорошо: «Минут через пять Шкловский стремглав примчался в столовую, со свойственной ему экспансивностью внезапно остановился— так, что казалось, сама столовая продолжает двигаться, приняв на себя часть внезапно остановленной энергии вошедшего, и рассыпался в извинениях…»

Он не раз публично отказывался от своих ранних работ, сделавших ему литературное имя. В «оттепель» их широко переводили на Западе, пришла мировая слава[24] и вместе с ней старость. В России регулярно издавали новые книги законопослушного Шкловского — он продолжал размышлять о прозе и о прошедшей жизни. «Для 86 лет он выглядит хорошо, — записала в 1980-м Л. Я. Гинзбург, — но плохо ходит; нога забинтована. Говорил он много и возбужденно, под конец устал. Он говорил бы точно так же, если бы к нему пришла аспирантка первого курса. Это ему все равно… Он наглухо отделен от другого, от всякой чужой мысли. *Другой* — это только случайный повод. Ему кажется, что он все еще все видит заново и все начинает сначала, как 65 лет тому назад». Размышляя о Шкловском, знавший его более сорока лет Илья Эренбург написал в мемуарах «Люди годы, жизнь»: «Мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете». А внук Виктора Борисовича Н. Шкловский-Корди, публикуя в «Вопросах литературы» 42 чудесных письма, полученных от деда в 1964–1974 годах, заметил: «По-настоящему в мире он любил себя во вдохновении — и это было сильное впечатление, когда его захватывала эта

„вьюга“».

Одного года не дожил Шкловский до перемен в стране — он умер в 1984-м. В наступившую новую эпоху наконец-то переиздали его старые и не стареющие книги.

Критик и мемуарист Бенедикт Сарнов любил Шкловского, дружил и часто встречался с ним в его последние годы. Сарнов вспоминает:

«В последний раз я встретил Виктора Борисовича незадолго до его смерти. Он медленно брел по двору нашего „старого писательского“ <дома>, опираясь на плечо внука — Никиты.

Даже не опираясь, а налегая на него всем телом и еле волоча ноги.

— Что делаете? — спросил он.

Я ответил, что пишу книгу для Детгиза.

— Какая книга? О чем?

Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, я ответил коротко:

— Наполовину теоретическая, наполовину занимательная.

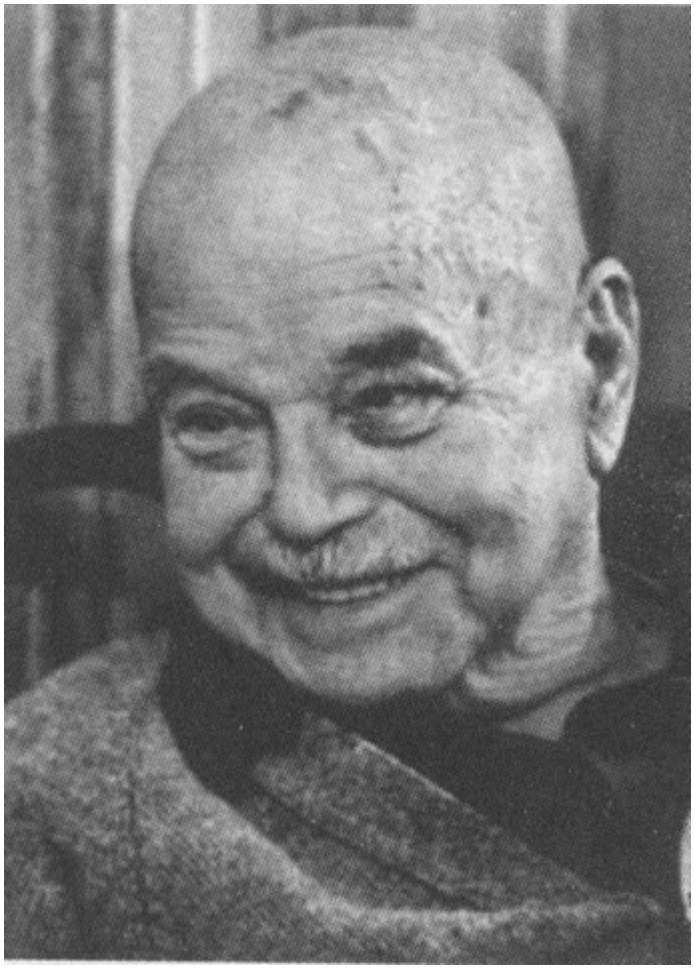
— Ну, авось какая-нибудь половина пройдет, — усмехнулся он. (Не прошла ни одна).

Усмешка была прежняя, „шкловская“. И в глазах, старческих, слезящихся, мелькнула так хорошо знакомая мне неугасающая „шкловская“ ирония.

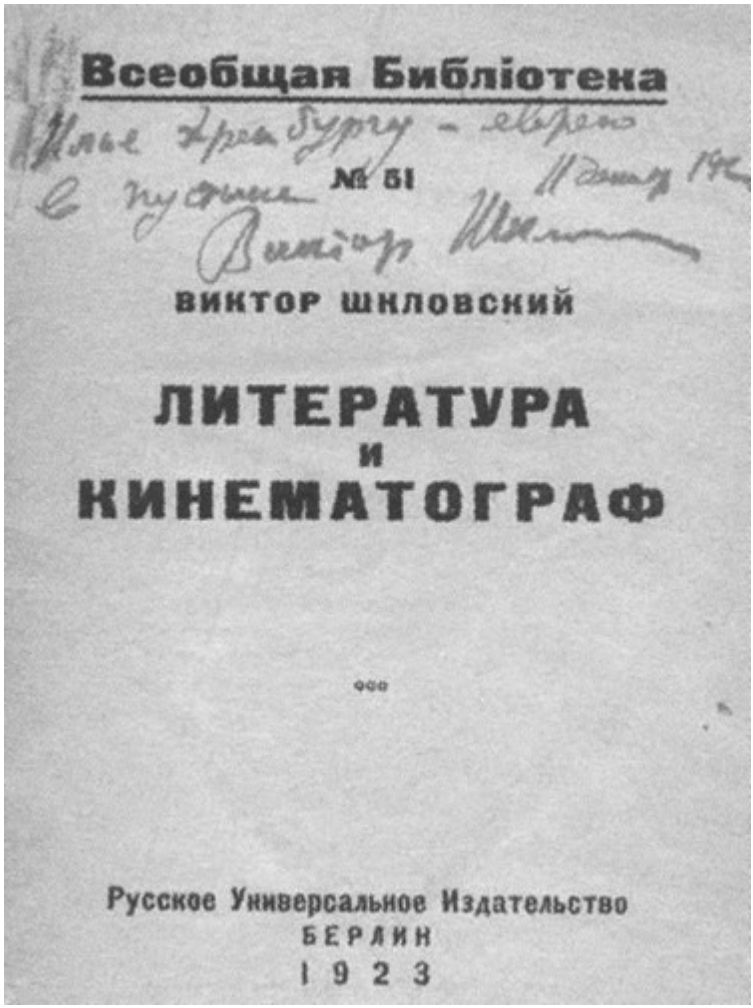
Стоять ему было, наверно, даже еще труднее, чем передвигаться. Но было это, как он тут же мне объяснил, не от дряхлости, а потому, что когда-то пуля угодила ему в крестец, и вот теперь эта давняя рана дала о себе знать.

Я легко поверил, что ноги не слушаются его не из-за старости, хотя было ему без малого 92 года. Поверил безоговорочно, потому что, несмотря ни на что, это была не „тень Шкловского“, не „то, что осталось от Шкловского“, а самый что ни на есть настоящий, доподлинный, живой Шкловский»…

В. Б. Шкловский, 1920-е гг.



В. Б. Шкловский, 1970-е гг.



Автограф В. Б. Шкловского на его книге «Литература и кинематограф» (Берлин, 1923): «Илье Эренбургу — еврею в пустыне. Виктор Шкловский 1923»

Зовущий «На Запад!» Лев Лунц

Самый молодой, веселый и одаренный Серапионов брат Лев Лунц — драматург, прозаик, публицист, знаток западных литератур — родился и почти всю свою короткую жизнь прожил в Петербурге-Петрограде. Если вам случится быть на Троицкой улице (давно уже — улица Рубинштейна), обратите внимание на дом 26 — здесь в подвале еще недавно располагались издательство «Академический проект», книжная лавка и кафе, а раньше в доме был аптекарский магазин Натана Лунца — отца Левы. Здесь-то юный Лунц и работал; здесь написано почти все, что составляет его литературное наследие. Возможно, беспокойный и не знающий старости дух Левы Лунца еще обитает в его доме. В любом случае — замедлите шаг и поклонитесь этому месту…

Лунц был западник и считал, что русская литература должна учиться у западной литературы сюжетности — традиционная аморфность повествования его удручала. Мемуаристы называют Лунца главой правого фланга Серапионов; но помимо Лунца на этом фланге пребывал лишь Вениамин Каверин — такой же молодой и такой же сторонник сюжетности прозы (он пережил Лунца почти на 70 лет и реализовал свой дар в условиях, как бы это сказать, нечеловеческих). Прочие Серапионы были в большей степени почвенники (если пользоваться словом, употреблявшимся в последние советские десятилетия), с Лунцем они резко спорили или отмалчивались в ответ на его филиппики, но все его нежно любили.

Лунц принадлежал к тем одновременно счастливым и несчастным людям, которые дышали воздухом революционных перемен, не думая об уместности противогаза. Лунц многого ждал от революции, допуская, правда, что из всего этого может произойти нечто прямо противоположное его ожиданиям. В отличие, скажем, от Булгакова, который любил дореволюционную жизнь, ненавидел Троцкого и вполне зауважал «хозяина» Сталина (пьеса «Батум» написана не по принуждению), Лев Лунц не был противником революции. Но он не желал терпеть от новой власти хамства. В феврале 1921 года в знаменитой декларации «Почему мы Серапионовы братья?» Лунц писал о «периоде величайших регламентаций и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный устав». Запальчивый Лунц был в ладах с историей: «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу общественная и политическая критика. Пора сказать, что „Бесы“ лучше романов Чернышевского. Что некоммунистический рассказ

может быть гениальным, а коммунистический — бездарным». Тогда за такие слова не обязательно сажали, но спектакль по пьесе Лунца «Вне закона» в Александринке был запрещен лично Луначарским (признаем — не самым большим погромщиком в советской культуре; принято считать, что даже — наоборот); вскоре все пьесы Лунца запретили на всей территории СССР.

Еще будучи студентом-филологом Петроградского университета, Лунц профессионально изучал западные литературы (особенно тщательно и влюбленно — испанскую). В те годы большинство литераторов хорошо помнило недавно отошедший век, принесший русской литературе мировую славу и всеобщее признание. Однако время на месте не стояло, и умиление сменилось анализом: пришла пора формалистов. Вопрос, как сделана «Шинель» Гоголя, поставленный ими в повестку дня и в общем виде ими же решенный, ощущался Серапионовыми братьями как профессионально значимый. Юный Лунц вопрос «как сделано» распространил на современную русскую литературу и нашел, что сделано скучно. То есть, он, конечно, признавал мировое значение Толстого и Достоевского, даже Чехова, но в современной российской прозе ощущал явный отход от великого и правильного пути. Литература, считал он, не делается усилиями одного, пусть даже гения, — поле должно быть удобрено массой экспериментирующих, только тогда на нем взойдет нечто значительное. Засевшие же на поле современные авторы почти не экспериментировали, а следовательно, и почти не удобряли его (тут Лунц не смущаясь называл тогдашние первые имена — Бунин, Зайцев, Белый, Ремизов, А. Толстой, Замятин). Лунцу казалось, что он точно знает ключ к мировому успеху — фабула, занимательность, сюжетность, и знает, у кого надо учиться: Гофман, Дюма, Стивенсон. Замечу, точности ради, что, сталкивая, например, романтика Гюго с реалистом Стендалем, Лунц тем не менее искусство фабулы ценил у обоих, так что лунцевский лозунг «На Запад!» допускал не одну-единственную полосу движения, однако всех возможных «полос» он, конечно, не учитывал.

С Лунцем спорили, тоже пылко, но по части пылкости он был недосягаем. По слову Федина, Лунца «испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним». «Правый» Федин, проживший перед тем несколько лет в стране Гофмана, возражал, механистично подменяя понятие сюжетности некоей подвижностью: «Ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской прозе, заставим Обломова ездить на трамвае». В итоге почвенники, оставаясь на своей позиции, что-то из лозунгов Лунца в расчет все-таки взяли, и даже в прозе Вс.

Иванова некие «западные» подвижки иногда становились заметны. Забавно, что безальтернативные «заветы» Лунца, похоже, находят понимание у теперешних российских авторов, осознающих литературу исключительно как «игру», а вовсе не как «учительство», и мы имеем сейчас в нашей литературе то, что имеем.

За пылкостью Лунца углядывалось яростное отталкивание от подмявшего русскую литературу влияния «общественности»: он полагал, что и события 1917 года внутренне подготовлены именно «общественностью», воспитанной Писаревым, а еще раньше Добролюбовым и Чернышевским, и являются ее апофеозом. Лунц не хотел победы «народников», полагая, что литература существует как искусство сама по себе и сама по себе прекрасна, что в ней нет простого смысла и потому она не нужна власти и должна оставаться бесполезной для нее. Конфликт «литература и власть» Лунц видел отчетливо и требовал честности: власть, как Писарев, должна признать, что ей искусство не нужно.

Лозунг Лунца «На Запад!» не открывал для большинства Серапионов столбовой дороги и потому не был ими поддержан. В России эту статью Лунца не напечатали вообще; она была оглашена им изустно 2 декабря 1922-го, а напечатал ее в Берлине в 1923-м Горький в «Беседе», где публиковались также пьесы Лунца «Вне закона» и «Город Правды»…

Лунц пробовал себя в прозе, но главным его достижением были пьесы. Он писал их потому, что самый сильный упрек обращал к русскому театру. Наличие исключений, то есть русских пьес, им ценимых («Ревизора», например), дела не меняло. Лунцу пришлось самому взяться за исправление ситуации, и созданное им в драматургии оказалось интересно, хотя и впоследствии не востребовано. Евгений Шварц, драматург блистательный, писал, что в пьесах Лунца «был настоящий жар, и сделаны они из драгоценного материала». Пьесы Лунца пути к русскому зрителю, по существу, не получили, но они получили дорогу к читателю — их удалось напечатать: частью в Петрограде, частью в Берлине. Самой первой и, наверное, самой значимой оказалась пьеса «Вне закона» (Лунцу было всего восемнадцать, когда он ее написал). Не имея в России большой сценической судьбы, она имела красноречивую театральную историю.

Тут следует заметить, что в собственном творчестве вообще и в пьесе «Вне закона» в частности увлеченный занимательностью совсем юный Лунц говорил тем не менее о вещах, крайне для тогдашнего российского общества существенных, — о революции и ее перерождении, о народе и толпе, о толпе и вожде, о вере и

разочаровании, об искушении властью. Он действительно старался сделать это весело и живо, помня, что театр — игра, но его театр — игра, заставляющая людей опасно (для власти) задуматься.

Профессиональное знание истории и литературы Запада позволило Лунцу вполне благоразумно и убедительно перенести действие пьесы — во времени и в пространстве — из современной России в средневековую Испанию. Актуальные для России проблемы оказались, таким образом, несколько зашифрованными. Однако обмануть власть этим способом не удалось — спектакль по пьесе «Вне закона», почти подготовленный на сцене петроградской Александринки (режиссер Л. Вивьен, сценография Ю. Анненкова), был запрещен по личной команде наркомпроса Луначарского — того самого, которым умилялась «оттепельная» интеллигенция, уже зная, что бывают наркомпросы несравнимо тупее и кровожаднее Анатолия Васильевича, и даже понимая, что дело-то, собственно, и не в наркомпросах.

В Лунца Луначарский вцепился действительно по-бульдожьи: узнав о постановке «Вне закона» в Одессе, он добился запрещения всех пьес Лунца на всей территории СССР — видимо, понимал, что главные товарищи по партии иное решение ему не простят, а славного кресла покидать не хотелось (лет шесть еще дали в нем посидеть).

Печатать *пьесу* «Вне закона» запретили, когда Лунц жил в Петрограде. Совсем молодым он тяжело заболел и, может быть, поэтому получил стажировку в Испанию, но доехал только до Гамбурга (там жила его семья, с которой уехать из России он не пожелал).

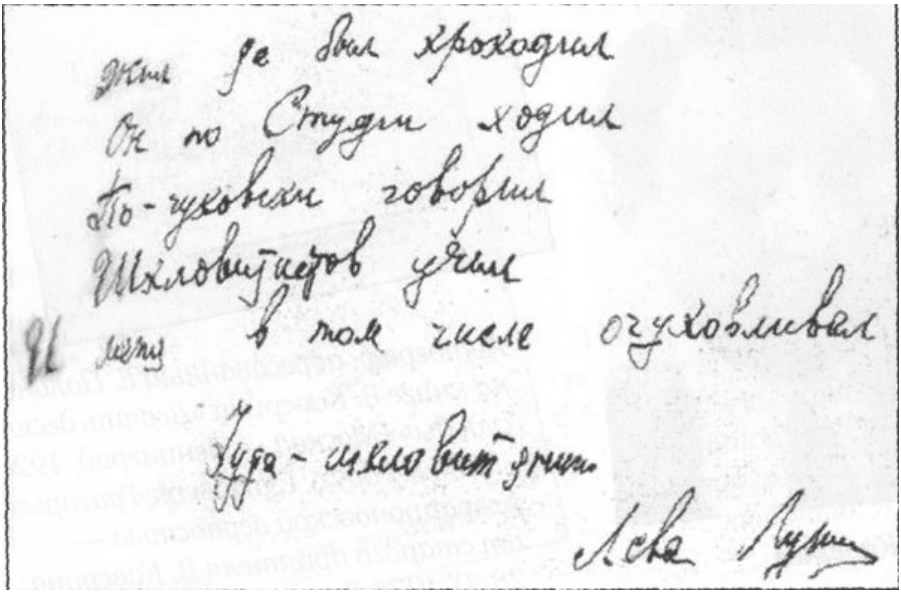
Запрет *спектакля* «Вне закона» на сцене Александринки последовал, когда смертельно больной Лунц находился в Гамбурге и надеялся, что германская медицина его спасет. Любивший Лунца Евгений Замятин каламбурил в письме, отправленном ему в Гамбург: «Обидно, что „Вне закона“ — оказались вне закона: хорошая пьеса, дай Бог здоровья автору». Здоровья Лунцу желали все его друзья, но с реализацией их пожеланий что-то не заладилось.

8 мая 1924 года Льва Лунца не стало.

Потом в СССР настали иные времена и в той или иной мере все Серапионы нахлебались от советского режима, прошедшего по их спинам катком. Изуверство случалось такое, что не доживший до всего этого Лева Лунц, может статься, казался иным Серапионам счастливчиком. Когда настала «оттепель», постаревшие Серапионы оживились и сделали попытку выпустить

книгу Лунца. Но власть осталась в этом вопросе непреклонной, и Серапионы в очередной раз сдались. Своего обещания издать сочинения Лунца, данного еще в 1924 году, они так и не выполнили. Себя, правда, уговаривали, что откладывают вопрос до лучших времен, дожить до которых не довелось никому из Серапионовых братьев — первая книга Лунца в России вышла только в 1994 году…

Л. Н. Лунц



Запись Л. Н. Лунца в альбоме «Чукоккала»:

Жил да был крокодил
Он по Студии ходил
По-чуковски говорил
Шкловитистов учил
И меня в том числе очукокливал

Иуда-шкловитянин Лева Лунц

Михаил Слонимский, обреченный на писательство

Михаил Леонидович Слонимский родился в петербургской литературной семье. Его дед был публицистом, отец — редактором «Вестника Европы», дядя — известный литературовед С.А. Венгеров, тетя — переводчица, брат — историк литературы, а живший в Польше кузен Антоний — знаменитый польский поэт. Это как бы обрекло Слонимского на писательство. Окончив гимназию, он ушел добровольцем на фронт сначала санитаром, потом сапером; был контужен, ранен. Революцию встретил солдатом в Питере; в 1918 году комиссовался. Некоторое время служил секретарем у Горького и активно собирал материалы по его биографии, которые потом отдал Груздеву.

Писавшие о детстве Слонимского отмечают деспотизм его матери. «Отсюда, — с несвойственной ему мягкостью пишет Шварц, — беспомощный Мишин смех, и взгляд, и воля, может быть, и не сломленная, но ушибленная… Отсюда многие душевные ушибы». После революции мать Слонимского уехала в Германию, потом во Францию, и он поселился в Доме Искусств, где слушал лекции Замятина, Чуковского, Шкловского. «Длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто владеющий собой», Слонимский стал центром Серапионов. Звали его Брат Виночерпий. Шкловский свидетельствует, что весь Дом Искусств звал Слонимского Мишей и ценил за то, что «он выпьет, а не пьян». «Пили много, и вообще пьем, — информировал Слонимский Горького в 1922 году, — но не слишком. Больше от усталости, чтобы встряхнуться».

Горький о роли Слонимского в братстве писал почти благоговейно: «Я знаю, что среди Серапионов вам выпал жребий старшего брата, „хранителя интересов и души“ братии. Это трудная и неблагодарная роль, но ваше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, уважения. Скажу прямо: вы, Каверин, Лунц, Зощенко — это самое ценное ядро Серапионовых братьев и самое талантливое».

Первая книга Слонимского «Шестой стрелковый» (1922) — почти вся о войне, фронте, 1917 годе. «Пафос его писанья, — отмечал Шкловский, — сложный сюжет без психологической мотивировки». Знавший Слонимского как никто из друзей, Шварц пишет: «Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных… И фамилии он любил странные, и форму

чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал, — прост. Он старался изо всех сил стать нормальным».

Связь Серапионов с русской революцией органична: революция дала им уникальный писательский материал, она же расчистила литературное поле от стариков. Связь с революцией — так или иначе — стала связью с новой властью. «Мы — советские писатели, и в этом наша величайшая удача, — записал в 1922 году Корней Чуковский сказанное ему наедине Слонимским. — Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. — все это случайно, временно и не типично для советской власти». В 1928 году Чуковский записал другие слова Слонимского: «Я сейчас пишу одну вещь нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую — для печати — преплохую». Однако такое разделение оказалось не по силам психике Слонимского; «в стол» он не писал.

В середине 1920-х годов Слонимский пишет роман о революции «Лавровы» (где, кстати сказать, вполне гротесково изображена его мать), затем нетривиальный роман о нэпе «Средний проспект» (второе издание «Лавровых» запретили, пробивал его Фадеев; про «Средний проспект» Чуковский записал в «Дневнике»: «Гублит разрешил, Гиз издал, а ГПУ запретило»).

Общественный темперамент Слонимского находил себя в редакционно-издательской деятельности (журналы «Забой», «Ленинград», «Стройка», «Звезда», издательство «Прибой», «Издательство писателей в Ленинграде»), К 30-м годам Слонимский сходится с московскими литглаварями Фадеевым и Павленко, знакомится с их влиятельным нелитературным кругом. Тогда-то у него возникает претенциозный замысел политического романа о жизни Питера под властью Зиновьева (как и Горький, Серапионы имели основания не терпеть Зиновьева, но теперь он был повержен и неопасен). Этот роман должен был резко повысить общественный рейтинг Слонимского, но в судьбе писателя он оказался роковым.

В 1933 году Слонимский читал роман в Союзе писателей (отзывы сохранились резкие — Вс. Иванов: «Дрянь», Ю. Олеша: «Бездарен до гроба»; понравилось лишь Фадееву и Павленко). Однако в 1933 году уже не было Воронского, который имел смелость сам решать, что печатать, а что — нет. Рукопись гуляла по коридорам ЦК; политические обстоятельства месяц от месяца менялись, в такт этому рукопись теряла привлекательность для власти. Однако Слонимского продолжали считать своим; он сидел в президиуме I съезда писателей возле Горького, вошел в правление союза. В 1933 году только сумасшедший мог

предположить, что ближайших друзей Ленина объявят убийцами, шпионами и диверсантами.

В 1937 году это случилось, и Петр Павленко прямо с политического процесса Радека, Пятакова и Сокольникова дружески советовал Слонимскому: «Несколько раз вспоминал твой роман об оппозиции. Надо тебе вернуться к нему. Обязательно. Тема пограничников хороша, но не остра». Не знаю, что остановило Слонимского — благоразумие или недостаток сил, но он продолжал сочинять про пограничников.

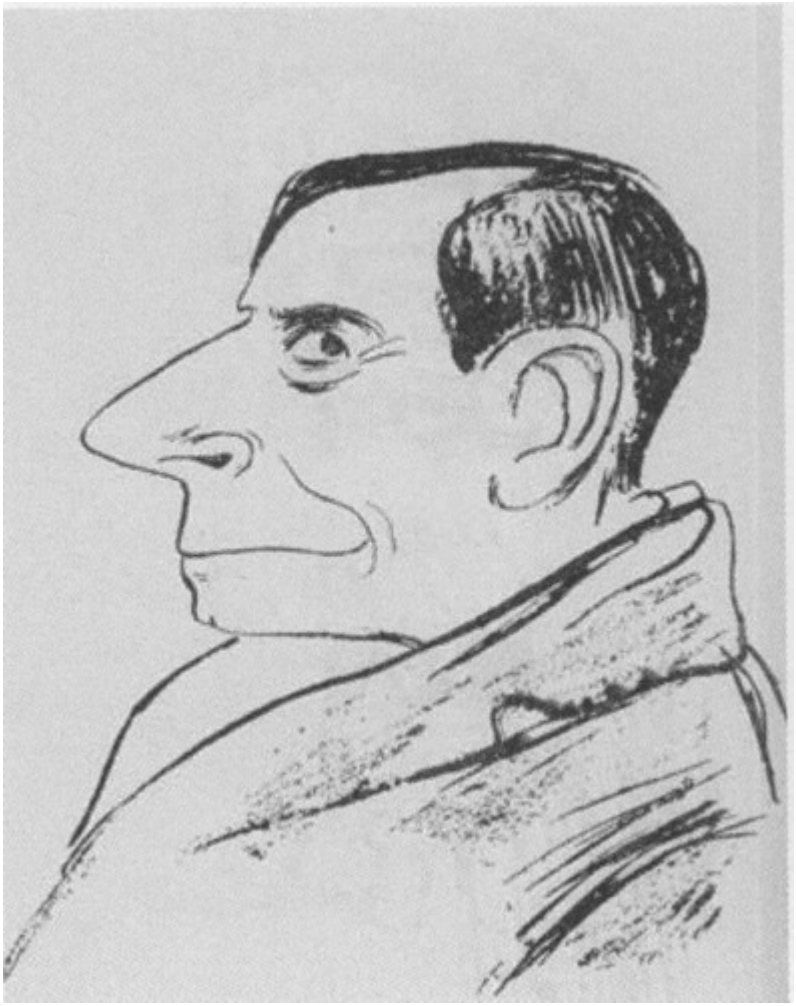
Репутация Слонимского-писателя была бы угроблена окончательно, выйди его роман об оппозиции в свет тогда или потом. Впрочем, в том же 1937 году Тынянов с грустью заметил о Слонимском: «Ничего у него не выйдет. Даже родственники любого писателя пишут лучше».

Войну Слонимский провел в эвакуации в Перми.

В 1946 году референты, готовившие текст постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» (вернее, о Зощенко и Ахматовой), просматривая комплект «Звезды», заметили невинный рассказ Слонимского «На заставе». Поскольку в справке МГБ на Зощенко, представленной в ЦК, указывалось: «По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Никитиным (бывшими членами литературной группировки „Серапионовы братья“)», рассказ Слонимского включили в текст постановления как «ошибочный». Это надолго лишило его автора прежнего положения в Питере.

В 1966 году Слонимский напечатал книгу воспоминаний. Она написана человеком добрым, но очень осторожным; и все равно ему попало от Федина за страницы о Пильняке — пришлось многословно объясняться. Переписка Слонимского и Федина послесталинских лет поражает тщательностью, с которой старые Серапионы обходят все, чем жила тогда интеллигенция, все острые литературные и политические события.

В самые последние свои годы, уже неизлечимо больной, Слонимский нашел силы начать записки о пережитом не для печати; среди заметок, опубликованных посмертно, в пору перестройки, есть весьма впечатляющие (например, о Горьком — заложнике ГПУ).



М. Л. Слонимский (шарж)

М. Л. Слонимский

Вениамин Каверин в Северной столице

Вениамина Каверина можно считать самым счастливым из Серапионовых братьев. И не столько потому, что он прожил 87 лет (скажем, прожившего 85 лет Серапиона Федина трудно назвать счастливым — под старость он напрочь лишился уважения порядочных людей). Каверин дожил до конца режима, до романтической «перестройки». Подводя итоги жизни, ему не нужно было испытывать чувство стыда, крутиться и оправдываться перед своей совестью: за ним не было дурных дел и поступков, предательств, равнодушия и малодушия. И, в отличие от многих братьев, он не совершил преступления по отношению к своему дару — после Каверина остались книги разного литературного достоинства, но среди них нет нечестных и пустых.

Уже под занавес жизни он написал одну из лучших своих книг — воспоминания «Эпилог». Неизменный оптимист, Каверин впервые подумал, что может не дождаться ее издания, и работал «в стол» — бескомпромиссно, резко, даже запальчиво подводя итог прожитым десятилетиям, споря с бывшими друзьями, пытаясь понять, как и когда, с каких мелочей начался тот путь измен — себе и литературе, который привел многих из них к сделкам с совестью. Книга писалась в беспросветные 1970-е годы, но и здесь — в последний раз! — судьба улыбнулась Каверину: хотя он и не дожил до выхода книги из печати, но запуск ее в производство застал.

Псевдоним «Каверин» писатель избрал в 1922 году. Его настоящая фамилия Зильбер; ее прославил старший брат Каверина — Лев, выдающийся вирусолог. Братья Зильбер родились в Пскове в семье капельмейстера духового оркестра. Город Энск, изображенный в «Двух капитанах», — это, конечно, Псков, где будущий писатель прожил первые 16 лет. Потом была Москва, где он заканчивал школу и поступил в университет, а в 1920-м он перебрался в Питер. Это случилось благодаря Юрию Тынянову, другу его старшего брата, — заметив несомненный гуманитарный талант мальчика, он взял его под свое крыло, и первые питерские годы Каверин жил у Тынянова. Женитьба на сестрах друг друга придала их дружбе почти родственный характер. Для Каверина эта дружба оказалась, может быть, самой важной в жизни, и благодарность старшему другу, блистательному писателю и ученому, очарование его личностью он сохранил до конца своих дней.

Обязанный Тынянову переселением в Питер, Каверин прожил

в этом городе с 1920-го по 1941 год. Эти 20 лет в его судьбе решили многое.

Он кончил историко-филологический факультет Петербургского университета и был оставлен при кафедре русской литературы. (По окончании университета его пытались забрать в армию — сюжет, как видим, не новый. Более того, недоброжелатели издевательски определили его в ассенизационный обоз, и только мощная защита Горького, обратившегося лично к председателю Совета Труда и Обороны Л. Б. Каменеву, спасла начинавшего писателя и ученого от унизительной участи.) Его диссертация, посвященная Осипу Сенковскому, в 1929 году была издана книжкой — «Барон Брамбеус». Помимо университета и одновременно с ним Каверин закончил еще и Институт восточных языков по специальности «арабский язык»: «Каверин получил диплом араба», — шутил Федин.

В литературу Каверин пришел от литературной науки. Питерской осенью 1920 года он написал свой первый рассказ «Одиннадцатая аксиома» и представил его на конкурс в Дом литераторов. Конкурсантов было 97, премий — 6. Рассказы представлялись под девизами; не зная их авторов, литературная публика была знакома с текстами еще до присуждения премий. Когда Виктор Шкловский привел Каверина в кружок начинающих писателей, он представил его так: «Одиннадцатая аксиома!» Итоги конкурса подвели летом 1921-го, инфляция съела премиальный фонд, и на полученные деньги (формулировка жюри: за странное воображение) Каверин смог купить лишь 6 липких ирисок, чтобы угостить Тынянова. Напечатали рассказ лишь в 1997-м!

Среди шести лауреатов пять оказались Серапионами. Каверин (наряду с Лунцем) оказался самым молодым из них. Он был пылким поклонником Гофмана, и склеротические мемуаристы вспоминали потом, что именно он придумал имя «Серапионовы братья» (по названию романа Гофмана), хотя идея принадлежала Слонимскому, который после атаки Жданова на Серапионов в 1946 году от своего авторства открещивался.

Первая проза Каверина действительно напоминала о Гофмане, и Максим Горький, очень к Каверину благоволивший, написал ему: «Не люблю сравнений, но, думая о вас, всегда невольно вспоминаю Гофмана и — так хочется, чтобы вы встали выше его!.. ваша фантазия может заставить вас написать вещи глубочайшего значения». Эти щедрые горьковские авансы в трудные минуты помогли Каверину не терять веры в свой талант.

Его первая повесть «Конец хазы», его роман «Скандалист, или

Вечера на Васильевском острове», от которых он не отрекался никогда, хотя комортодоксы клеймили их яростно, наконец, книга «Два капитана», принесшая ему общесоюзную известность и подлинную любовь читателей, — все это написано в Питере. Здесь Каверин стал настоящим писателем…

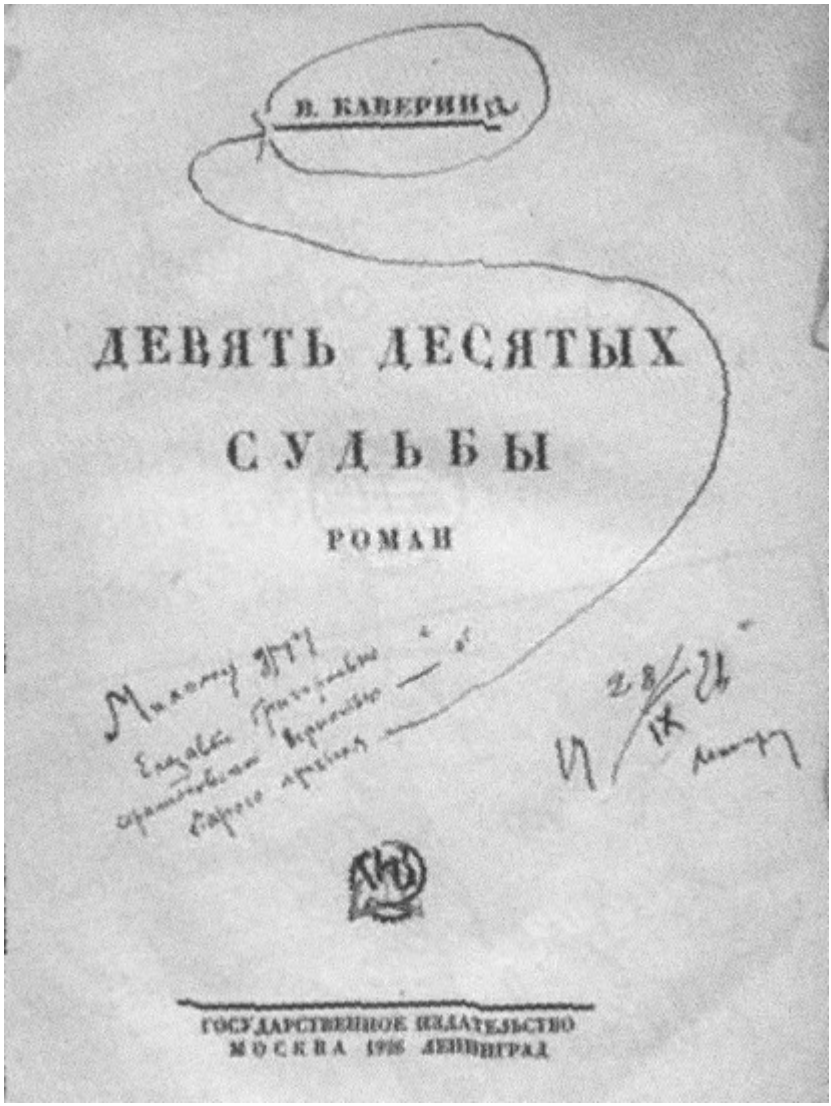
С годами отношения между Серапионами стали очень непростыми. Так, давно испортились взаимоотношения Каверина со Слонимским. Когда композитор Сергей Слонимский, сын М. Л. Слонимского, прочел мою книгу «Судьбы Серапионов» и решил, что в ней суждения о Каверине симпатичнее сказанного о его отце, он пришел в ярость и печатно объявил книгу «черным пиаром», а ее автора — жертвой дурного влияния каверинского «Эпилога». Признаться, кроме истины, меня в судьбах Серапионов ничего не интересовало, и писал я книгу вовсе не для ублажения серапионовских родственников. Читать неприятную правду о близких нелегко, но литература, которой служили Серапионы, — дело суровое, и ожидать от потомков полного признания могут только очень хорошие и очень честные писатели. В случае Серапионов истина проста — каток тоталитарного режима рано и круто прокатился по их спинам, и выдержали это немногие…

Туристам, приезжающим в Северную Пальмиру, среди городских красот и памятников неизменно показывают Петропавловскую крепость — с нее начался город; потом, долгие годы, она была мрачной тюрьмой, через которую прошло немало выдающихся людей России, включая писателей. Но туристам не показывают другой памятник — «Большой дом» на Литейном (памятник архитектуры позднего конструктивизма). Через его казематы прошел цвет питерской интеллигенции советского времени (задача превращения столицы великой литературы в провинциальную дыру решалась основательно и надолго).

Скоропалительный и безвозвратный отъезд Вениамина Каверина из Питера в Москву — одна из «заслуг» «Большого дома» перед городской культурой. Осенью 1941 года Каверина систематически вызывали на Литейный, пытаясь демагогическими уговорами и наглыми угрозами завербовать в стукачи. Чем сильнее он отказывался, тем опаснее становились угрозы. Спасение было в одном — срочно и навсегда уехать из города. И Каверин уехал.

Когда-нибудь фасад «Большого дома» украсят имена всех питерцев, которых в нем погубили. Вспомнят и Вениамина Каверина — сломить его не успели, но город потерял хорошего и честного писателя.

В. А. Каверин



Автограф, адресованный Е. Полонской, на книге В. Каверина «Девять десятых судьбы» (Москва — Ленинград, 1926): «Милому другу Елизавете Григорьевне с серапионовской верностью — от старого приятеля В. Каверина. 28/IX 1926 Ленинград»

Серапионова сестра Елизавета Полонская

Елизавета Полонская родилась в Варшаве в 1890-м. Ее отец Григорий Львович Мовшенсон, инженер-строитель, окончивший Рижский политехникум, служил на постройке городской железной дороги; по окончании стройки ему всякий раз приходилось искать новое место работы — в другом городе. Ее мать, Шарлотта Ильинична (урожденная Мейлах), воспитанная в многодетной религиозной семье, закончила Бестужевские курсы и была (для своего времени и своего круга) очень образованной женщиной — знала языки, любила литературу, в юности дружила с народовольцами и либеральным взглядам оставалась верна. Поэтому Лиза с детства свободно владела немецким и французским (в 8 лет написала по-французски первое стихотворение). Также с детства она знала наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Надсона и от матери унаследовала ее взгляды, продвинув их впоследствии в левую область политического спектра. Детство будущей поэтессы прошло в Лодзи (потому она в зрелые годы так емко перевела стихи о Лодзи родившегося там Юлиана Тувима). Ее брат Шура был на пять лет младше; он стал известным в Питере театроведом и переводчиком.

В девять лет Лиза поступила в Лодзиискую женскую гимназию и училась в ней до шестого класса. В 1905 году в Лодзи семью Мовшенсон застает русская революция, а следом (таковы привычные колебания российского политмаятника) — угроза еврейских погромов. Отец отправляет детей с матерью в Берлин к родственникам. Четыре месяца, проведенных в Берлине, повлияли на всю дальнейшую жизнь Лизы. Юность располагает к радикализму, и в Берлине, как она вспоминала в письме Эренбургу, «я вступила в кружок по изучению Маркса. Сперва мы читали „Капитал“, но руководительница кружка сменилась, и мы занялись „Восемнадцатым брюмера“. С тех пор я помню, что Дама История любит во второй раз показывать вместо трагедии — фарсы». Первой руководительницей кружка была знаменитая большевичка Розалия Землячка, от нее Лиза получила петербургские явки, когда ее семья решила переехать в столицу России.

В Петербурге Лиза прошла две школы — одна называлась частной гимназией Хитрово и дала ей аттестат. Другой было социал-демократическое подполье: работа техническим секретарем подрайона за Невской заставой, доставка подпольной литературы, общение с такими людьми, как Каменев, Зиновьев и,

кажется, Ленин (через два года она встретилась с ними в Париже).

Железным солдатом партии Лиза в итоге не стала — она была для этого слишком умна, образованна и саркастична.

Когда в сентябре 1908 года замаячил арест, родители от греха подальше отправили ее в Париж, где жили их дальние родственники. Лиза устремилась туда не из-за родственников, а скорее из-за Сорбонны, куда собиралась поступить. Не меньше ее манила и русская социал-демократическая колония в Париже — центр тогдашней левой эмиграции (в советскую пору полагалось писать: ей не терпелось снова увидеть Ленина — что ж, отчасти это было и так).

С самого детства родители четко ориентировали Лизу на медицину; только профессия врача могла тогда дать независимость женщине — внушали ей, и, хотя ее с детства занимала литература, в Париже Лиза записывается на медицинский факультет Сорбонны. Первое время она, как и в Питере, пытается сочетать учебу с посещением собраний большевистской группы (где встречалась с Лениным, Каменевым, Зиновьевым, Луначарским…). Потом бросает политику. О ее парижских 1908–1909 годах и о ее тогдашнем романе с Ильей Эренбургом читатель найдет подробный рассказ в главе «История одной любви» моей книги «Судьбы Серапионов. Портреты и сюжеты» (СПб., 2003), потому здесь мы перейдем к дальнейшим событиям ее жизни.

Летом 1914 года Сорбонна была закончена, и тут, пути Господни неисповедимы, грянула Первая мировая война. Сначала Лиза Мовшенсон служила врачом в одном из парижских госпиталей, затем она добровольцем записывается на фронт, и ее направляют во фронтовой госпиталь в Нанси — там она пробыла почти всю немецкую осаду, испытав прелести ежедневных артобстрелов.

С Германией воевала и Россия, но дома иностранные медицинские дипломы были не действительны, и только по случаю войны их владельцам разрешили держать госэкзамены на право получения русского диплома. Узнав об этом, Лиза покидает Францию и кружным путем возвращается домой; в Юрьеве она сдает экзамены и получает российский диплом врача. Ее сразу призывают в 8-ю армию Юго-Западного фронта, где в августе 1915 года зачисляют в эпидемический отряд. В 1916 году она знакомится с киевским инженером Л. Д. Полонским и выходит за него замуж, но вскоре неожиданно для окружающих расходится с ним. В декабре 1916 года рождается ее сын, Полонская отвозит его в Питер к матери и возвращается на фронт. В апреле 1917-го

она приезжает в Петроград, чтобы остаться там навсегда (отец ее умер, и Е. Г. всю дальнейшую жизнь прожила с матерью, сыном и братом) — все в том же доме 12 по Загородному проспекту.

Медицина не оторвала Елизавету Полонскую от поэзии — стихи она писала с детства и продолжала писать в Париже, где в 1913 году читала их на собраниях Русской Академии (поэты-эмигранты читали там свои стихи эмигрантам-художникам). Впервые цикл ее стихов (под псевдонимом Елизавета Бертрам) летом 1914 года напечатал в № 2 своего парижского журнальчика «Вечера» Илья Эренбург, с которым она не виделась 5 лет.

Было в тех стихах предсказание, которому, оказалось, не суждено сбыться:

Когда я буду старой, я уеду
Во Францию, в один из городков
Долин Луары или Пуату…

Война наполняла собою жизнь, но для стихов время находилось:

Хрипел санитарный фургон у ворот
И раненых выгружал…
Носилки стояли за рядом ряд,
Где вход в перевязочный зал…

Уже были прочитаны символисты, поразившие Лизу, и она чувствовала, что ей не хватает поэтической школы. Так в голодном Петрограде, не переставая работать госпитальным врачом, она записывается в литературную студию — учится у Николая Гумилева стихам, а у Корнея Чуковского и Михаила Лозинского — искусству перевода.

Летом 1920 года в Петрограде был создан Союз поэтов; более ста желающих вступить в него представили свои стихи, и приемная комиссия в составе А. Блока, М. Лозинского, М. Кузмина и Н. Гумилева, рассмотрев их, выносила окончательное решени е— принять или нет. Заявление Полонской обсуждали 7 сентября 1920 года. Письменные отзывы мэтров на представленную рукопись стихов сохранились —

Блок: «Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней мере, современные, но, кажется, голос ее очень слаб и поэта из нее не будет»;

Лозинский: «По-моему, Е. Г. Полонскую принять в Союз следует, хотя бы в члены-соревнователи. Ее стихи не хуже стихов

Вс. Пастухова[25] (принятого по рекомендации Блока в действительные члены ни тогда, ни теперь никому не известного автора, надо полагать, с очень „сильным“ голосом; это замечание Лозинского — несомненный укор комиссии. — *Б. Ф.*)»;

Гумилев: «В члены-соревнователи, я думаю, можно».

Кузмин: «По-моему, можно».

Е. Г. Полонская была принята в члены-соревнователи Союза поэтов.

На робкую ученицу Полонская не походила; в ее мемуарах рассказывается, как однажды на занятиях она читала Гумилеву свои стихи:

> Я не могу терпеть младенца Иисуса
> С толпой его слепых, убогих и калек,
> Прибежище старух, оплот ханжи и труса,
> На плоском образе влачащего свой век… —

и как наступило грозное молчание: Николай Степанович встал и демонстративно вышел, а в это время с другого конца стола поднялась Лариса Рейснер, приветствуя прочитанное…

В 1921 году в петроградском издательстве «Эрато» вышла первая книга стихов Полонской «Знаменья». Эта книжка запечатлела романтически-суровые черты времени, ее пафос был строг. Автор послала «Знаменья» в Москву Льву Троцкому. Ответ, запечатанный красным сургучом, фельдъегерская почта доставила ей на дом. Пылкая Мариэтта Шагинян, близкий друг, в письмах к Полонской так не похожая на свои печатные опусы, включая злополучную лениниану, наставительно требовала в 1921 году: «Пиши поэму о Троцком!» А Полонская в те дни записывала в дневнике: «Почему я не коммунистка? Две причины, обе — психологические. 1) Я не испытываю активной любви к людям. Я ощущаю их как трагический материал. 2) Мне претит комлицемерие»[26].

Книжку «Знаменья» всегда любил Виктор Шкловский. В «Сентиментальном путешествии» (1923) его портрет Полонской составлен из нескольких строк: «Пишет стихи. В миру врач, человек спокойный и крепкий. Еврейка, не имитаторша. Настоящей густой крови. Пишет мало. У нее хорошие стихи о сегодняшней России, нравились наборщикам»[27]. Рецензией на «Знаменья» откликнулся Б.М. Эйхенбаум: «Здесь стихи о *нашей* — суровой, неуютной, жуткой жизни. Здесь *наш* Петербург— „виденье твердое из дыма и камней“. Стихи Полонской выделяются своей экспрессией: в них чувствуется мускульное напряжение, в них есть сильные речевые жесты. Традиции

Полонской определить точно еще трудно, но кажется мне, что она ближе всего к Мандельштаму… Она не поет, а говорит — с силой, с ораторским пафосом… Есть в сборнике очень удачные вещи — именно те, где есть повод для торжественной речи, для ораторской экспрессии…» Георгий Иванов в журнале «Цех поэтов» писал: «В „Знаменьях“ с первых строк чувствуется свой голос. И это несомненно голос поэта… Самое ценное в творчестве Елизаветы Полонской — ее яркая образность, соединенная с острой мыслью…»[28]; любопытно несовпадение восприятия поэзии Полонской обоими рецензентами (Эйхенбауму близки стихи о современности, а Г. Иванов выделил любовную лирику и стихи на еврейскую тему). Илья Эренбург в берлинской рецензии на «Знаменья» подчеркивал: «Полонская достигает редкой силы, говоря о величии наших опустошенных дней. Ее книга — о Робинзоне, потерпевшем кораблекрушение и посему познавшем очарование ранее незаметных и скучных вещей. Это новая вера».

Приведу еще высказывание из статьи 1923 года «Поэты в Петербурге», принадлежавшей Георгию Адамовичу, критику не запальчивому, к чьим комментариям теперь нередко обращаются в попытке переоценить литературное прошлое. Адамович писал: «О Полонской знали в Петербурге довольно давно. Она работала с М. Л. Лозинским над переводом Эредиа. Я помню, как лет пять назад, на одном из полушуточных поэтических состязаний, она в четверть часа написала вполне правильный сонет на заданную тему. Выпустила она сборник в конце 21 года и после этого написала ряд стихотворений, во многих отношениях замечательных.

От Полонской, в противоположность Тихонову, нельзя многого ждать. Ее дарование несомненно ограничено. Но у нее есть ум и воля. В стихах ее есть помесь гражданской сентиментальности с привкусом „Русского богатства“ и какой-то бодлеровской очень мужественной горечи. Из всех поэтов, затрагивающих общественные темы, она одна нашла свой голос. После широковещательных, унылых, лживо восторженных излияний Анны Радловой, так же как и после более приятных и более честных упражнений пролеткультовцев, стихи Полонской о жизни „страшных лет России“ заставляют насторожиться».

Насторожиться было от чего:

Не стало нежности живой,
И слезы навсегда иссякли.
Теперь одно: кричи и вой!
Пылайте словеса из пакли!
Пока не покосится рот,

И кожа на губах не треснет,
И кровь соленая пойдет,
Мешаясь с безобразной песней!..

Первая книга Полонской «Знаменья» открывалась романтическими стихами, посвященными Александру Блоку; их последнюю строфу не раз цитировали:

И мы живем и, Робинзону Крузо
Подобные, за каждый бьемся час,
И верный Пятница — Лирическая Муза,
В изгнании не покидает нас.

Полонская понимала Революцию как явление Природы и принимала ее. Отношение к новой власти было совершенно иным. Впрочем, эта власть за 10–12 лет идеологически круто изменилась, постепенно подчиняя себе все сферы деятельности граждан. Предвидеть это во всем объеме Полонская не могла, но еще в 1921-м со многим прощалась:

Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным,
безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой…

«Когда я перечитываю эти стихи, — вспоминала Полонская свою первую книгу, — я вижу неосвещенный в снежных сугробах Невский и себя в валенках и кепке, бредущей с ночного дежурства в 935 госпитале, что на Рижском, по направлению к Елисеевскому дому на Мойке, тогдашнему „Дому Искусств“, где за барской кухней в „людском“ коридоре, прозванном „обезьянником“, в комнате Миши Слонимского собирались Серапионовы братья»[29].

В 1921-м Полонская пришла к Серапионам. Ее стихи понравились. В них был дух времени, которое переживали все, и были свои темы. Писала она и на библейские, соотнося происходящее в стране с древностью; она умела сказать о том, что ее занимало, обращаясь к классическим образам:

Мы знаем точный вес, мы твердо помним счет;
Мы научаемся, когда нас научают.

Когда вы бьете нас, кровь разве не идет?
И разве мы не мстим, когда нас оскорбляют?
(«Шейлок»)

Многое из этого в неромантические для нее тридцатые годы постепенно ушло из ее поэзии.

У Серапионов поначалу было два поэта: юный Познер и неюная Полонская, потом Познер уехал, и Полонская осталась одна, затем появился Николай Тихонов (их с Полонской тогда многое роднило — они дружили). Поэтов стало двое, но Серапионовой сестрой Полонская осталась единственной. Не живя в Доме Искусств, она хорошо его знала — по Серапионовым сборищам; когда появился роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», посвященный Дому Искусств в 1920–1922 годах, Полонской было интересно разгадывать прообразы его персонажей (на полях книги она карандашом их записывала; на книге Форш такой автограф: «Милой женщине хорошему поэту Лизавете Полонской от Ольги Форш на память. 1931. Редкое и достойное сов-ме-ще-ние!» Как член братства, Полонская участвовала во всех собраниях Серапионов, но посещала еще и легендарную Вольфилу[30] (Серапионов там считали членами-соревнователями), даже устроила там первое в городе обсуждение романа Эренбурга «Хулио Хуренито». В 1923 году Серапионы по средам собирались у Полонской на Загородном… К каждой серапионовской годовщине Елизавета Григорьевна неизменно писала шутливую оду.

В 1923 году вышла вторая книга ее стихов «Под каменным дождем»[31]:

Калеки — ползаем, безрукие — хватаем.
Слепые — слушаем. Убитые — ведем.
Колеблется земля, и дом пылает —
Еще глоток воды! Под каменным дождем…

Как и для многих, годы нэпа были психологически трудными для Полонской; подобно Блоку, она не могла принять, как оказалось недолговременную, реставрацию старого мира. Ее поэму «В петле» А. К. Воронский пытался напечатать в «Красной нови» хотя бы со своим предисловием, но ему не дали; Николай Тихонов тогда сообщал Льву Лунцу о поэме Полонской: «Не берут в печать, потому что она левее левого».

Что касается еврейской темы, то она неизменно и заостренно присутствует в тогдашних стихах Полонской. Вот Елизавета

Григорьевна любуется своим малышом; кто скажет, что эти стихи написаны в грозном Петрограде 1919 года:

Таких больших иссиня-черных глаз,
Таких ресниц — стрельчатых и тяжелых,
Не может появиться среди вас,
В холодных и убогих ваших селах.

Нет, только там, где блеск, и зной, и синь,
Под жгучим небом Палестины
В дыханьи четырех больших пустынь,
Бог Саваоф мог дать такого сына.

Между тем именно в первые послеоктябрьские годы Полонская осознает свое еврейство неотрывным от любви к России и в стихах 1922 года, обращаясь к стране, без обиняков формулирует остроту очевидной для нее коллизии:

Разве я не взяла добровольно
Слов твоих тяготеющий груз?
Как бы ни было трудно и больно,
Только с жизнью от них отрекусь!
Что ж, убей, но враждебное тело,
Средь твоей закопают земли,
Чтоб зеленой травою — допела
Я неспетые песни мои.

Еврейская тема, лишившись в 1930-е годы внутреннего напряжения, продержалась в стихах Полонской до 1940-го («Правдивая история доктора Фейгина»), пока, с началом политики неприкрытого госантисемитизма, не стала запретной. Грозное антихристианство Полонской 1920-х, о котором Шагинян написала, что оно «страшнее и убийственней всяких ярмарочных бахвальств „комсомольского Рождества“», способно было бы шокировать бывших атеистов от КПСС, декларирующих ныне новую веру (капитал, освященный православием), но им, слава Богу, не придет в голову заглянуть в эти стихи.

С 1922 года Полонская работала разъездным корреспондентом «Петроградской правды»; ее очерки повествовали о Севере, Урале, Донбассе; писала она и для журналов и радио. Это упоминает Шварц в шуточных «Стихах о Серапионовых братьях» в «Чукоккале»:

Любит радио,
Пишет в «Ленинграде» о
Разных предметах
Полонская Елизавета.

Корней Чуковский уговорил ее заняться детской поэзией, и Полонская написала несколько милых книжек для малышей; они многократно переиздавались, и Елизавета Григорьевна сообщала Лунцу в 1924 году: «Ребята наши серапионовские все вышли в большой свет, за исключением Ильи <Груздева> и Веньки <Каверина>. А я стала знаменитой детской писательницей — образец Вам посылаю»[32]. Однако вскоре детскую поэзию она оставила.

Черновики многих ее «взрослых» стихов острее и сильнее опубликованных текстов. Раньше многих Полонская почувствовала за спиной тяжелое дыхание «Музы цензуры»; попытки перехитрить ее давали лишь тактический выигрыш. Печальной была литературная судьба написанной в 1922 году «Баллады о беглеце», с ее резким рефреном «У власти тысячи рук», варьируемым от строфы к строфе:

У власти тысячи рук,
И ей покорна страна,
У власти тысячи верных слуг,
И страхом и карой владеет она…

Баллада завершалась оптимистично:

Дорога свободна, и мир широк…

Она связана с удавшимся побегом из Петрограда в Финляндию Виктора Шкловского от пытавшегося его арестовать ГПУ (на квартире Полонской ГПУ устроило одну из засад, в которую Шкловский не попался). Но баллада эта была напечатана только благодаря фальшивому посвящению «Памяти побега П. А. Кропоткина», которое потом (времена, обгоняя воображение, стремительно менялись) пришлось заменить посвящением Я. Свердлову (попутно был изменен и год написания — на 1917-й).

Предупрежденная еще в конце 1920-х годов подругой парижских лет (та написала о Сталине из ссылки, где вскоре погибла: «Вы не знаете этого человека, он жесток и неумолим»), Полонская «легла на дно»; впрочем, жизни в свете юпитеров она

всегда предпочитала независимость. Люди, которые при случае могли ей помочь, были раздавлены, даже упоминание их имен стало опасным. Полонская выбрала малозаметную литературную работу: писала очерки, переводила (баллады Киплинга — ее несомненная удача), иногда приходили стихи (Лирическая Муза становилась все более скупой). «Полонская жила тихо, — вспоминал Шварц, — сохраняя встревоженное и вопросительное выражение лица. Мне нравилась ее робкая, глубоко спрятанная ласковость обиженной и одинокой женщины. Но ласковость эта проявлялась далеко не всегда. Большинство видело некрасивую, несчастливую, немолодую, сердитую, молчаливую женщину и сторонилось ее. И писала она, как жила… Иной раз собирались у нее. Помню, как Шкловский нападал у нее в кабинете с книжными полками до потолка на „Конец хазы“ Каверина, а Каверин сердито отругивался. Елизавета Полонская, единственная сестра среди „Серапионовых братьев“, Елисавет Воробей, жила в сторонке. И отошла совсем в сторону от них много лет назад. Стихов не печатала, больше переводила и занималась медицинской практикой, служила где-то в поликлинике». Шварц приводит здесь прозвище Полонской — его, как свидетельствует Н. Чуковский, дал Зощенко[33] в другом он менее точен — лишь до 1931 года Полонская совмещала литературную работу с врачебной практикой, потом занималась только литературой: чтобы печататься, ездила по стране. Третья ее книга «Упрямый календарь» (1929), кажется, была последней, где не ощущается гнета запретов, хотя и потом новые сборники Полонской продолжали выходить… Она многое видела, понимала, но жила молча — помимо прочего, надо было еще содержать семью.

В 1930-е годы Полонская занималась прозой (для детей и взрослых), искала темы, близкие ей сюжетно и при этом цензурно проходимые (скажем, написала и готовила к печати «Повесть о Луизе Мишель» — все, что связано с Парижской коммуной, тогда почиталось…). О положении Полонской в формирующейся писательской номенклатуре можно судить по одному эпизоду 1934 года, когда собрался Первый съезд писателей. Съезд, как теперь бы сказали, был исключительно «раскручен». Ленинград получил мало делегатских билетов, и, оправдываясь тем, что Полонскую-де, в отличие от иных, не интересует табель о рангах, ей вручили гостевой билет. В Дом Союзов, где проходил съезд, все ленинградцы пришли вместе, но Полонскую в зал не пропустили: с «гостевым» только на хоры! Коллеги, оставив ее, спокойно прошли в зал. Неожиданное унижение оказалось горьким, и она расплакалась. Один только «москвич» Всеволод

Иванов заметил это и, проходя мимо, взял ее под руку и провел в зал, а в перерыве принес ей полноправный билет…

Смена политического курса в 1939-м сделала многие ее антифашистские стихи непечатаемыми. Европа была под сапогом нацистов. Воспоминания о годах парижской молодости делали еще острее ощущение общеевропейского пожара:

> Пылают Франции леса,
> Дубы Сен-Клу, узорчатые клены,
> Густые липы Севра и Медона,
> Ваш черный дым встает под небеса…

Эти стихи напечатали нескоро. Илья Эренбург, вырвавшийся из оккупированного Парижа — ему было совсем не сладко в тот год, — как никто, смог почувствовать их горечь.

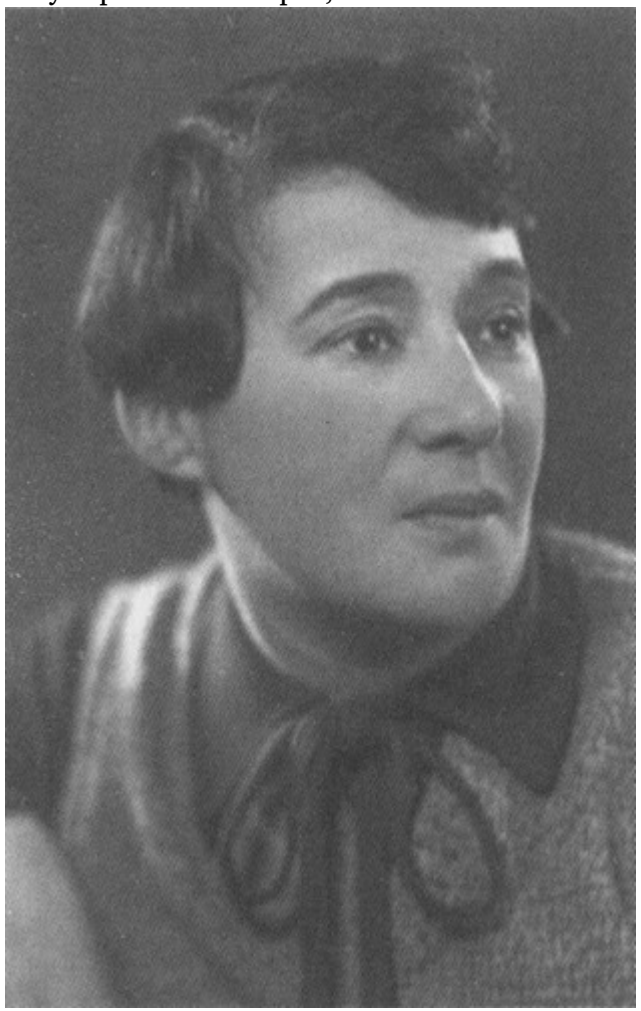
В Отечественную войну Полонской пришлось хлебнуть немало: сын с первого же дня был на фронте (он закончил ЛЭТИ перед самой войной), его тяжело ранило, но он уцелел; из блокированного города Е. Г. с семьей эвакуировали под Пермь. Только в ее письмах можно прочесть, каково ей там было, и про то еще, какими стали иные братья: всё только о себе, для себя… В апреле 1944 года Полонская предприняла попытку вернуться в Ленинград; это было совсем не просто: городские власти интересовались только рабочей силой[34]; в итоге ей все же разрешили вернуться домой.

Сразу после войны умерла нежно любимая мама. Предстояли беспросветно-черные, послевоенные годы.

С «оттепелью» Полонская обрела какое-то дыхание, и зрение ее не притупилось. Каждое лето она проводила в Эстонии, жила природой и воспоминаниями, писала лирические стихи, ее суждения, бывало, сохраняли прежний сарказм, может быть, с оттенком грусти. Постепенно складывался замысел мемуарной книги «Города и встречи». Она так и осталась незавершенной, а напечатали при жизни Полонской совсем немного глав. Среди них была и замечательная глава о Зощенко. Первой в стране Е. Г. рассказала о замученном, оболганном писателе редкого таланта. Конечно, надежды напечатать этот текст не было никакой, но выручил Ю. М. Лотман (в Эстонии они подружились) — воспоминания появились в 1963 году в малотиражных «Трудах Тартуского университета». Не было друзей, включая всех живых Серапионов, кто бы ни откликнулся на эту поразившую и задевшую всех работу… Полонская по-прежнему интересовалась тем, что пишут и издают ее старые друзья (31 октября 1963 года писала Каверину: «Получила первый том твоего собрания, очень

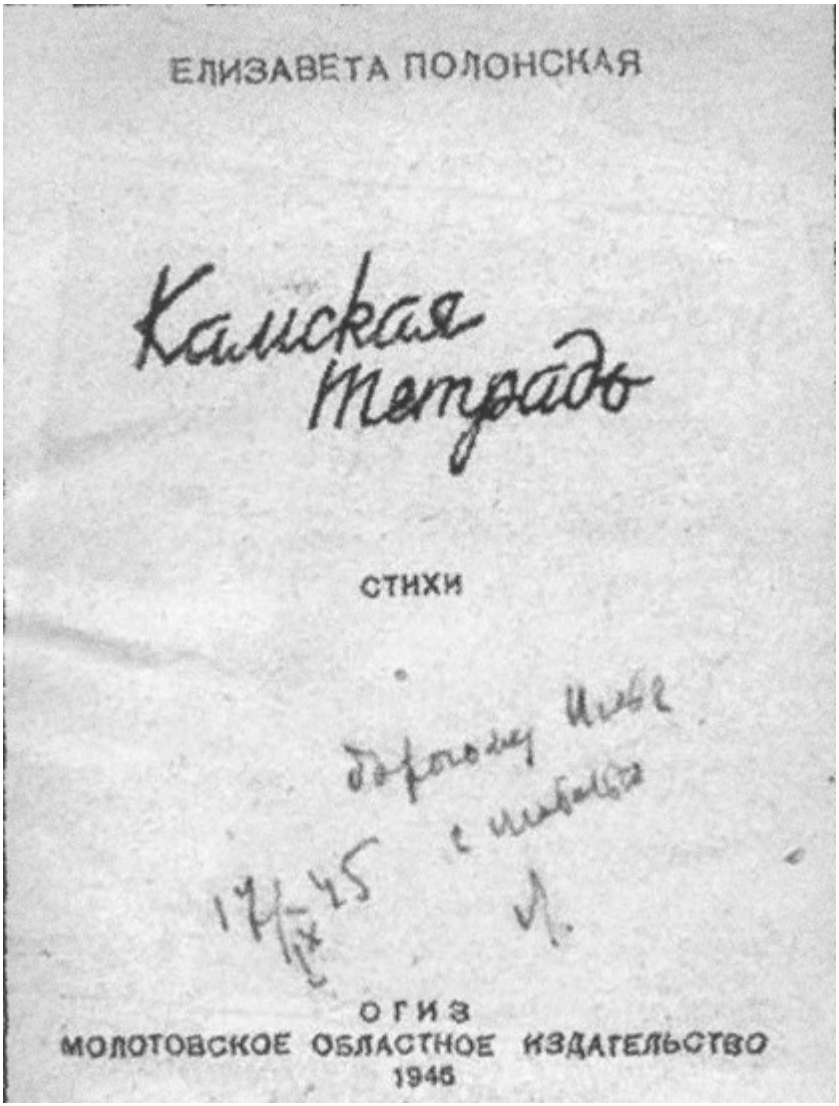
интересный, но с фотографией, изображающей тебя преувеличенно старым и грустным. Мне хочется тебя видеть молодым, полным жизни, таким, как знаю уже много лет!»); читала новое, стараясь не отстать от времени, — стихи Слуцкого, молодых и шумливых Евтушенко, Вознесенского..

В 1965-м умер любимый брат, в 1969-м не стало и ее.



Е. Г. Полонская. 1932 г.

Е. Г. Полонская. Портрет работы Н. П. Акимова, 1927 г.



Автограф Эренбургу на книге Е. Полонской «Камская тетрадь» (Молотов, 1945): «Дорогому Илье с любовью. Л. 17/IX 45»

Французский писатель Vlad Pozner

Многим Серапионовым братьям повезло увидеть Париж (именно повезло — ведь речь не про российское «сегодня», а об СССР, где так везло лишь счастливчикам). Но один Серапион в Париже даже родился. Произошло это в 1905 году, когда старшей из списочного состава Серапионов, Елизавете Полонской, было 15 лет, а младшему, Вениамину Каверину, — три года. Так что Серапион «парижского разлива» был еще и самым юным из братьев.

Речь — о Владимире Познере.

Родившись последним из Серапионовых братьев, он последним и умер (в 1992-м) и — тоже в Париже. Законный вопрос, не возникавший в других «случаях»: а что значил в его жизни Петербург? Ответ прост: очень многое (именно десять лет жизни, проведенные Владимиром Познером на берегах Невы, сформировали его, не пресекавшийся всю жизнь, интерес к литературе вообще и к русской литературе в частности).

Когда в начале 1910-х годов семейство Познер приехало в Россию, Вова вообще не говорил по-русски. А уже питерским гимназистом, как вспоминал ближайший его приятель и соученик Николай Чуковский, он не сохранил в себе ничего парижского. Сначала Познер учился в частной гимназии Шидловского на Шпалерной, а последние годы — с 1919-го — в Тенишевском училище, прославленном многими именами учеников (и уж если говорить о русской литературе, то надо начать с Мандельштама — этого достаточно, чтобы память о Тенишевском училище сохранилась в благодарной памяти горожан).

Питерский дом Познеров (они поселились на Фурштадтской, 9) был литературным. Отец будущего Серапионова брата — Соломон Познер — в справочных книгах Петербурга значился как помощник присяжного поверенного и одновременно литератор (он был журналист и историк российского еврейства). С. В. Познер познакомил сына с литературными знаменитостями Петербурга и Москвы. Впрочем, довольно быстро в такой опеке пропала нужда — Вова сам не пропускал ни одного литературного «мероприятия» в городе, и, как писал о юном Познере Корней Чуковский, «его черную мальчишескую голову можно было видеть на каждом писательском сборище». Чувствовал он себя там, как рыба в воде, — столь уникальная коммуникабельность запечатлена в его альбоме тех лет, заполненном автографами самых знаменитых русских поэтов от Блока до Маяковского…

Редкий дар версификации, отпущенный Вове Познеру, поражал слушавших его выступления. Стихи он писал километрами, легко овладевая литературными манерами всех мэтров подряд, и, когда была возможность, охотно их читал; а напечатаны из тех километров — сантиметры (несколько баллад). Именно в балладном жанре юный автор преуспел в Петербурге (недаром он учился в студии у Гумилева). Любопытно, что в историю советской литературы в качестве поэта, возродившего жанр баллад, прочно вписано имя Николая Тихонова, хотя баллады Познера в его устном исполнении были известны современникам до появления «Орды» и «Браги». Они ладно сбиты, и, хотя в них говорится о том, чего автор не пережил и не перечувствовал, мастерство вытягивает, чужой опыт помогает.

Подробный рассказ о сочиненном питерским вундеркиндом не входит здесь в нашу задачу; важно лишь подчеркнуть: его сочинения к моменту зарождения Серапионов были в литературном Петербурге изустно известны, и вполне широко, и Вова Познер стал одним из самых активных первоучастников Серапионова братства.

В знаменитой речи Лунца «На Запад!», произнесенной перед Серапионами 2 декабря 1922 года, сказано: «Когда два года назад организовывалось наше братство, мы — два-три основателя — мыслили его как братство ярко фабульное, даже антиреалистическое…» Понятно, что Лунц имеет здесь в виду тех основателей братства, которые были западниками (то есть исключает Никитина). Остаются Лунц и Слонимский. Но «два-три» — не два и не три; скорее — 2,5. Кого же Лунц считал половинкой? Думаю — основателя братства, переставшего быть его участником. Шкловского? Но в 1922-м Лунц провозглашал: «Виктор Шкловский — Серапионов брат был и есть», то есть считал братом, но не основателем братства. На роль «половинки» может претендовать лишь Вова Познер, потому что к декабрю 1922-го он с родителями уже полтора года жил на Западе; да и в Питере смотрелся вундеркиндом, хотя среди основателей братства значится законно.

Да, Серапион Владимир Познер — первым среди братьев — оказался на Западе. Это случилось в мае 1921 года. Тем же поездом в отделившуюся от России Литву уезжали родители Лунца. Будучи, как и Познеры, выходцами из Литвы, они имели право туда вернуться, но Лев Лунц уезжать из Петрограда не пожелал (он не знал, что через два года вынужден будет покинуть родину из-за тяжелой болезни, спастись от которой не сможет и в Германии), а Вове Познеру, хотя и не хотелось покидать питерских литературных друзей, ехать с родителями пришлось —

он был на три года младше Лунца и самостоятельно решать своей судьбы права не имел. В Литве Познеры не задержались и вскоре двинулись в Париж. Там юный Познер поступил на историко-филологический факультет Сорбонны.

Ему было дорого все связанное с Россией, и он искал контактов даже с русской эмиграцией, враждебной тому, что так захватывало его в Петрограде. Осенью 1921-го Познер писал в Берлин бежавшему туда А. М. Ремизову, одному из серапионовских учителей: «Я как-то спросил у Тэффи, как живут здесь русские писатели. — Побираемся. И, действительно, как-то духовно побираются. Они уже ничего хорошего не напишут». Таков был его взгляд на русский Париж 1921 года.

Молодой Познер слал уйму писем в Россию, но ответный поток был хилым и быстро иссяк вообще. Николай Чуковский в конце жизни вспоминал: «Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно… Уехав, он сначала продолжал жить интересами Студии и „Серапионовых братьев“. Потом письма стали приходить реже… Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась». Все так и было, только «перепиской» это не называется, иначе бы осенью 1921 года Познер не запрашивал Ремизова, покинувшего Петроград через четыре месяца после него: «Где Корней Иванович и семейство? Я так давно не имел ни от кого писем!.. Я ничего, ничего, ничего не знаю». Есть в этом же письме и абсолютно взрослые соображения о писательском деле: «Ничего не пишу. И, кажется, не случайно. Вне России писать нельзя, а о другом не стоит. Не правда ли? Я думаю, самое главное — запечатлеть современность. Но нельзя писать о голоде, когда сыт, о холоде, когда тепло. Я боюсь, что не буду больше писать». И почерпнутые из эмигрантских газет холодящие сердце питерские «новости»: «Александр Александрович умер. Николая Степановича расстреляли»…

В 1922 году, в каникулы, Познеру удалось съездить в Берлин, тогдашнюю столицу русской эмиграции — там обитала масса писателей, включая тех, кто еще не решил своей судьбы (одним предстояли Париж и предсказуемая нищета, другим — непредсказуемая Москва). В Берлине, где Познер побывал еще и весной 1923-го, он чувствовал себя в родной стихии — познакомился с лично незнакомыми ему Белым, Пастернаком, Эренбургом; встречался с Горьким, Ходасевичем, Шкловским; читал стихи и снова произвел сильное впечатление. Белый взял его стихи в «Эпопею», Горький и Ходасевич — в «Беседу». 10 октября 1922 года в берлинских письмах двум Серапионам содержалась информация о Познере. Максим Горький сообщал Слонимскому: «Вчера у меня был Вова Познер, читал две хорошие

поэмы: „Лизанька“ и „Вся жизнь г. Иванова“, — славный поэт и хороший парень». А Илья Эренбург — Полонской: «Еще здесь Познер… Очень милый мальчик. Стихи пока плохие. Белый возвел его в Пушкины — как бы не свихнулся».

Горький письмом не ограничился — в статье о Серапионовых братьях, напечатанной по-французски дружески расположенным к нему бельгийским писателем Францем Элленсом, он информировал Европу: «Мне очень нравятся баллады В. Познера, юноши, живущего ныне в Париже, где он учится в Сорбонне и откуда весною, кончив курс, намерен вернуться в Россию в круг „Серапионовых братьев“»…

Это намерение, если оно и возникало у Познера, осуществлено не было. Жизнь его сложилась иначе.

Закончив в 1924 году Сорбонну и получив диплом специалиста по литературе, Познер пустился в свободное плаванье. Он по-прежнему писал по-русски — правда, совсем иные стихи, не баллады — и в 1928-м собрал их в свою единственную поэтическую книгу «Стихи на случай 1925-28 гг.», писал также статьи и, кроме того, начал заниматься переводами (с французского на русский и с русского на французский).

3 января 1925 года Познер лихо писал Шкловскому в Москву о его книге: «Я буду переводить „Сентиментальное путешествие“ для одного французского издательства. Придется сократить: французы не выдерживают слишком длинных книг, а кроме того, в „С. П.“ есть вещи для них никак не интересные… Насчет денег вот. С Россией нет договора, потому обычно французы не платят русским авторам ни копейки. Но я тебе пошлю треть своего гонорара… У меня к тебе просьбы. Во-первых, печатай почаще мои статьи. Во-вторых, устрой мне перевод какой-нибудь книги на русский. Мне до отчаяния нужны деньги… Ответь немедленно, иначе я сознательно изуродую „С. П.“ и напишу твою биографию с соответствующими подробностями. Послезавтра мне двадцать лет…»

В 1929 году в литературной жизни Познера произошла серьезная перемена — он стал французским литератором. И конечно, первая его книга по-французски была о России, точнее — о русской литературе. Это знаменитая «Panoramas de la littératures contemporaines. Littérature russe, par Vladimir Pozner». Во Франции она выдержала не меньше четырех изданий. Книга состояла из хронологически последовательных разделов: 1885–1900 (от Анненского до Брюсова и от Горького до Бунина, включая Мережковского и Розанова); 1900–1910 (от Блока и Вяч. Иванова до Л. Андреева и Ремизова); 1910–1915 (от Кузмина до Северянина, включая Ахматову, Мандельштама, Маяковского и

Хлебникова); 1917–1929 (здесь перечень имен пестр и также впечатляющ: Есенин, Пастернак, Цветаева, Тихонов, Замятин, Пильняк, Шкловский, Лунц, Вс. Иванов, Сейфуллина, Федин, Леонов, Зощенко, Бабель, Каверин, Эренбург, Тынянов, Алданов; заметим, что отсутствующие Платонов, Булгаков и Набоков еще были почти не известны). Персональные главки перемежались тематическими. Свобода, неангажированность, эрудиция, вкус и понимание сути обозреваемого легко прочитываются уже в перечне имен. Чудовищная селективная система, внедренная в России после отъезда Познера из Петрограда, никак его не коснулась в этой книге. Русским читателям столь объективная картина русской же литературы того времени открылась лишь через 60 лет. Французские любители русской литературы оказались счастливее советских.

В том же 1929 году в Париже издали и составленную и переведенную Познером книгу «Antologie de la prose russe contemporaine». Обе книги он прислал в Москву и Ленинград друзьям. В опубликованных письмах к Познеру Пастернака (1929) содержатся любопытные оценки этих книг. Об «Антологии» Пастернак писал 1 мая, «под беспрерывное следованье оркестров»: «Насколько могу судить— переводы превосходные… Если отбросить ваше лестное ко мне отношенье и обратиться к остальным характеристикам, надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью…» Что же касается познеровской истории русской литературы, то, восторженно отозвавшись 13 мая о первых трех частях книги, Пастернак недоуменно отметил в четвертой отсутствие Демьяна Бедного и Николая Асеева («поэта мирового и бессмертного») — но это замечание в большей степени относится к автору письма, нежели к Познеру.

В 1932-м вышла публицистическая книжка Познера «URSS», и следом русская (вернее — советская) тема перешла в его романы; затем были книги об Испании, США и т. д. Нельзя умолчать о вступлении Познера в 1932 году во Французскую компартию и о том, что в 1934-м его впустили в Москву в составе французской делегации на Первый съезд советских писателей (наряду с Мальро, Арагоном и Ж-Р. Блоком). Потом он участвовал в мировой войне, а оккупацию Франции перетерпел в США. Много чего еще было в этой относительно благополучной жизни, в течение которой он оставался неизменно лояльным к советскому режиму.

В 1965-м эта лояльность была оценена, и в Москве издали по-русски его роман 1942 года «Траур за сутки», переименовав в «До свиданья, Париж», а Виктор Шкловский похвалил его под

заголовком «О войнах и людях» (Познер написал ему: «Очень было бы любопытно узнать или угадать, как к твоей статье отнеслись у вас, в частности, старинные наши друзья». Была в этом письме еще одна приписка — прощание с другом юности: «Как глупо, что Коли Чуковского больше нет. Я не верю…»).

Последний раз Познер был в России за год до смерти и никого из Серапионов уже не застал в живых…

В. С. Познер

52 Рю Мегатиль 12.63

Дорогая Елизавета Григорьевна.

Очень был рад получить Ваше письмо и так долго не отвечал по независящим от меня обстоятельствам. Жаль, что на этот раз мы с Вами не увиделись, но я еще не был в состоянии путешествовать: сидел в Москве или под Москвой, в санатории. Впрочем, Дуся Вам обо всем этом, вероятно, рассказала.

Спасибо за хорошее отношение к моей книге. Жаль, что она вышла и выходит на всех языках мира, кроме русского.

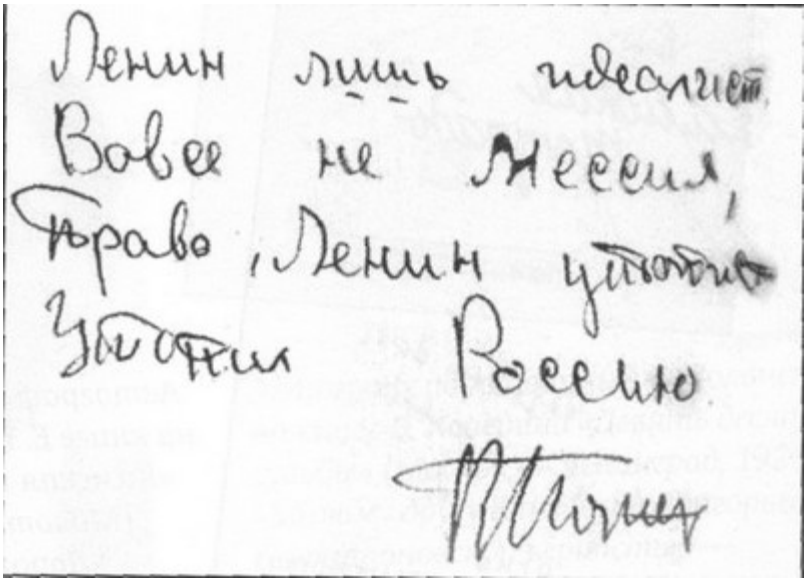
Да, в следующий раз обязательно приеду в Ленинград и, наконец, посмотрим друг на друга и поговорим.

Поздно уже поздравлять с Новым годом, а я Вас все-таки поздравляю.

До скорого

VP

Письмо В. С. Познера Е. Г. Полонской 1963 г.



Запись В. С. Познера в альбоме «Чукоккала».

Евгений Шварц, классик

Евгений Львович Шварц появился в Питере в 1921 году и остался здесь жить навсегда. В пантеоне питерской литературы XX века он занимает место почетное и неоспоримое.

Человек актерского дарования, Шварц легко вписался в атмосферу тогдашнего петроградского Дома Искусств на Мойке. Среди множества развлечений обитателей Дома Искусств было придуманное юным Львом Лунцем «Живое кино» (это были пародии на западные кинобоевики, разыгрываемые перед публикой вытащенными из нее же «актерами» по наметкам Лунца). Импровизационный дар Шварца сделал его незаменимым конферансье «Живого кино», конкурировать с ним не мог даже Зощенко.

Обитатели Дома Искусств ценили конферанс Шварца, а он мечтал только об одном — стать писателем.

Серапионы, собрания которых Шварц посещал, относились к нему добродушно. Вскоре начали выходить книги старших Серапионов (Шварц был человеком их возраста), и слава мало-помалу осеняла своим крылом Зощенко, Вс. Иванова, Федина; уже и младшие Серапионы Каверин и Лунц становились известны читающей публике, а Шварц все оставался милым и симпатичным импровизатором. Боготворя литературу, он обладал зорким глазом и человеческие черты обожаемых им литераторов подмечал безошибочно (его воспоминания «Белый волк», вызвавшие шок у литературной публики, — лучшее тому подтверждение).

Стать писателем Шварцу помог Маршак, с бешеной энергией создававший детскую литературу. Маршак находил новых авторов и заставлял их писать. Так возник и детский писатель Евгений Шварц, автор тоненьких иллюстрированных книжек в стихах и прозе. И потом — уже в зрелые годы — Шварц все числился по ведомству детской литературы. Многие считали, что именно это его и спасло, потому что детских писателей-де не трогали, их прорабатывали лишь совпедагоги. «Любые тупые педагоги все же менее страшны, чем следователи», — сказано в этой связи в одних воспоминаниях о Шварце. Но это не совсем так. Обэриуты, также получившие с легкой руки Маршака официальный статус «детских писателей», познакомились не только с тупыми педагогами, но и со следователями. (Шварц восхищался гениальностью обэриутов, но и страдал от них — они не принимали его всерьез, как, впрочем, и всех современных им литераторов.)

Шварц нашел себя поздно, лишь в 1930-е годы создав свой жанр — драматургию сказки, единственную в своем роде. XX век обратился к античной мифологии, сделав ее сюжеты основой новой драматургии. Мифология описывалась, классифицировалась, изучалась и вместе с тем приспособлялась для текущих литнужд. Шварц не заглядывал в литературные дебри, ему хватило Ганса Христиана Андерсена, вполне популярного в России начала века. Самые знаменитые свои сказки Шварц написал, откровенно заимствуя андерсеновские сюжеты, и так были созданы вещи, совершенно новые в литературе. Впрочем, и в киносценарии «Дон Кихота», где Шварц не придумывал новых сцен, он не использовал ни одной реплики из романа — все «слова» написаны им.

В советское время «Голого короля», «Тень» и «Дракона» называли антифашистской трилогией, связывая ее события с фашистскими режимами Европы 30-х годов. Этот эвфемизм отошедшей эпохи, как и прочие ее эвфемизмы, требует тщательного описания, тем более что мы уже начинаем забывать столь волшебный язык, которым замечательно владели. Между тем и вне советской лексики «трилогия» Шварца — несомненно антифашистская, причем с весьма широким адресом: про все времена и про многие народы.

Шварц легко и быстро начинал свои пьесы и долго, мучительно их завершал. Сказка должна кончаться весело, радостно, счастливо — это любили и зрители, и цензура. Однако счастливые концы сказок Шварца хоть и помогали им пробиться на сцену, но путь этот легким не делали.

Всю жизнь Шварц прожил среди людей театра, литературы, кино, и когда после войны он начал писать прозу, то наряду с воспоминаниями о детстве и юности именно портреты друзей и знакомых составили ее основу. Эти воспоминания Шварц звал «Ме» и писал их в амбарные гроссбухи дрожащим почерком, который Илья Эренбург сравнивал с рисунками Джакометти. Рассказывая об очень ему симпатичном писателе Алексее Ивановиче Пантелееве, Шварц заметил, как это приятно и непривычно писать о близких беспристрастно. Последнее слово кажется неточным — оказалось, что веселый, вроде бы всеми любимый, обожавший шутку, поесть и выпить, посудачить о бытовых подробностях бытия Шварц был не только зорким, но и жестким прозаиком. Его «Ме» содержат массу удивительных наблюдений, фактов, суждений; иногда Шварц создает емкий портрет двумя словами (таков Григорий Козинцев — «смесь мимозы и крапивы»).

Правило зоркого глаза и неотменяемой памяти не знает у

Шварца исключений, и о погибшем в 1937-м Олейникове или просидевшем в тюрьмах и лагерях 8 лет Заболоцком Шварц пишет без мемуарного сиропа, сострадание для него — не основание для лакировки.

Однажды кто-то из сталинских лауреатов соцреализма (кажется, Ю. Герман) заметил Шварцу, что он-де все сказочки сочиняет, на что получил немедленный ответ, что сказочки о нашей жизни сочиняете вы, а я пишу правду.

В основе сказок Евгения Шварца лежит глубинное понимание природы человека. Именно потому так виртуозно удалось ему изобразить тоталитарное общество: Шварц знал его фундамент — психологию граждан.

Шварц жил и работал в советской среде, но сохранял способность глядеть на нее со стороны, поэтому он никогда не был в прямом смысле «советским писателем» (не был Шварц и «антисоветским писателем», что требовало в СССР в те годы личного мужества, но само по себе не давало результата, отличного от того же соцреализма; Шварц был просто настоящим писателем).

Власть оказалась не так глупа, как хотелось бы, и опасную силу сказок Шварца распознавала точно. В этом смысле показательна судьба «Дракона», пьесы, можно сказать, гениальной. Шварц начал писать ее еще до войны, а закончил в эвакуации в Сталинабаде в 1943-м. Поначалу Комитет по делам искусств «Дракона» разрешил, но через некоторое время пьесу разнесли в «Правде», и лучшие московские театры, собиравшиеся было ее ставить, от этой затеи отказались.

Один только Н. П. Акимов, верный друг Шварца всю его жизнь, довел работу до конца и добился разрешения на публичный ее показ. Это было в Москве в августе 1944 года. Помню, как 20 лет спустя на встрече со студентами Ленинградского университета Николай Павлович рассказывал об этом представлении: как его прямо из зрительного зала доставили в Комитет по делам искусств и начальник, лицо которого, как заметил Акимов, было «серое в полосочку», указуя перстом в потолок, прошипел: «Вы знаете, что сейчас там творится?» — он имел в виду реакцию своего начальства на крамольный спектакль.

Сталинская система узнала себя в «Драконе», и спектакль запретили.

Акимов возобновил спектакль в 1962-м, во второй пик «оттепели», но заморозки начала 1963-го сделали свое дело, и в «Вечернем Ленинграде» появилась статья «Куда идет Театр Комедии?», написанная в лучших сталинских традициях.

Хрущевская система узнала себя в «Драконе», и спектакль запретили.

Начиная с середины 80-х «Дракон» чувствует себя на российской сцене вполне привольно, но мы не знаем, надолго ли у нас искусство отделено от государства. Мы не знаем, что будет со страной и что увидят в «Драконе» упивающиеся собственным беспределом силовики, неоткровенные президенты и бесстыдные фюреры.

А потому в судьбе «Дракона» точка еще не поставлена.

* * *

«Непостижимо, как автор этой книги мог написать „Дракона“!»— воскликнул знакомый литератор, прочитав «Телефонную книжку» Шварца, показавшуюся ему сугубо бытовой.

«Жизнь сложна, — ответствовал я, — и Шварц тоже не прост».

Найдя драматургическую форму, адекватную его дару, Шварц оставил за бортом своих пьес и сценариев массу милых и памятных ему деталей реальной жизни, портретов и событий. Обаятельный, улыбчивый со всеми, обожавший походы в гости и застолье, охотно обсуждавший подробности жизни знакомых, Шварц хранил в памяти пеструю и отнюдь не розовую картину окружавшего его быта и чувствовал потребность словесного ее отображения.

В итоге склонность к прозе реализовалась в огромном «Дневнике», первый блок которого (1926–1941) автор уничтожил, покидая Ленинград в конце 1941 года, а второй (1946–1958) сохранен и составляет 37 гроссбухов, заполненных дрожащими шварцевскими письменами. Гроссбухи, хранящиеся в РГАЛИ, ждали не только эпохи гласности, но и человека, который займется ими всерьез. Многолетний труд К. Н. Кириленко по расшифровке дневников Шварца теперь становится доступным читателю — в 1990 году вышел 700-страничный том избранных записей, в 1997 году издательством «Искусство» выпущена «Телефонная книжка», впервые напечатанная полностью (некоторые из опубликованных прежде портретов были сокращены, — скажем, Панова и Кошеверова остались без своих мужей — писателя Дара и оператора Москвина, Бианки без пьянства и т. д.)

Собственно от дневников в «Дневниках» Шварца лишь датировка записей, по существу, это мемуары; чисто дневниковых, сиюминутных записей в них немного. Почувствовав,

что в мемуары не вписывается многое, о чем и, скорее даже, о ком ему хотелось рассказать, Шварц придумал «Телефонную книжку» — мемуары, композиционным принципом которых служит не хронология, но алфавит, а способом выборки — имена лиц и учреждений из его ленинградской и московской телефонных книжек. Воплощение едва ли не шуточной идеи потребовало длительной работы (19 января 1955 — 11 октября 1956) и дало том в 550 страниц (в записи 15 августа 1956 года Шварц вдруг назвал «Телефонную книжку» романом, но со времен «Мертвых душ» спорить с авторами на сей счет не принято).

Принцип, декларируемый и неукоснительно соблюдаемый Шварцем в «Дневнике»: «зачеркивать, переписывать и обрабатывать не разрешается» — дополнен еще одним: рассказывая о писателях, Шварц не говорит об их книгах, живописуя режиссеров, актеров, художников, ученых, он не пишет об их спектаклях, фильмах, ролях, полотнах и рисунках, научных трудах. Мир «Телефонной книжки» — мир кулис. Хотя Шварц знает чудо преображения бытового человека, выпархивающего на просцениум, к белому листу бумаги или холсту, пишет он портреты вне того главного, что создано его персонажами. И получилась бы галерея анатолей франсов в халатах, кабы не историческая проекция их на чуму 1937-го, войну и «черное, лихое время» (если пользоваться клеймом Козинцева) последних сталинских лет.

«Телефонная книжка» писалась набело, после основной литературной работы, без предварительного тщательного продумывания, а потому персонажи ее составили две группы. Одни — ясные и понятные автору, вызывающие, независимо от меры симпатии и антипатии, немедленное желание писать (Акимов и Трауберг, Кетлинская и Вс. Рождественский, Колесов и Кадочников), иногда это и люди, очень близкие Шварцу (скажем, М. Слонимский или А. Шварц). Другим не повезло — это либо те, кого Шварц знал хорошо, но не решался это знание доверить бумаге (Ю. Герман, Л. Пантелеев, О. Берггольц), либо фигуры, пугающие его своей неоднозначностью, требующие предварительных напряженных раздумий (Шкловский, Эренбург и т. д.). Во всех этих случаях Шварц отказывается от попытки портрета, читателю остается только вздохнуть…

«Телефонная книжка» населена не только работниками «творческих профессий», но и врачами, администраторами, работниками службы быта, просто знакомыми. Особенно пронзительны страницы, посвященные женщинам, — перед их самоотверженностью Шварц благоговеет (таков портрет Е. В. Заболоцкой. Здесь, заметим, неполнота шварцевского описания

вынуждает его подчеркнуть: сила Заболоцкого «в том, что он пишет, а не в том, что вещает подвыпивши»).

Шварц — редкий случай художника, не испорченного советской лексикой. Политика ему отвратительна и не интересна, он воспринимает ее как природную катастрофу («Мы жили как в бочке, сброшенной с горы. Нас колотило и швыряло, лупило»). Шварц любил Чехова, и роль прокурора была не по нему. Говоря о травле Зощенко, он написал: «Некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступени, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось взгромоздиться». Это не декларация, это убеждение; портреты «Телефонной книжки» его подтверждают.

Иные страницы книги многословны, на других мы чувствуем хватку автора «Дракона», читая, например, о Ю. Завадском, который, опасно раскритиковав в «Правде» друга-режиссера, а потом узнав, что тот тяжело заболел, изрекает: «Да, не умеют у нас беречь людей».

Все, с кем общался улыбчивый Шварц, считали его своим другом. «Телефонная книжка» показывает, как ошибались многие из них: возвращаясь из гостей, Шварц садился за свой гроссбух, и улыбка слетала с его лица.

На форзац «Телефонной книжки» вынесены слова Ильи Эренбурга о Шварце, «чудесном писателе, нежном к человеку и злом ко всему, что мешает ему жить». «Телефонная книжка» подтверждает их правоту.

Е. Л. Шварц. Портрет работы Н. П. Акимова

Афиша Н. П. Акимова к спектаклю «Тень» по пьесе Е. Шварца. Ленинград, 1962 г.

И. Г. Эренбург и Е. Л. Шварц (справа). Ленинград, 1947 г.

Григорий Козинцев: роман судьбы

В старом справочнике писателей Ленинграда режиссер Григорий Михайлович Козинцев числится кинодраматургом.

Что и говорить, ему приходилось работать не только над режиссерскими, но и над литературными сценариями, однако кинодраматургию благополучно оставили за бортом пяти томов его посмертно изданных сочинений — в многообразном и объемном литературном наследии мастера были вещи более значительные.

Реализация обоих дарований Козинцева — режиссерского и литературного — позволила проявить и сохранить для будущего глубину и тонкость его художественной натуры. Наверное, искусство кино стареет быстрее слова (музыка, изобразительные искусства живут еще дольше). Открытую Козинцевым применительно к классикам формулу «наш современник» уже применяли к нему самому, применяли справедливо, но мне кажется, что чем дальше, тем больше живым фундаментом для этого будет становиться не столько снятое им, сколько написанное.

Рабочие тетради Козинцева (их фрагменты впервые вышли отдельным изданием в 1981-м; составитель В. Г. Козинцева) оказались чтением никак не менее содержательным, чем его знаменитые книги «Наш современник Вильям Шекспир», «Глубокий экран» и «Пространство трагедии»; более того — в сравнении с отполированными для печати (то есть для цензуры) страницами рабочие записи выглядят подчас сильнее и по интенсивности мысли, и по непосредственности взгляда, остроте суждений. Этот жанр был — не скажешь иначе — создан для Козинцева.

Мастерство мгновенной фиксации в слове мысли и образа являют и замечательные письма Козинцева, давно уже появляющиеся в периодике. Они вошли в книгу «Переписка Григория Козинцева» — пятьсот с лишком страниц повествования, роман судьбы и главного героя, и его корреспондентов. Литературные и человеческие качества книги таковы, что ее ждет долгая жизнь, — такие романы, если только читатель не ищет секундного развлечения, будут читать всегда.

Козинцев замечательный писатель писем — они живые, раскованные, шутливые и печальные, мудрые по жизни и по искусству, с интересной информацией и нетривиальными размышлениями, всегда искренние и честные. Они — эталон интеллигентности; дистиллированными их никак не назовешь, но

от пошлости они чисты химически.

Как правило, корреспонденты Козинцева пишут ему в тон (исключение — переписка с Шостаковичем — автором лапидарных посланий, передающих немногословный и характерный стиль его речи; Шостаковичу Козинцев всегда пишет точно по делу, боясь лишними словами отвлечь его от работы, в такой скованности ощущается, пожалуй, даже робость, вообще-то письмам Г. М. не свойственная).

Книга прочитывается от корки до корки с нежной благодарностью ее составителям (все посмертные издания Козинцева подготовлены его женой Валентиной Георгиевной; в этой работе ей помогал киновед Я. Л. Бутовский) и с благодарностью — в былую историческую эпоху мы не привыкли придавать этому значения — ее издателю. При этом «Переписка Григория Козинцева» — из тех, не написанных специально, а составленных на основе определенного выбора, книг, прочтя которые поневоле испытываешь желание увидеть ее улучшенное (не только дополненное) издание.

Так было и после выпуска в 1994-м книжки Козинцева «Черное, лихое время…» — сборника записей из рабочих тетрадей, которые не могли войти в издание 1981 года по причине их абсолютной цензурной непроходимости. Когда первое ощущение от этого, одновременно горького и острого, чтения проходило, вспоминалась книжка 1981 года, и рабочие тетради Козинцева воспринимались разъятыми — по цензурному признаку — на две части (условно говоря, эстетическую и диссидентскую). В читательском восприятии поневоле раздваивался и сам образ автора этих двух книг. Возникшая потребность прочесть «Рабочие тетради» в их авторском виде не утолялась изданием потрясающих дополнений к первоначально опубликованному тексту.

Нечто подобное произошло и с перепиской.

В пятом томе «Сочинений» Козинцева его письмам отвели 200 страниц. Отобраны были лучшие — самое содержательное и интересное из проходимого с минимумом купюр; адресаты, естественно, выбирались также самые знаменитые — Эйзенштейн, Шостакович, Пастернак, Шварц, Альтман, Шкловский… Все эти письма Козинцева в его «Переписку» издательство не включило, предпочтя печатать неопубликованное. Был в этом свой резон — «Сочинения» изданы в 25 тысячах экземпляров, тираж «Переписки» — одна тысяча; для читателей Козинцева она естественно дополняет включенное в 5-й том. Так и получилось: письма Пастернака Козинцеву — в «Переписке», а письма Козинцева Пастернаку — в 5-м томе…

В «Переписке Григория Козинцева» все письма печатаются по хронологии. Это естественный способ составления сборников писем; но переписку, особенно протяженную и объемную, интереснее читать блоками, в нашем случае — Козинцев и Юткевич, Козинцев и Шостакович, Козинцев и Трауберг и т. д.

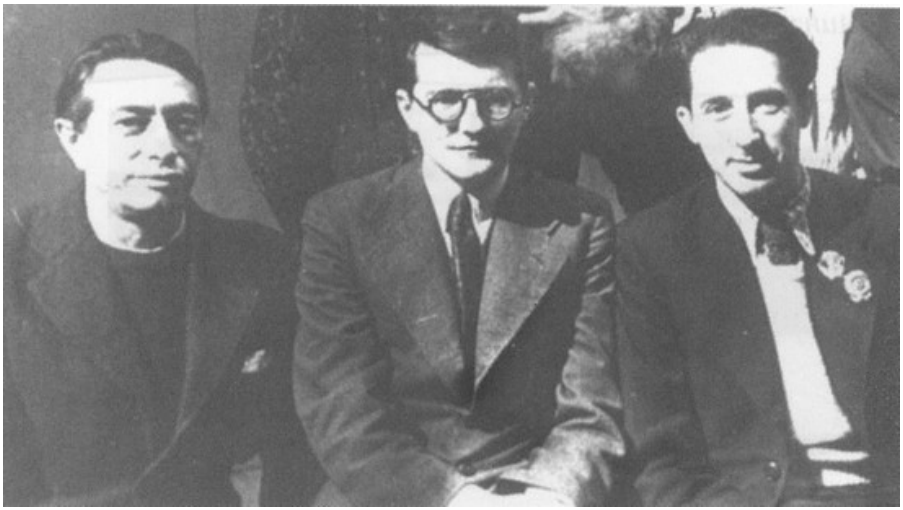
«В молодые годы мне никогда не приходило в голову сохранять переписку. Если бы кто-нибудь, увидев, как я выбрасываю в корзину очередные письма Эйзенштейна или Пудовкина, сказал мне: архив нужно беречь, — я бы, вероятно, не сразу понял, о чем идет речь. Теперь это мне стало понятнее» (Козинцев. «Наброски к воспоминаниям об Эйзенштейне»). Неудивительно, что довоенной корреспонденции Козинцева не сохранилось; с его письмами адресаты поступали бережнее. В итоге довоенная переписка занимает в книге 30 страниц, период 1941–1952 годов — 70; все остальное приходится на послесталинское время.

Тон писем 20-х годов веселый, даже если это письма «министру» кино Шумяцкому (Борис Захарович, еще не знающий, что его ждет сталинская пуля, охотно включается в веселую переписку, обращаясь к Козинцеву и Траубергу не иначе как «Ваши кинематографические высочества»). Потом преобладающей становится — при неизменной ироничности многих посланий — грустная, по временам щемящая нота…

«Переписка Григория Козинцева» охватывает пять десятилетий истории двадцатого века, истории нашей страны, нашей культуры, нашей интеллигенции. Это захватывающе интересное, поучительное и просветляющее чтение… Кто знает, может быть, мы еще увидим ее в расширенном, двухтомном издании…

Г. М. Козинцев. 1930-е гг.

Слева направо: Г. М. Козинцев, Ф. М. Эрмлер и Л. З. Трауберг. Берлин, 1928 г.



Слева направо: Н. И. Альтман, Д. Д. Шостакович и Г. М. Козинцев. Ленинград, 1941 г.

После премьеры «Короля Лира» в БДТ

Современник Мандельштама Борис Лапин

Поэт, прозаик, переводчик Борис Лапин родился в Москве 17 (30) мая 1905 года. Его отец Матвей Осипович Лапин был врач, и на двери их квартиры в Мясном переулке (в доме 26 между улицами Сретенкой и Трубной, принадлежавшем О. Р. Фальку) красовалась дощечка: «Кожные, мочеполовые и венерические болезни. Прием по вторникам, четвергам и субботам с 3 до 5 часов дня». Мои сведения о детстве Лапина — скудны. Знаю только о распаде семьи: отец остался с сыном, жена уехала во Францию, в Париже у нее была новая семья. И. И. Эренбург, вдова Б. М. Лапина, считала и говорила мне об этом, что французская писательница Доминик Десанти — дочь матери Лапина от нового брака (единоутробная сестра Б. М.). Я с Доминик встречался в 1996-м в Париже, но разговора о Лапине не получилось — она рассказывала только об Эренбурге… Биографы Лапина М. Протасова и И. Тёмкина много говорили о своем герое с Ириной Ильиничной, и след этих бесед остался в их книге «Путешествие длиною в жизнь. О Борисе Лапине и Захаре Хацревине»: в частности, в словах об одиноком детстве Бориса и о горькой тени семейной трагедии… Борису Лапину было 12 лет, когда случилась революция, — какая там была учеба. Но, человек книжных интересов и языков, он учился сам. Вот его собственное свидетельство: «Мой отец был врачом, он работал в полевом госпитале Красной армии. Когда мне было пятнадцать лет, я поехал вместе с отцом — это было в 1920 году. Отец перевязывал раненых, я сидел в вагоне, где мы помещались, и читал книжки. В шестнадцать лет я начал писать стихи — книжные, туманные и оторванные от жизни» (в сборнике «Писатели XVII партсъезду»).

Тогдашний друг Лапина Иосиф Кунин (впоследствии историк музыки, литератор и мемуарист) вспоминал: «Я познакомился с Борей Лапиным случайно. Мой друг привел меня примерно осенью 1921 года к своему родственнику Кливанскому. Дело было на Большой Лубянке, я застал там необыкновенно привлекательного мальчика, с которым нас и познакомили. Ему тогда было лет 16. Незадолго до того он вернулся из Тамбовской губернии, где его отец в это время был врачом в армии Тухачевского. О восстании Антонова, охватившем тогда всю губернию, мы не говорили. С самого начала встречи разговор пошел на литературные темы. Боря Лапин (это был он) наизусть прочел нам стихи Хлебникова, мне раньше неизвестные».

Ранние стихи Лапина и знакомство с ними Мандельштама

Лапин писал стихи с 1921 года, тогда же он поступил в Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова (окончил его в 1924-м) и одновременно посещал занятия по стихосложению у Вяч. Иванова в Литературном отделе (ЛИТО) Наркомпроса («Он учил нас ямбам и амфибрахиям, изысканности в стихах, неопределенности строф, сложности в построении фразы и презрению к штампам. <…> В целом это был человек скорее ученый, чем вдохновенный, унылый и слабый, весь в символизме, сын его и отец тоже…» — вспоминал друг ранних лет Лапина Евгений Габрилович).

На коротком временном отрезке самого начала 1920-х годов литературная жизнь Москвы была многослойной и буйной; никогда еще в нее не рекрутировались полчища молодежи, которой нечем было себя занять. И это была жизнь устная: возможности издать полноценную книгу практически не существовало, а вот литературных выступлений и чтений было сколько угодно. Существовала масса литературных групп и объединений, которым иногда удавалось издавать тощенькие сборнички стихов и прозы. За полтора года Борис Лапин прошел через несколько таких групп. Первой (и самой запомнившейся ему) была «Молодая Центрифуга» — своего рода комсомол «Центрифуги», ныне знаменитой преимущественно участием в ней Бориса Пастернака. Лидеры группы С. Бобров и И. Аксенов были для юного Лапина мэтрами, но «Молодая Центрифуга» издала (в мае 1921 года стеклографированным способом объемом 32 страницы) всего одну книжицу, и, сохраняя пиетет к старшим центрифугистам, Лапин формально группу покинул. Поскольку в ту пору он увлекся молодыми немецкими экспрессионистами, то примкнул (вместе с Е. Габриловичем) к теоретику имажинизма и основателю русского экспрессионизма Ипполиту Соколову[35]. Перед тем к Соколову примкнул и поэт С. Спасский. В конце 1921 года вышел сборничек «Экспрессинисты» (16 страниц), в нем напечатали одно стихотворение Лапина («Пальмира») — по-видимому, это его первая публикация, — а также стихи Спасского и Соколова, а также «Вторую, лирическую главу из рассказа „ААТ“» Е. Габриловича. В 1921 году группа экспрессионистов формально распалась, но и Лапин, и Спасский продолжали весь 1922 год числить себя за экспрессионистами…

Следующая группа, в которую вошел Лапин, называлась «Литературный особняк» (она существовала с 1919 года). В самом начале 1922-го вышел подготовленный группой сборник стихов ее малоизвестных участников, незамысловато названный именем

группы; в нем участвовал и Б. Лапин.

А в феврале 1922 года в Москве вышел 2-й сборник стихов Всероссийского союза поэтов. Именно в нем произошла первая встреча стихов Лапина и Мандельштама. Поэты в сборнике располагались по литгруппам, литгруппы по алфавиту: от акмеистов, представленных одиноким Мандельштамом (напечатано только одно его стихотворение «Сестры, тяжелы и нежны, одинаковы ваши приметы»), до экспрессионистов, представленных Спасским и Лапиным (напечатано одно стихотворение Лапина «Спит тютюн. Не движется осока…»). По окончании алфавитного списка шли поэты «Вне групп», среди которых — Цветаева (первая публикация стихотворения «Возвращение вождя») и Сельвинский. Публикацию центрифугистов в этом сборнике украшали два стихотворения Пастернака. Замечу, что в напечатанной в петроградском «Цехе поэтов» рецензии Н. Оцупа на этот сборник утверждалось, что авторами интересных стихов являются лишь три поэта: О. Мандельштам, Б. Пастернак и М. Цветаева, с чем сегодня согласится любой читатель. Мандельштам, скорее всего, этот сборник увидел уже в Москве, куда приехал в конце марта 1922-го; судя по дальнейшему, не исключено, что на стихотворение Лапина он внимание обратил.

Посещая в Москве поэтические вечера, Лапин, вообще говоря, мог присутствовать и на выступлениях Мандельштама в июле 1922 года в «Литературном особняке» и Союзе поэтов. Но утверждать это не берусь, поскольку Мандельштама он числил за акмеистами, а они «левым» Лапиным воспринимались исключительно как «правые». К тому же «мэтр» С. П. Бобров, почитавшийся Лапиным, высказывался тогда в отношении Мандельштама едва ли не пренебрежительно[36].

А вот посещения Лапиным вечеров имажинистов подтверждаются воспоминаниями Е. Габриловича, который, хотя и был старше Лапина почти на пять лет, считал его своим учителем. Габрилович пишет не только о вечерах имажинистов, но и о неудачной попытке Лапина и его самого войти в их группу (вполне серый «Литературный особняк» Лапину явно был не интересен): «В те годы нам с Лапиным очень хотелось попасть в имажинисты. Мы несколько раз приносили им наши стихи. Имажинисты хвалили нас. Они говорили, что мы их ученики, но в группу не принимали». Именно с этим связывает Габрилович создание Лапиным собственной литературной группы «Московский Парнас»: «Душой этой группы был Лапин. <…> Тихий по внутренней сути своей, в узеньком пиджачке, в отцовских желтых ботинках образца 10-го года, в отцовском

докторском галстучке, Лапин выказывал удивительную энергию, создавая „Московский Парнас“. Он привлекал и молодежь и людей постарше. И вот наш „Парнас“ живет, и мы выступаем хором на литвечерах и печатаем вскладчину, частным образом, сборники — группа как группа, не хуже, например „ничевоков“, и Лапин маленьким голосом бормочет с эстрады свои стихи, чуть слышно, порой невнятно, уходя бормотаньем в себя, — совсем не в манере ревущего, рокочущего чтения того времени».

Первая книжка, выпущенная издательством «Московский Парнас» (май 1922-го), называлась «Молниянин» — она включала 14 стихотворений Лапина и рассказ Габриловича «Ламентация». «Молниянин» открывался предисловием обоих авторов, которые, признавая с концом войны крах «орлов российского футуризма», заявляли в постскриптуме: «Лирный глас раздается лишь с тех вершин, где сияют пленительные и нетленные имена наших дядюшек: Асеева, Аксенова, Becher’a, Боброва, Ehrenstein’a, Пастернака и Хлебникова, коими ныне почти исчерпывается светлый мировой экспрессионизм». В этом списке пять отечественных авторов и два тогдашних немецких экспрессиониста. Одно из стихотворений «Молниянина» было обращено к Хлебникову, под чьим явным влиянием (наряду с немецкими романтиками XIX века) Лапин находился:

В.В. Хлебникову
Вчера его лазурный локоть
Задел мурейные лады,
И там раздался мирный клекот
Дыханья утренней звезды,
Возницы вскормленная морда
Учила: «Говори, гори»,
Не задевая гексахорда
Всей гениальностью зари.
Но он налег на листья лиры —
Грудь, гриф подводного коня,
И растворились двери дня,
И звезды опустили зиры.

Своеобразие поэтического таланта Лапина в «Молниянине» оценил в журнале «Печать и революция» Брюсов[37], подаривший ему свою книгу «Дали» с надписью: «Борису Матвеевичу Лапину Валерий Брюсов 26 июля 1922». (Борису Матвеевичу было всего семнадцать.)

Издательство «Московский Парнас» в 1922 году выпустило два одноименных коллективных литературных сборника. Первый

в продажу не поступал и в книгохранилищах не зафиксирован, про него, кроме названия и объема в 64 страницы, мне ничего не известно; второй сборник вышел в ноябре 1922-го — в нем напечатаны три стихотворения Лапина и его переводы с немецкого: стихотворение Георга Гейма, Теофила Мюллера и Якоба Ван Годиса[38], а также рассказ Лапина и Габриловича «Крокус Прим». В книге было объявлено, что печатается сборник Лапина «1922-я книга стихов» и готовятся к печати «Незабываемые рассказы» Лапина и Габриловича, которые не вышли.

Вторым сборником Лапина стала «1922-я книга стихов». В нее вошло 47 стихотворений, декларативное предисловие автора, датированное 15-10-1922, и, в качестве послесловия, «Посылка» Е. О. Габриловичу, подписанная «Б. Лапин. 21923» (что, надо думать, означает февраль 1923-го). Эта «Посылка» не содержит никаких намеков на интерес к поэзии Мандельштама; более того, слова: «Слава слова, колеблемая „слева“ — Заумьем и „справа“ — Всяческой Акмэ, воскресает силою Брентано и Хлебникова…» — подтверждают устойчивое пренебрежение к акмеизму и сохраняющееся преклонение перед Хлебниковым; последнее подчеркивается и публикацией в «1922-й книге» стихотворения:

На смерть Хлебникова

Он мечтательно и ложно
слушал божьи голоса,
стол был убран так роскошно,
а на блюде небеса,
и ничтожные былинки
там устроили поминки.
Как вихрь букв бил в блед —
ный розовый закат
мира черного, как след
окрылатых мириад,
так РИНЬ РОЙ, ИГРЕНЬ, ПЕСНЬ!
Построен маленький чел —
нок,
в этом челноке ты уплываешь
куда-нибудь на восток,
где нет ни лести, ни неба,
а синие шляпы и нанковые штаны.
Там ты будешь

разговаривать и курить.

Забавно, что среди 47 датированных и недатированных стихотворений «1922-й книги стихов» в нескольких зашифрованно указывается время написания и «партийная принадлежность» автора, шифры такие: «Ц.Ф.Г. 22» — то есть «Центрифуга», 1922, и «М.П.22» — то есть «Московский Парнас», 1922.

Ряд стихотворений связан с немецкой темой — эпиграфы (Шиллер и Шлегель), сюжеты, отсылки (Клейст, Тик, Брентано, Эйхендорф, Фуке и, разумеется, Эрнст Теодор Амадей…). Все это благополучно уживается не только с Лермонтовым, Марлинским или Фетом, но и с «Центрифугой». Вот характерное стихотворение:

Кант зарыт

Кант зарыт наверно
в плотный ночи ров,
сказал нелицемерно
великий Сергей Бобров.
Над Канта могилой
месяц, ночи бант,
освещает милый
ров, где тлеет Кант.
Пусть он там навечно,
и покоясь, спит,
муза нам беспечно
свой цветок дарит.

«1922-я книга стихов» раздосадовала Брюсова, и он в своем обзоре поэзии, назвав Лапина «полудебютантом», ее разругал: «Только этой осенью появились его первые стихи в печати (сборник „Молниянин“). В свое время они дали повод говорить о таланте молодого поэта; тем серьезнее должно отнестись к его новой книжке. В сущности в ней тот же Б. Лапин, как полгода назад, но что в первый раз может быть сочтено своеобразием, при повторении начинает походить на оригинальничанье. Стихи Б. Лапина, большею частью, мало вразумительны. Это не значит, что нельзя доискаться в них смысла. Читавший Маллармэ, декадентов, футуристов сумеет дешифровать ломаную речь Б.

Лапина, однако, поэтическая речь вправе отличаться от прозаической не одной образностью, но и синтаксически *только ради чего-нибудь*, — для большей выразительности, большей сжатости. Ломать язык, чтобы не говорить как другие, — ребячество. Зачем изломана речь Б. Лапина часто неясно».

Свои ранние стихи сам автор в совершенно иную эпоху, в 1934 году, оценивал, как «книжные, туманные и оторванные от жизни», между тем как его «ученик» и впоследствии вполне успешный писатель Евгений Габрилович в 1968-м, идеологически отнюдь не либеральном, году оценивал их иначе: Лапин «увлекался Тиком, Брентано и писал стихи тонкие, словно вздувавшиеся на ветру. Это была поэзия редких слов, скорбных образов, одна из самых сильных в те годы»[39].

В воспоминаниях Габриловича содержится портрет Лапина 1923 года: «Б. М. Лапину было тогда лет восемнадцать, он был худ, я бы сказал — костляв, невысок, черен, с большим лбом и чудесным взором. <…> Он увлекался немецкими романтиками и русскими „центрифугистами“ — группой поэтов, казавшихся нам пожилыми, но состоявшей из очень молодых литераторов: Аксенова, Пастернака, Боброва и кое-кого из других. Мои сочинения гимназических лет, которые я ему показал, Борис Лапин назвал сиропом, кашей и реализмом и сказал, что так сейчас пишут только дамы в пенсне. Он велел мне прочесть Рембо и Клейста и начать сызнова, со стихов, а не с прозы. <…> Он писал, казалось, всегда: по ночам, за обедом, во время прогулок и диспутов, в театре, в кино. Он писал на ходу, иступленным огрызком карандаша». И это не последняя здесь цитата из Габриловича.

Можно утверждать, что личное знакомство Лапина с Мандельштамом состоялось в Москве в конце 1922-го. Оно и послужило началом их отношений, продолжавшихся вплоть до самого 1938 года.

Вот свидетельство из «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам: «На нашей полке, появившейся в тридцатые годы, совсем не было поэзии XX века — только Анненский, акмеисты — Ахматова и Гумилев, да еще две-три случайные книги. Поэзию XX века ОМ пересмотрел в 22 году. Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали ОМ антологию русской поэзии от символистов до „сегодняшнего дня“. Антология открывалась Коневским и Добролюбовым, а кончалась Борисом Лапиным. ОМ, как обычно, искал у поэтов удач: у Добролюбова „Говорящих орлов“, у Бальмонта „Песню араба, чье имя ничто“, у Комаровского „На

площади одно лишь слово — даки“, у Бородаевского — „Стрижей“, у Лозины-Лозинского — „Шахматистов“. Он с удовольствием переписал два-три стихотворения Бори Лапина — что-то про умный лоб и „звезды в окнах ВЧК“ и еще „Как, надкусывая пальцы астрам, Триль-Траль[40] целовал цветы“. <…> Антологию запретили, потому что ОМ не включил в нее поэтов, которым уже тогда покровительствовало государство, то есть пролетарских. <…> От всей этой работы осталось только несколько листков верстки».

Сначала разберемся с переписанными Мандельштамом стихами Лапина. Легче всего назвать стихотворение со строчкой о Трилль-Тралле — хотя бы потому, что листок, на который Мандельштам переписал это стихотворение, Н. Я. Мандельштам в 1960-е годы подарила вдове Лапина Ирине Ильиничне Эренбург. Вот переписанный Мандельштамом текст:

Лес живет

Под давлением косого ветра
расцветает стиха цветок.
Тянется к рассвета
тени стебелек.
Там, надкусывая пальцы астрам,
Трилль-Тралль целовал цветки
и все знали какой он страстный
по хрусту мертвой руки.
Он пел и лес, ему вторя,
становился все светлей
И серым камешкам руки
целовал ручей.
О вы, журчите в овражках,
Е и А, пой златое И,
пей из У глубокого полдня.
Все это разбрасывают соловьи,
все это обрушивается,
все это летит, летит
на удивленный мир
и прямо в лицо богу,
улыбаясь, лес.

Как видим, Н. Я. привела две строчки почти точно — работая над «Воспоминаниями», она этого листка перед собой не имела,

но в 1960-е годы его, несомненно, перечитала и помнила.

Что касается стихов, где «что-то про умный лоб и „звезды в окнах ВЧК“» — то речь идет о следующем стихотворении Лапина:

1920

Ты сведешь меня с ума
Злостью, пухлая зима.

Дни цветут губастой страстью
Отмороженной руки,
Так порвать их на куски,
Раздавить их теплой пастью.

Звезды в окнах М.П.К.
Ночь; нежнейшая простуда;
Бьет костяшки «Ундервуда»
Ночь; раздавленный сугроб.

Плоский, умный, мертвый лоб
На рыдучих горевальцев
Усмехался под стеклом.

Муза, скройся! А потом
В писчей судороге пальцев!
Как перо, лети в припадке,
Округляйся стих, как сыр.

Собирай свои монатки,
Драгоценный мой кумир.

Это стихотворение напечатано в книге «Молниянин». И. Кунин пишет, что это стихотворение о Ленине: «„Рыдучие горевальцы“ — это мы все, и на нас с усмешкой смотрит из-под стекла „умный, мертвый, плоский лоб“. Лапин сказал нам с сестрой: это — о портрете Ленина». Как видим, Н. Я. помнила про упоминавшуюся там аббревиатуру, но в ее памяти расхожая ВЧК вытеснила вышедшую из употребления М.П.К. (Московская Потребительская Коммуна[41]).

Три аргумента: 1) то, что Н. Я. подарила И. И. Эренбург только *один* листок (с текстом стихотворения «Лес живет»), 2) что она не помнила точно, сколько (2 или 3) стихотворений Лапина

Мандельштам переписал, и 3) что она смогла привести более или менее точно две строчки только из стихотворения «Лес живет» — говорят в пользу предположения, что в 1960-е годы Н. Я. второго листка не видела, а значит — уцелел лишь один листок со стихотворением Лапина, переписанным Мандельштамом, а второй и, возможно, третий — утрачены (так что память Н. Я. по части упомянутой Лапиным «ВЧК» — давнего времени).

Теперь о том, как мог Мандельштам получить тексты Лапина.

Стихотворение «Лес живет» напечатано в «1922-й книге стихов», вышедший в 1923 году. Эта книга анонсировалась во втором сборнике «Московского Парнаса», вышедшего в конце ноября 1922-го, и, скорей всего, издана *в начале* 1923-го (Брюсов писал о ней в апрельском номере «Печати и революции») — так что, скорей всего, в конце 1922-го, когда Мандельштам составлял «Антологию русской поэзии от символистов до наших дней», лапинская «1922-я книга стихов» еще не вышла из печати, и с вошедшими в нее стихами составитель «Антологии» мог познакомиться только по рукописи. Что касается выпущенной «Московским Парнасом» в мае 1922 года книжки «Молниянин», то естественно предположить, что ее передал составителю «Антологии» автор и глава издательства — Б. М. Лапин. Таким образом, можно считать, что личное знакомство Мандельштама с Борисом Лапиным состоялось в конце 1922 года.

Мандельштам, отбирая стихи для «Антологии», видел стихотворения Бориса Лапина на фоне огромного потока тогдашнего рычащего виршеплетства (недаром он отверг убогие сочинения пролетарских поэтов), и, мне кажется, самый образ семнадцатилетнего московского мальчика, в котором проглядывала серьезность, всепоглощающая страсть к литературе и жизни, к языкам, неожиданным знаниям, человека, увлеченного Хлебниковым, тихого и глубокого, — способствовал интересу Мандельштама к стихам Лапина. Интерес этот в 1922-м (когда Лапин знал лишь «Камень») не был взаимным, но, начиная с «Tristia», поэзия Мандельштама в жизнь Лапина вошла. И тот факт, что встречи их продолжались до самого 1938 года — подчеркну: с Мандельштамом, а не прописанным по «партийной» программе «центрифугистом» Пастернаком (поэтом, разумеется, не менее значительным, но с Лапиным, сколько понимаю, лично не пересекавшимся), — думаю, заслуживает того, чтобы быть специально отмеченным.

Закончим канву ранней поэтической работы Лапина.

Группа и издательство «Московский Парнас», по-видимому, в том же 1923 году, когда вышла «1922-я книга стихов», перестали существовать. Во всяком случае, две следующие книги стихов Б.

Лапина: «Гимны против века» (стихи 1923 года, написанные в его первую поездку в Таджикистан) и «Бессонная ночь» (стихи 1924–1925 годов) — изданы не были; лишь в 1975 году, готовя к печати книгу избранных стихов Лапина и Хацревина (она вышла в 1976 году под названием «Только стихи»), составитель Константин Симонов включил в нее четыре стихотворения Лапина 1923 года, одно — 1924-го и тринадцать — 1925-го. Но это уже стихи совершенно иные — в них чувствуются отголоски реальных впечатлений жизни. Назвать их маловразумительными Брюсов бы никак не мог, и советская цензура через полвека их пропустила. Отход Лапина от поэтики Хлебникова не прекратил его встречи с Мандельштамом — они становились все более дружескими.

Взрослый Лапин и его встречи с Мандельштамом

С 1925 года шаг за шагом Лапин становится писателем-путешественником. И тут, говоря о начале этой перемены, снова процитирую Габриловича: «В этом маленьком человеке в очках жил беспокойный дух путешественника. Помню, я ехал в Ялту. Борис пошел меня провожать. Стоял апрель, холодное московское время, Борис был в пальто и в галошах. Мы сидели с ним в ожидании отхода поезда, когда к нам подошел человек, сказавший, что у него есть лишний билет в Севастополь. Лапин тут же купил билет. И поехал со мной на юг, успев позвонить отцу (который, кажется, не удивлялся уже ничему), что едет надолго. И точно: уехал надолго, на восемь месяцев, в пальто и галошах без багажа. Сначала он путешествовал пёхом по Крыму, в жару, в пальто и галошах, потом отправился на Кавказ, добывая себе на хлеб работой в местных газетах, потом пересек Каспийское море и попал в Среднюю Азию. Здесь полюбились ему таджики, и он полгода жил в их стране, все в том же пальто и галошах».

В стихах Лапина 1925 года можно найти прямое прощание с прежней оседлой жизнью:

Прощай! Я ухожу из дома
В лесную глушь родной земли.
Я снова вышел в свист заката,
В туман и в грусть сырых полей.
О, как мне страшно, как мне странно
Босой ногой ступать в пыли
В осколках солнца, без дороги,
Среди неведомых людей.

Здесь, дома, я оставил скромный,
Уютный мир домашних книг,
Себя, диван, любовь и деньги,
И сослуживцев, и друзей,
Все то, чем я был жив и честен,
Чем я был весел и велик,
Упрям, уверен, неподкупен,
Заносчив, ясен и силен, —
Меня твое хранило войско,
Семейный мир, веселый сон,
Гардины осеняли счастье,
Как пустота сырых знамен…

Иосиф Кунин вспоминал о Лапине: «Однажды, вернувшись из большой поездки в Таджикистан, он сказал мне, что при переправе через бурную горную речку стихи, которые он возил с собою в мешке, утонули и что он решил больше стихов не писать. Не могу сказать, как это нас с сестрой огорчило. Думаю, что причина этого решения была иная — времена менялись, и то, что без колебаний получало в начале 20-х годов гриф „РВЦ“ (что означало — „разрешается военной цензурой“), уже на подступах к 30-м стало невозможным к печати. А стихи Лапина, будь то овеянные немецким романтизмом, или персидским красноречием, или колониальной поэзией Киплинга, не помогали ни росту производства, ни воспитанию патриотизма. И следовательно, не могли пройти через плотину редакторского скудоумия и трусости. Помню, когда мы вышли вместе с Лапиным из Дома печати, Борю остановил редактор журнала „Красная новь“, старый большевик и культурный человек, прося в журнал его переводы из немецкой поэзии, прибавив: „Только чтобы никакой мистики!“ Под мистикой тогда понималось, как, впрочем, и позднее, все выходившее за рамки привычной поэзии».

Случившуюся с Лапиным перемену он сам в 1934 году описал так: «Нужно было становиться самостоятельным. И вот мне удалось поступить нивелировщиком в геоботаническую экспедицию. Я поехал в Среднюю Азию. <…> На моих глазах совершалось удивительное превращение Средней Азии в Советскую республику, на моих глазах нарушались все старые отношения, возникали совершенно новые. Я еще продолжал писать книжные и туманные стихи, но в то же время я начал писать заметки в газету. Так я сделался журналистом. Уже через два года я бросил все остальные работы и стал ездить по стране,

как газетчик-профессионал».

Легко осваивая языки, Лапин стал профессиональным путешественником по Востоку и нашел себя в прозе, жанр которой определить непросто: она органически включала специально написанные стихи, документы, публицистику, элементы научных сочинений, увлекательные новеллы. Лапин объездил Кавказ, Среднюю Азию, Чукотку, Японию, Турцию и Ближний Восток. Его первые очерки в 1925 году печатались в «Красной газете» под псевдонимом Пьер Дюкаж, а затем — Пограничник. Постепенно вырабатывается его прозаическая манера — точная, строгая, документальная и вместе с тем сюжетная и увлекательная («Повесть о стране Памир», 1929; «Тихоокеанский дневник», 1929; «Подвиг», 1933; «1869», 1935). С 1932 года Лапиным ряд книг был написан в соавторстве с Захаром Хацревиным («Америка граничит с нами», 1932; «Дальневосточные рассказы», 1935; «Путешествие», 1937; «Рассказы и портреты», 1939). Об этом сотрудничестве в предисловии к прозе Лапина точно написал Илья Эренбург, близко узнавший обоих в последний год их жизни: «Они оба любили Восток, и мягкость, лиризм Хацревина дополняли точность, эрудицию, волю Лапина». До конца дней Лапин продолжал писать стихи, которые входили в его прозу как ее неотъемлемая часть.

Лапин был советским писателем — он едва ли не с детства принял русскую революцию, не любил буржуазию и обновление стиха воспринимал неотрывно от обновления страны. Ему повезло — его литературная ниша оказалась относительно свободной, и на резолюцию очередного съезда ВКП(б) он не должен был откликаться новой повестью. При этом формально он был лоялен к власти, его книги издавались беспрепятственно, и в 1934-м его избрали делегатом Первого съезда писателей (с совещательным голосом), а в начале 1939-го — включили в обойму из 172 писателей, награжденных орденами (из нее вычеркнули Бабеля, Олешу, Пастернака и лапинского тестя Эренбурга; понятно, что Лапин получил орден третьего сорта — «Знак Почета»).

1937 год поверг его в отчаяние; он становился все больше молчаливым[42]…

Сохранившиеся свидетельства авторитетных источников о встречах Лапина с Мандельштамом относятся к поре 1931–1938 годов, но эти же источники фиксируют уже на 1931 год отношения, не вчера возникшие, а стало быть, начавшиеся в 1920-е. Стержнем их встреч стал, как кажется, интерес Лапина к стихам Мандельштама — не сразу возникший, но зато устойчивый и все

возраставший.

Упомянутыми источниками являются «Вторая книга» Н. Я. Мандельштам и «Вблизи поэта» Э. Г. Герштейн. Приведем последовательно все эпизоды, связанные в них с Лапиным.

Первый сюжет относится к полетам на аэроплане и «мертвой петле». В рассказе об этом главное — собственные впечатления Н. Я., а имя Лапина возникает только в связи с тем, что упоминание ощущений от «мертвой петли» в «Путешествии в Армению» Мандельштама напрямую связываются именно с рассказами Бориса Лапина, которые Н. Я. не датирует: «В начале двадцатых годов мы как бы притирались друг к другу, а это не простое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по блату меня покружили на учебной машине и я узнала, что такое „мертвая петля“. <…> В „Путешествии в Армению“ есть несколько слов о „мертвых петлях“, но я здесь ни при чем. Он выслушал не меня, а Борю Лапина, которому устроил полет тот же человек, что мне…» Имеются в виду описанные в «Путешествии в Армению» проводы в Армению Б. С. Кузина в 1931 году: «Началось разливание по рюмкам виноградных московских вин, милое отнекивание женщин и девушек, брызнул сок помидоров и бестолковый общий говор: об авиации, о „мертвых петлях“, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок рушится тебе на голову…» Между тем, комментируя текст «Путешествия в Армению», Н. Я. делает следующее примечание к упоминанию «мертвых петель»: «За несколько лет до отъезда Кузина о них рассказывал Борис Матвеевич Лапин», то есть относит рассказ Лапина не к 1931 году, а к более раннему времени. То, что рассказ Лапина о мертвых петлях хорошо запомнился Мандельштаму, Н. Я. упоминает, не датируя самого рассказа, во «Второй книге» в воронежском сюжете лета 1935 года, когда вспоминает о похоронах военных летчиков и о вариантах стихотворения Мандельштама «Нет, не мигрень…» («В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах…»). Здесь нелишне будет привести свидетельство из воспоминаний Льва Славина о человеческих качествах Лапина-рассказчика: «Иногда, рассказывая что-нибудь (а рассказывал он с блеском истинного художника), он вдруг осекался и, к удивлению слушателя, впадал в бесцветное бормотание. Он стыдился своего блеска, он намеренно притушивал его, боясь быть уличенным в неестественности, в позе которой он чурался больше всего на свете»…

Эмма Герштейн, бывшая свидетелем рассказа Лапина о

полетах на аэроплане и «мертвых петлях», записала свои воспоминания об этом рассказе, когда «Вторая книга» уже была опубликована. Она датирует рассказ иначе, чем Н. Я., и, как представляется, точнее: «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. Он только что летал на самолете и делал „мертвую петлю“ — тогда были такие сеансы под Москвой. Он удивительно точно и интересно описал, как менялось зрительное соотношение между небом, землей и аэропланом, показывал, как надвигалась на него земля. Тут Осип Эмильевич прочел ему свою „Канцону“». Стихотворение Мандельштама датируется 26 мая 1931-го, когда О. Э. действительно жил у брата на Старосадском[43] и работал над «Путешествием в Армению», так что, скорее всего, первое упоминание о «мертвых петлях» в его тексте возникло по горячим следам рассказа Лапина.

О том, что в 1931 году Лапин не раз забегал к Мандельштаму, упоминается и в другом месте «Второй книги» — там, где, рассказывая об идиллической жизни в Старосадском после поездки в Армению, Н. Я. пишет: «Дел не было никаких. Забегал старик Маргулис, спасшийся от ленинградского голода и безработицы в Москву. <…> Заходил Боря Лапин с пишущей машинкой и молча выстукивал новый стишок. Однажды он принес кусок киноленты, и мы рассматривали ее на свет…» Вообще, по-видимому, в московские наезды Мандельштама Лапин «забегал» к нему, если только не оказывался в очередном путешествии. Так что Н. Я. вполне могла и не упомнить, в какой именно его «набег» Лапин рассказывал о «мертвых петлях».

Следующая документированная встреча — в 1933 году. Эта встреча — иного рода, и зафиксирована она в Четвертой тетради «Записок для себя» И. М. Басалаева (альманах «Минувшее», № 19). Речь идет о творческом вечере Мандельштама в Ленинградской Капелле 23 февраля 1933 года Басалаев оставил замечательное описание этого вечера, на котором присутствовала масса литературной публики от Ахматовой до Саянова. Выразительно перечисляя гостей вечера, автор упоминает и нашего героя: «По ковровой дорожке идет, вытянув шею, с короткими ручками, в огромных роговых очках Борис Лапин. С ним неизменный его спутник, прилизанный, с головой египтянина, Хацревин»… Какие дела привели тогда Лапина и Хацревина в Ленинград — неизвестно, не исключено, что именно вечер Мандельштама.

Лапин наверняка делился с Мандельштамом впечатлениями о маршрутах своих сменявших одна другую восточных поездок. Предположение, что Осип Эмильевич был знаком с его прозой, неизменно основанной на материале этих путешествий, —

прозой, стыдиться которой автору не приходилось, как и ожидать, что она рассорит его с Мандельштамом, — не кажется слишком смелым, хотя фактическими подтверждениями этому мы не располагаем…

Последняя встреча Лапина с Мандельштамом (февраль — март 1938-го) состоялась перед отъездом Мандельштамов в Саматиху, где 1 мая Осип Эмильевич был арестован. Ее упоминает Н. Я., перечисляя, какие именно книги Мандельштам взял с собой с Саматиху: «ОМ привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин».

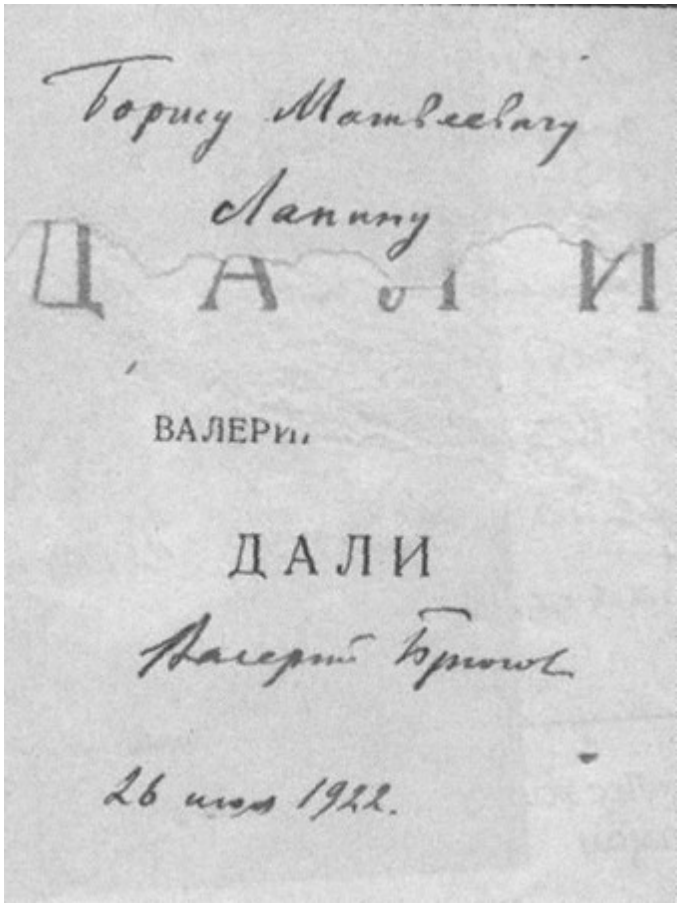
Эренбург приводит в мемуарах слова, сказанные ему Лапиным в начале 1938 года: «Я пишу о пустыне Гоби… Когда я писал „Тихоокеанский дневник“, „Подвиг“, я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе… Мне бы хотелось написать про другую пустыню, но это невозможно… А нужно работать — иначе еще труднее…»

О гибели Мандельштама Борис Лапин узнал, по-видимому, в начале 1939 года. А летом 1939-го Лапин и Хацревин были отправлены военными корреспондентами на озеро Халхин-Гол (Монголия), в район боевых действий против японских войск, где показали себя людьми бесстрашными. С начала Отечественной войны Лапин — военный корреспондент «Красной звезды». В последний приезд в Москву в августе 1941 года он по памяти записал в беловую тетрадь свои ранние стихи, после чего вместе с Хацревиным отправился на Юго-Западный фронт. Лапин погиб в сентябре 1941 года, при наступлении немцев на Киев, в окружении, отказавшись бросить Хацревина, которого свалил сильный приступ болезни. Последние его слова, которые сохранили очевидцы, были: «У меня есть револьвер».

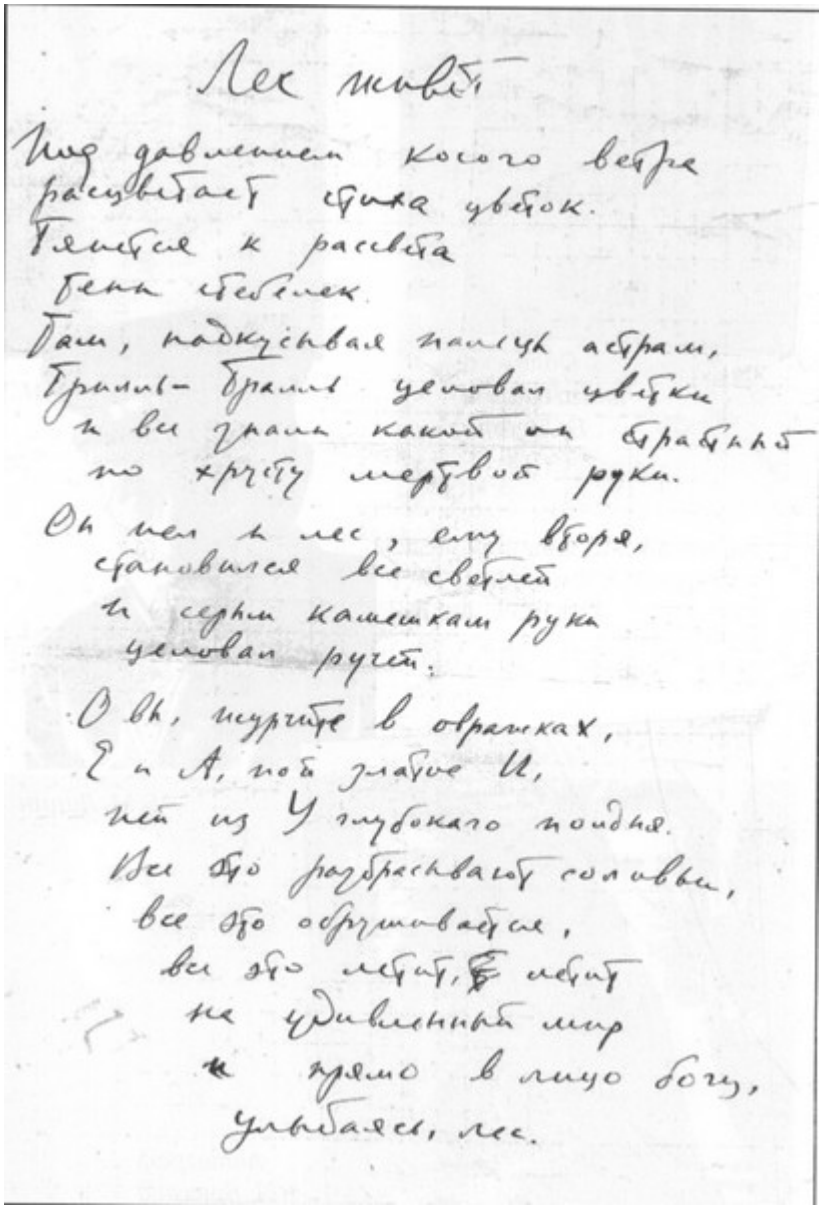
В 1942 году известие о гибели Лапина достигло Средней Азии. 11 июля Н. Я. Мандельштам написала ее и Осипа Эмильевича другу В. С. Кузину: «В Ташкенте я со дня на день не перестаю считать потери: Борис Лапин, художник Тырса…», а 28 июля С. П. Бобров из Ферганы писал Илье Эренбургу: «Мы с женой огорчились известием о Боре Лапине — ведь мы так давно его знаем, еще совсем мальчиком, так всегда радостно следили за его ростом, за его успехами! Ах, Боже мой! С какими ужасными потерями приходится мириться».

Б. М. Лапин

Обложка книги стихов Б. Лапина



Автограф В. Я. Брюсова на его книге «Дали» (Москва, 1922)



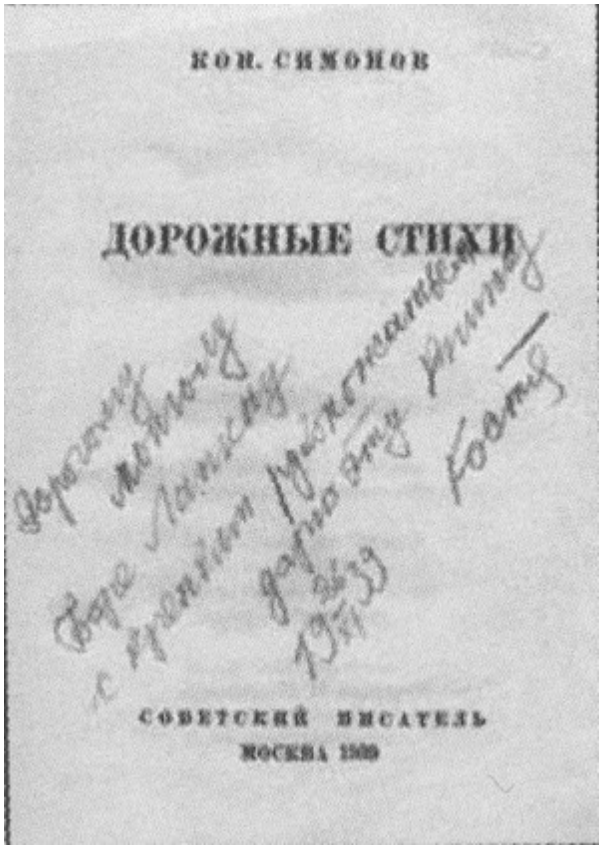
Лес живет

Под давлением косого ветра
раскрывает стиха цветок.
Тянется к рассвету
белая свеклик.
Бам, надкусывая палочку ассорти,
Гримм-брамс целовал цветки
и все грамм какой-то брабантской
по хрупкой мертвой руки.

Он шел в лес, сам вдвоем,
сравнивался все светлей
и серым кашлякам рука
целовал ручей.

О вы, шурупы в овражках,
Е и А, ноль глаз и И,
нет из У глубокого колодца.
Все это разбрасывают соловьи,
все это обрушивается,
все это любит, любит
на удивленный мир
и прямо в лицо богу,
улыбаясь, лес.

Стихотворение Б. Лапина «Лес живет», записанное О. Мандельштамом



Автограф военного корреспондента на Халхин-Голе (в Монголии) К. Симонова на книге «Дорожные стихи» (Москва, 1939) боевому товарищу: «Дорогому монголу Боре Лапину с крепким рукопожатием дарю эту книгу 26.XI.1939 Костя»

Б. М. Лапин (справа) и З. Л. Хацревин. Под Киевом, август 1941 г.

Золотая пчела (Овадий Савич)

«В 1922 году в Книжную лавку „Содружество писателей“, помещавшуюся на Тверской, зашел чрезвычайно учтивый и необычайной внешности молодой человек. Он был красив, с матовым, бледным лицом, элегантно одет — в пору, когда все мы носили полушубки и валенки или перекроенные красноармейские шинели…»

Через тридцать лет другой беллетрист, встретив этого человека в доме Ильи Эренбурга, увидел его почти таким же: «Он был хорош собой — с бледным матовым лицом, с седой шевелюрой, с мягкими движениями, неторопливый, сдержанно-ровный… Он был похож на государственного деятеля западного типа — министра, дипломата. Сходство обманывало. Его светлые глаза под глубокими надбровными дугами смотрели на мир задумчиво, внимательно, немного грустно…»

Уже не осталось никого, кто знал его стихи и прозу в 20-е годы, кто встречал его в модных теперь кафе Монпарнаса в 30-е (последней об этом вспоминала Н. Берберова в своем «Курсиве»), погибли и умерли участники испанской войны, восхищавшиеся его благородным мужеством, покинули мир большие поэты, чьи стихи его мастерство и любовь сделали русской поэзией…

Савич, само изящество,
ты повсюду
от храма на Красной площади
до квартир близ Аэропорта
или в кварталах Арбата, таинственных и поныне,
переливал вино моего Чили
в гулкий бурдюк своего языка.
Савич, с тобою погибла золотая пчела,
приносившая издали мед в мой улей!
Мой нежный друг, мой верный товарищ!

Это — из элегии Пабло Неруды, переведенной Львом Осповатом.

Сегодня Овадия Герцовича Савича (17 июля 1896—19 июля 1967) благодарно помнят лишь почтенные испанисты, чья молодая стайка окружала его в послевоенные и «оттепельные» годы, учась мастерству, культуре, доброжелательности, благородству…

В конце 1923 года Савич заполнил литературную анкету,

никогда не публиковавшуюся: «Родился в 1896 где-то около Варшавы. С четырех лет живу в Москве. Кончил III гимназию. Война исключила из третьего курса Университета. Был солдатом, не имеющим права на производство. До революции — 2 и после революции — 3 года был актером. Ничего не вышло и очень надоело. Ездил по России и бывал за границей.

С детства писал стихи, но прозы боялся: написать рассказ казалось труднее, чем построить дом. Когда бросил сцену, охватила тоска по перевоплощению. Может быть, и со сцены ушел оттого, что приходилось играть, в конце концов, — только самого себя. После первого случайно написанного рассказа забыл о стихах, о сцене, вообще — обо всем, о всяком ином занятии. Думаю, что для себя нашел правильный путь. Больше всего люблю наблюдать и потом, стасовав свои наблюдения, по-своему разложить фантастическую колоду жизни. Выдумать человека и сделать его живым. Рассмешить, влюбить и заставить плакать. Не боюсь этого слова: я — романтик. Но то, о чем пишу, всегда знаю.

Печатался мало — это надо уметь, а я не умею. Книги: „По холстяной земле“, повесть, Книгоиздательство писателей, Берлин, 1923, и „Плавучий остров“, книга рассказов — печатается».

Дополним эту справку самым необходимым.

Родители Савича рано разошлись, и его вырастила (и привила любовь к книгам) мать, Анна Тимофеевна, любившая сына самозабвенно и мудро. В начале 20-х годов ей удалось уехать в Германию, а в 1924 году Савич с молодой женой также поселяется в Тюрингии, а затем в Берлине; в 1929 году, уступая настоянию своего друга Ильи Эренбурга, Савич переезжает в Париж. С той поры он бывает у матери лишь наездами. (А. Я. Савич рассказывала мне о ежегодных встречах Нового года в берлинском доме свекрови, куда из Парижа приезжали Савичи и Эренбурги, а из Праги — Роман Якобсон…) В середине 30-х мать Савича уезжает из гитлеровской Германии в США, и с 1939 года вернувшийся за «железный занавес» Савич ничего не знал о ее судьбе, пока в 1946 году Анну Тимофеевну не разыскал в Нью-Йорке Эренбург.

Первые стихи Савич напечатал в Москве в 1915 году (альманах «Альфа»); в них отчетливо влияние Кузмина и Ходасевича. В 1922-м в двух номерах московского «Свитка» печатались (рядом со стихами Цветаевой и Волошина) поэмы Савича «Белые пустыни» и «Поэма сна и ночи».

Первый обративший на себя внимание рассказ Савича «Иностранец из 17 №» появился в альманахе «Современники» в 1923 году. Книга рассказов «Плавучий остров», упомянутая в анкете, вышла лишь в 1927 году и уже против его воли; тогда же

появились и сборники «Синий шелк» и «Короткое замыкание», а через год — «Ванька-Встанька». Забавно, что, прочитав их, Юрий Тынянов принял Савича за крестьянского писателя (недоразумение разъяснилось при встрече; 30 ноября 1928 года Савич писал в Москву: «Здесь Ю. Тынянов. Он весьма умен и мил. Показываю Берлин от бандитских ходачеев до рейхстага»).

В 1925 году вместе с эмигрантским поэтом В. Корвин-Пиотровским Савич написал иронически-фантастический роман «Атлантида под водой», опубликованный в 1928 году под псевдонимом Рене Каду (настоящему Рене Каду тогда было всего 5 лет, и он еще не знал, что станет известным поэтом).

В конце 1927 года Савич едва ли не залпом пишет роман «Воображаемый собеседник», принесший ему признание коллег и официальную репутацию идеологически сомнительного автора. Вот выдержки из писем Савича московскому прозаику В. Лидину, относящиеся к этому сюжету. 29 декабря 1927-го: «Заканчиваю роман, работал над ним очень усердно целыми днями. Сам я работой в общем доволен. Вещь написана честно, а это главное, не правда ли?» 23 февраля 1928-го: «Мой роман проходит лабиринты ГИЗа. Трепещу, как цуцик». 16 апреля 1928-го: «А еще сообщаю, что роман мой принят ГИЗом, и требую поздравления, за каковое будет во благовремении угощение и возлияние». 18 июня 1928-го: «Любовь Михайловна (Козинцева-Эренбург. — *Б. Ф.*) сделала обложку для моего романа, я послал ее в ГИЗ, не знаю, возьмут ли, очень кубистична. Думаю, что роман скоро выйдет, но точно не знаю». 6 января 1929-го: «Роман мой вышел неплохо, но не блестяще, обложка не ахти и масса опечаток. Но хорошо, что вышел — он, бедный, являлся с трудом». 19 января 1929-го: «Говорят, мой роман уже обруган в „Известиях“ — я так и думал, не думал только, что вообще напишут». 23 января 1929-го: «Спасибо за вырезку (рецензия „Известий“. — *Б. Ф.*) Я считаю, что могло быть и хуже, потому не огорчаюсь». 6 апреля 1929-го: «О книге моей — Вы и правы и неправы. Вы сами знаете. Но одно — государственная точка зрения к литературе неприложима. Ее опровергает каждый день. Вы это тоже знаете».

Герой «Воображаемого собеседника», рядовой совслужащий, никем не понятый, кроме собственного «воображаемого собеседника», умирает от бессмысленности и скуки, заполнявших его существование. Эпиграф из «Шинели» наводил читателя на мысль, что внутренняя жизнь человека слабо зависит от политических переустройств. «Роман молодого писателя Савича, — клеймили его „Известия“ 15 января 1929 года, — представляет собою опасную смесь тех идей и традиций старой литературы, которые явились выразителем общественной полосы

бездорожья и пессимизма в России». «О. Савич много мягче Гоголя, — писал, как бы отвечая „Известиям“, М. Цетлин в „Современных записках“ (Париж, 1930, № 43, с. 494), — и если на него обиделись, то значит, у нынешних властителей очень чувствительная кожа… Роман Савича задуман смело и разработан с большой внутренней логикой… Хочется отметить талантливую книгу и автора, не боящегося „подражать“ Достоевскому и разрабатывать одну из основных тем русской литературы: тему верховной ценности личности, ее права все судить и ниспровергать. В этом, неполитическом смысле роман Савича действительно контрреволюционен, как и вся русская литература».

Эренбург свидетельствует, что «Воображаемый собеседник» «понравился столь различным писателям, как Форш, Тынянов, Пастернак».

Как и Эренбург, Савич хотел жить в Париже, писать о чем хочется, а печататься в Москве. К 1930 году это стало практически неосуществимо, а мировой экономический кризис довел жизненные трудности до предела. Отказавшись от беллетристики, Эренбург и Савич работали в 1930 году над книгой «Мы и они» — антологией высказываний русских писателей о Франции. Проект был капитальный — издание в четырех странах, включая СССР, затем — выпуск аналогичных книг в Германии, Италии и т. д. Когда несколько московских издательств отвергли готовую рукопись, все лопнуло. Осталась редкость — петрополисовское издание, запрещенное в СССР и не принесшее авторам до зарезу нужных денег. 4 января 1932 года Савич писал Лидину: «Кризис отражается и на нас. Хроническим безденежьем хотя бы, которое у многих на Монпарнасе перешло уже в катастрофу. Очень невесело у Эренбургов — нет поступлений ниоткуда. Мама пишет мрачные письма — в Берлине ведь просто тупик. Не знаю и не могу себе представить, во что все это выльется. Очень боюсь войны и махрового фашизма».

В 1932 году Эренбург принял предложение «Известий» стать их парижским корреспондентом. Вслед за ним Савич становится корреспондентом «Комсомолки»; он пишет очерки — «про то и про это, про футбол и про Барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки» (Эренбург), иногда пропадает на ипподроме (тотализатор!). «Все по-старому, — рассказывает он в письме, — то же распутье, трудность работы, листки, летящие в корзину, сор в душе. Те же болезни поколения, те же радости и огорчения».

В 1935–1936 годы Савич работает над новым романом. Подружившийся с ним в Париже летом 1935 года редактор «Звезды» поэт Н. Тихонов писал Савичу зимой 1936-го: «А как наш

роман? Я все жду, когда газета Литературная сообщит, что О. Савич только что закончил роман о парижской рабочей молодежи — и если это будет и если Вы отдадите его не в „Звезду“, то я подошлю к Вам каких-нибудь страшных факиров, которые впустят в Ваши комнаты зобатых парагвайских муравьев или что-нибудь вроде». Роман писался долго, трудно и как-то вяло. Совсем не приспособленный к бытовым сложностям, Савич неожиданно оказался в Париже один — жена срочно уехала в Москву к умирающей матери, и назад ее не выпустили. Савич то рвался в Москву, то ставил себе предварительные условия (кончить роман и т. д.). «Тут хорошо то, что Вы можете работать, — делится он парижскими впечатлениями с Лидиным. — А когда тоска (а ее много), Вы идете в кафе и видите милых и необязательных людей. Они, как актеры, пока сезон — друзья, расстались — и забыли без печали. Это, конечно, не касается Эренбургов».

В июле 1936 года вспыхнул фашистский мятеж и началась война в Испании; этими событиями жили все левые парижане — Савич не был исключением. Из июльских (1936) писем жене: «Мы тут сейчас живем Испанией. С отъездом Мальро есть уже реальный человек, за которого волнуешься»; «Мы просто живем мыслями о том, что фашисты будут разбиты. Я безумно завидую Мальро. Я даже думал поехать к границе, но это не имеет никакого смысла. И. Г. (Эренбургу. — *Б. Ф.*) отдам роман, как только кончу, м. б. даже раньше. Мелкие поправки все сделаю по его, если, конечно, соглашусь. А крупные, если и соглашусь, не в силах больше…»

В январе 1937 года Эренбург увез Савича в Испанию. Роман напечатан не был. В Испании Савич провел два года. Через десять лет он написал книгу «Выздоровление Дон Кихота»; Эренбург и Симонов решительно поддержали ее письмами в издательство, но книгу не пропустили. В 1960 году Савич ее переписал, и она под названием «Два года в Испании» выдержала четыре издания. Конечно, в Испании Савич видел, знал и понимал больше, чем об этом позволялось сказать вслух (я видел список издательских купюр — он не маленький); но и то, что прошло в наиболее полном издании 1966 года, многое сказало внимательному читателю, а советские читатели были профессионалами в части чтения между строк.

Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» посвятил отдельную главу Савичу в Испании (он предупредил читателей, что будет писать только об ушедших; глава о Савиче — исключение, сделанное также для Пикассо, Неруды и Шагала). Эренбург хотел рассказать о том, «какую роль могла сыграть Испания в жизни отдельного человека», и эту главу он кончил так: «То место в

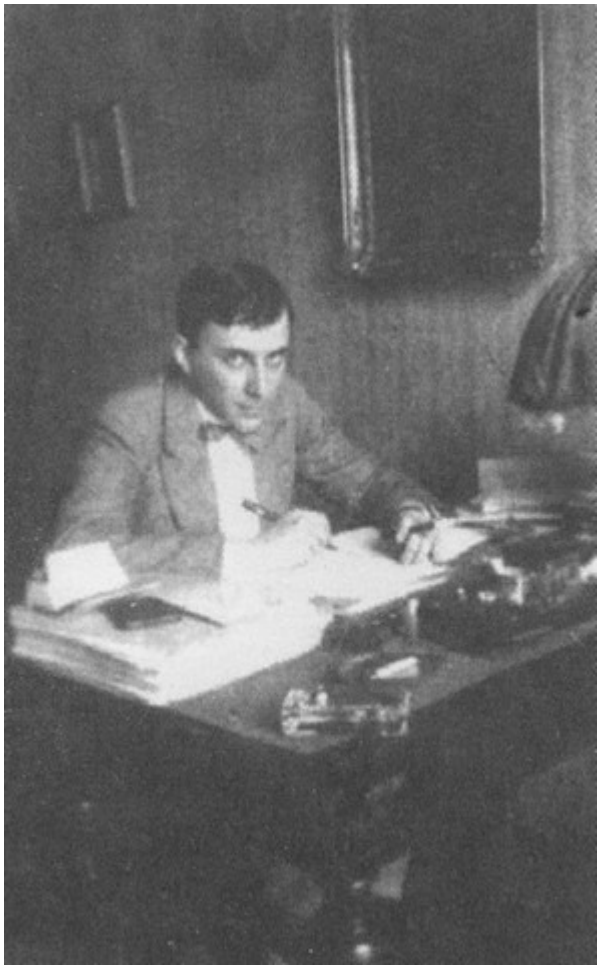
жизни, которое Савич нашел весною 1937 года в Мадриде, осталось под ногами — испанская речь и поэтическая настроенность, укоренившаяся в нем за годы Испании». Один эпизод, рассказанный Эренбургом, впечатляет особенно. Когда республиканская армия сдала Барселону, оказалось, что со здания советского консульства забыли снять флаг и герб, и Савич со своим шофером Пепе вернулся в город, куда уже входили франкисты, влез на крышу здания и снял герб и флаг. Это сделал Савич — всегда боявшийся неприятностей, житейских перемен и полиции. Вениамин Каверин в неопубликованном фрагменте заметок о Савиче пишет: «Я слышал от Эренбурга многие главы книги „Люди, годы, жизнь“. Они были рассказаны лучше, чем написаны. История о том, как он нашел Савича в деревушке под Фигересом (последние дни испанской войны), занимает в книге 15 строк. Между тем он рассказывал ее добрый час, и мы слушали его, как говорится, развесив уши… Психологический портрет Савича — комнатного, тихого, более чем осторожного человека, внезапно оказавшегося в испанской войне храбрейшим из храбрых, был дан пространно, с юмором, легко, блестяще…»

В феврале 1939 года вместе с остатками республиканской армии Савич перешел французскую границу и был интернирован, затем отпущен и стал готовиться к возвращению в Москву. Он знал о судьбе многих участников испанской войны, арестованных в СССР, и, отправляясь домой в мае 1939 года морем из Гавра, мог ожидать чего угодно (помимо советских участников войны этим рейсом плыли и испанцы, среди них — легендарный партизанский генерал Кампесино, которого в СССР потом арестовали). А. Я. Савич, встречавшая вместе с Н. Тихоновым мужа в ленинградском порту, рассказывала мне, как, всматриваясь в столпившихся на палубе пассажиров и отыскав наконец глазами Савича, она увидела, что к нему подошел человек в форме и вручил под расписку какой-то листок; сердце ее упало: арест! Но все обошлось — это была запоздавшая телеграмма о том, что Савича встречают близкие…

В Отечественную войну Савич работал в Совинформбюро; знание нескольких европейских языков и опыт зарубежной жизни оказались очень полезными в этой работе. Все послевоенные годы Савич отдал переводам испаноязычной поэзии; эта его работа была признана и читателями, и профессионалами. Савич открыл нам Габриэлу Мистраль (эти переводы ценила Ахматова, ревниво относившаяся к «краснокожей нобелевской лауреатке»), он переводил Лорку, Мачадо, Альберти, Неруду, Гильена. Избранные его переводы составили антологию, изданную в 1965 году.

В «оттепельные» годы Савич обдумывал роман «XIX века рожденья»; многие его автобиографические записи были напечатаны посмертно («Вопросы литературы», 1968, № 8 и 1988, № 8). Одна из них возвращает нас к образу из элегии Неруды и к трагической судьбе поколения Савича: «Пчеле не повезло. Дождь ударил неожиданно и застал ее в пути. Она рвалась домой, в духоту улья. А дождь мог убить ее, и она спряталась под листом и дрожала, слыша шум дождя и видя грозные капли, бьющие по листьям с такой страшной силой».

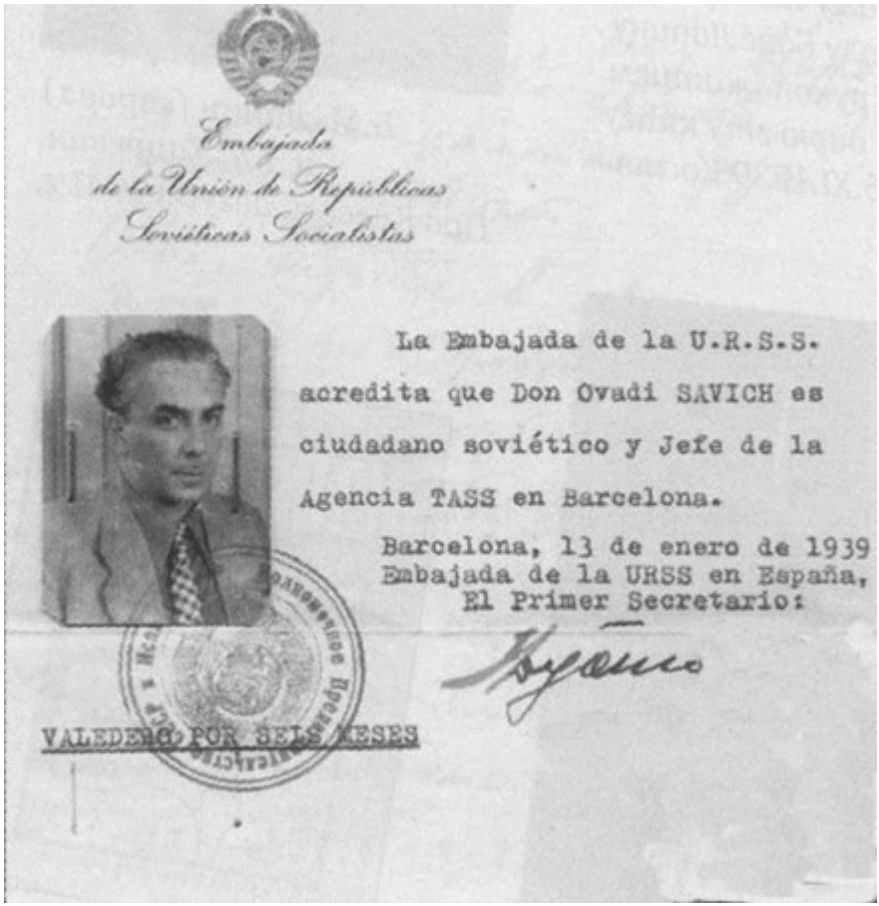
Все попытки издать после смерти Савича том его избранного кончились ничем. Только в 1991 году, после путча, впервые переиздали «Воображаемого собеседника», но внимание общества уже (и надолго) было занято совсем другим. Савич как бы предчувствовал это: «Ты знаешь, что мог бы… Однажды ты даже смог. Но время не позволило людям остановиться у твоего созданья. Ты смог впустую. Черепки на песке. Если твое здание раскопают в кургане, отдадут в музей, что тебе от этого? А если не раскопают?..»



О. Г. Савич. Берлин, июнь 1925 г.

Обложка книги О. Савича «Плавучий остров» работы Соломона Телингатера (Москва, 1927)

Испанские поэты Э. Прадос (слева) и Хосе Эрреа Петеро (справа) с О. Г. Савичем. Барселона, 1938 г.

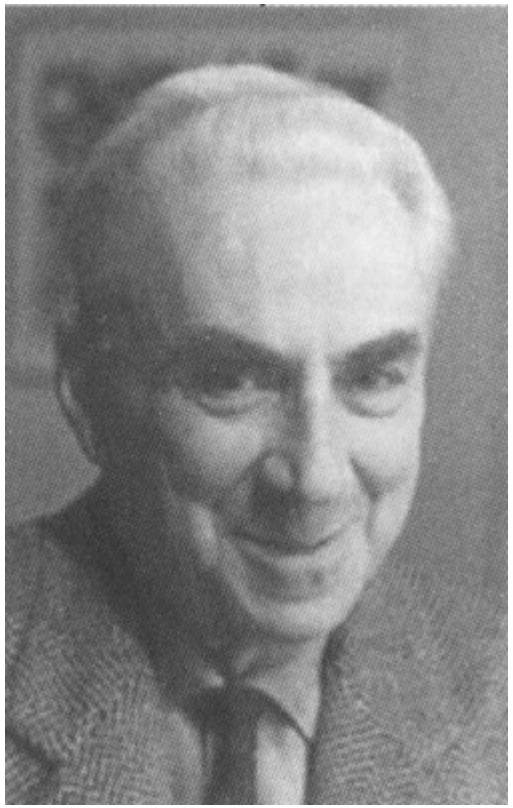

Embajada
de la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas

La Embajada de la U.R.S.S.
acredita que Don Ovadi SAVICH es
ciudadano soviético y Jefe de la
Agencia TASS en Barcelona.

Barcelona, 13 de enero de 1939
Embajada de la URSS en España,
El Primer Secretario:

VALEDERO POR SEIS MESES

Удостоверение об аккредитации О. Г. Савича. Барселона, 1939 г.



О. Г. Савич. 1960-е гг.

Илья Ильф. Весна 1937-го

Эта смерть оказалась неожиданной для всех, даже для близких. Что воспоминания, когда об этом говорит газетная хроника. В первых числах апреля проходило общемосковское писательское собрание. Когда слово дали Евгению Петрову и он сказал: «Товарищи, речь, которую я хочу произнести, написана вместе с Ильфом», раздались аплодисменты и, конечно, смех — как же Петров может быть без Ильфа, смешно…

9 апреля «Известия» сообщили: «Вчера в Москву вернулся Михаил Кольцов». Газета, понятно, не написала, что главный представитель Сталина в Испании приехал для доклада Политбюро о военной и политической ситуации на Пиренеях, но зато подробно описала встречу Кольцова на Белорусском вокзале и перечислила встречавших. Первым был назван Ильф. Кто мог думать, читая этот номер «Известий», что в ночь на 9 апреля у писателя открылось сильное кровотечение…

Острая форма туберкулеза обнаружилась у Ильфа в январе 1936 года, когда он вместе с Петровым мотался на автомобиле по Соединенным Штатам. Евгений Петров вспоминал, как в Новом Орлеане после утомительно долгой прогулки по знаменитому кладбищу они вернулись в гостиницу и там Ильф, морщась, сказал ему: «Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять, как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь…»

Вернувшись в Москву, Ильф лечился, следил за здоровьем, старался не переутомляться. В конце марта 1937 года рентгеновский снимок показал, что ничего угрожающего нет, и даже обсуждалась возможность поездки Ильфа и Петрова на Дальний Восток.

Валентин Катаев, брат Евгения Петрова, рассказал корреспонденту «Литературной газеты»: «Мы видели, что ему стало хуже, но никто не думал о смерти. Утром все мы вдруг заволновались. Почувствовали, что что-то надо сделать — отправить в санаторий, в Крым, за границу. И мы забегали, зазвонили по всем телефонам. А ему становилось все хуже. До последних минут он был в полном сознании. К вечеру ему стало совсем плохо. В девять часов был врач. Илья жаловался на сердце. Врач сказал: „Вот сейчас впрыснем лекарство, и вам станет легче“. После впрыскивания Ильф сказал: „Не легче, доктор“. Вскоре он стал дышать тяжело и редко. Женя спросил: „Доктор,

что это? Агония?“ Доктор ответил: „Нет, это смерть“».

Доктор Иссерсон рассказал корреспонденту «Известий»: «До последних дней И.А. Ильф чувствовал себя хорошо. Он продолжал работать, выходил на улицу, не ощущал никакой необходимости в постельном режиме. Процесс обострился внезапно, и 13 апреля в 10 часов 25 минут вечера писатель скончался при явлениях отека легких и паралича сердечной деятельности».

Странно, что все это произошло со спортивным, корректным, неизменно ироничным Ильфом, и так это не вяжется со страницами прозы писателя Ильфпетрова. Даже в «Записных книжках» Ильфа, напечатанных посмертно, этот сюжет угадывается всего в нескольких строчках о весне 37-го года: «Такой грозный ледяной весенний ветер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Весной 1937-го Ильфу было всего тридцать девять…

Бабелю было сорок два. Пятнадцать папок его неопубликованной прозы погибло спустя три года вместе с автором. Широко издавать его начали полвека спустя…

Эрдману было тридцать шесть, более трех лет он уже находился в ссылке в Сибири, и, хотя дожил до семидесяти, ничего сравнимого с «Самоубийцей» не написал; так, все больше чепуху…

Булгакову было сорок пять, ему оставалось жить три года, и он успел написать пьесу о Сталине «Батум»; слава пришла к нему через четверть века после смерти…

Зощенко было сорок два, его ждало публичное поношение, изъятие книг, прижизненное забвение и посмертное восстановление в правах…

Олеше было тридцать восемь, литературная его жизнь фактически кончилась, оставались посмертные издания и глумливая книга Аркадия Белинкова о сдаче и гибели советского интеллигента…

Евгению Петрову было тридцать три. «Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы», — мечтал он вместе с Ильфом, и в 1942-м самолет, на котором он летел, врезался в сопку под Севастополем…

А Ильфу было тридцать девять… «Ужасно, как мне не повезло»…

Через месяц, в мае 1937-го, «Правда» напечатала статью «Троцкистская агентура в литературе» и пошло-поехало: Бруно Ясенский, Киршон, Афиногенов, Пильняк… Библиотечные полки советской литературы стремительно очищались от вражеских

книг…

В 1937-м вышли «Одноэтажная Америка» и сборник рассказов «Тоня».

В 1938–1939 годах издали собрание сочинений Ильфа и Петрова — 4 тома.

В 1939 году вышли «Записные книжки» Ильфа.

Был только один, короткий, период (с 1949 по 1954 год), когда книги Ильфа и Петрова не издавались. От этой эпохи остался такой курьез — резкая критика писателя Ильфпетрова в Большой советской энциклопедии в томе на букву «И» (1952 год) и доброжелательный отзыв о нем же в томе на букву «П» (1955 год).

А потом Ильфа и Петрова печатали очень много, как деньги, и спрос на них, как на деньги, не уменьшался. Все послевоенное поколение воспитано на их книгах, тогдашние литщеголи знали эту прозу наизусть — целыми страницами…

Но даже и в нынешнюю, еще не получившую знакового клейма, эпоху, когда Остап Бендер запросто мог стать губернатором, депутатом или вице-премьером, когда издают только то, что купят наверняка, пухлые, академически комментированные тома с романами «12 стульев» и «Золотой теленок» легко нашли покупателя, запросто пережив советскую эпоху.

А 15 апреля 1937 года на панихиде по Ильфу Фадеев обещал неустанно работать и двигать вперед социалистическую литературу, а выступивший от «Правды» И. Лежнев заявил, что Ильф горячо любил трудящихся, служил коммунизму и был непартийным большевиком. Одному только Бабелю было трудно подыскивать слова, и он сказал, что Ильф завоевал всеобщее уважение в писательской и читательской среде. Про читательскую среду Бабель оказался прав всяко на шестьдесят лет вперед.

И. А. Ильф. 1933 г.

Большой человек Гроссман

Василий Семенович Гроссман не дожил и до шестидесяти, потому что написать великий роман в России XX века — нелегкая доля. Великий роман никому не льстит и никого не утешает; он насмерть пугает власть и лишает сна коллег.

С 1988 года роман «Жизнь и судьба» известен в России, хотя просачиваться к нам из-за границы он стал еще в 1980-м. Фотопленку с текстом изъятого КГБ романа в 1974 году доставили на Запад усилиями С. И. Липкина, В. Н. Войновича, А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннер. И пять лет там никому до нее не было дела, хотя Солженицын, Максимов и Синявский имели немалые издательские возможности. В 1980 году ленинградцу Е. Г. Эткинду удалось осуществить русское издание романа Гроссмана в Швейцарии. С тех пор книгу перевели на многие языки и оценили по достоинству.

В 1960 году те несколько человек, что прочли роман Гроссмана, не верили, что его когда-нибудь издадут (наибольшим оптимистом был идеолог КПСС Суслов — в беседе с автором романа он определил срок в 50–60 пятилеток. Империя рухнула существенно раньше).

«Жизнь и судьба» — вторая книга романа «За правое дело». Эти две книги написал один и тот же талантливый и честный человек, но два разных писателя — писатель советский и писатель свободный. У советских книг Гроссмана была нелегкая издательская судьба, но это лишь помогло писателю выбрать свободу.

Считалось, что свободную литературную эпоху в России начал Солженицын — кто из неюных читателей не помнит взрывной эффект «Ивана Денисовича»? Казалось, что свободную литературную эпоху и мог начать лишь художник, не связанный с официальной литературой. Гроссман показал, что неодолимое стремление к истине может побеждать не только в ГУЛАГе.

В жизни Василий Семенович был человеком нелегким для тех, кто не предпочитал истину всему другому, и даже неизлечимые любители кидать камни останавливаются перед его именем с застывшей рукой.

В этих заметках о Гроссмане — лишь разрозненные сюжеты, выборочные пересечения его судьбы.

Кому вы поручили писать?

Когда в 1950 году в «Новом мире» шла острая дискуссия, печатать или не печатать роман Гроссмана «За правое дело» (тогда его называли «Сталинград»), редактор журнала А. Твардовский отправил рукопись члену редколлегии М. Шолохову, ожидая его авторитетного суждения. В кратком ответе Шолохова значилось: «Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Судьба не слишком часто сводила Гроссмана и Шолохова, но сводила. Биография Шолохова, как никакая другая писательская биография советской эпохи, порождает массу вопросов, на которые нет внятных, документированных ответов (от года рождения до авторства «Тихого Дона»). Будем придерживаться официальных версий, тогда Гроссман и Шолохов — одногодки. Двадцатилетний Шолохов, за плечами которого были 4 класса гимназии, работа в продотряде и несколько рассказов, приступил к написанию «Тихого Дона» и в 1928 году завершил его первый том. Василий Гроссман в 1929 году окончил МГУ и уехал работать в Донбасс. К этому времени он уже написал несколько рассказов, но вошел в литературу лишь в 1934 году. Шолохов уже был классиком, когда Горький напечатал в альманахе «Год XVII» роман Гроссмана о шахтерах «Глюкауф», а «Литгазета» — рассказ «В городе Бердичеве» (ныне широко известный благодаря фильму А. Аскольдова «Комиссар», запрещенному, уничтоженному и воскресшему в 1988 году).

Гроссман очень высоко ценил «Тихий Дон»; фигура Шолохова интересовала его. Как вспоминает С. Липкин, Гроссман расспрашивал своего друга Андрея Платонова (Шолохов его, бывало, навещал): «Ну, скажи, какой он? Умный?» И еще одну фразу Гроссмана о Шолохове приводит Липкин: «Человек-загадка» (это относится к первым послевоенным годам).

Еще в 1941 году, находясь короткое время в Куйбышеве, Гроссман узнал об антисемитских выходках Шолохова, которые тогда удивили многих. В ноябре 1941 года Гроссман писал из Воронежа в Куйбышев Илье Эренбургу. «Приехал позавчера с фронта… Я говорил с десятками, сотнями крестьян, стариков и старух. Они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом — народ словно вдруг очнулся… Несколько раз с болью и презрением вспоминал антисемитскую клевету Шолохова. Здесь на Юго-Западном фронте тысячи, десятки тысяч евреев. Они идут с автоматами в снежную метель, врываются в занятые немцами деревни, гибнут в боях. Все это я видел. Видел и прославленного командира полка 1-й гвардейской дивизии Когана, и танкистов, и разведчиков. Если Шолохов в Куйбышеве, не откажите передать ему, что

товарищи с фронта знают об его высказываниях. Пусть ему стыдно будет».

Именно осенью 1941 года с Шолоховым случился необратимый надлом, главная причина которого — массовый переход казаков на сторону Гитлера. Шолохов писал только о казачестве; он изобразил события революции, Гражданской войны и коллективизации на Дону, но сколько-нибудь правдивое повествование о реальном пути казачества в годы Отечественной войны изначально оказалось для него невозможным. В год Победы Шолохову было сорок лет, он прожил еще сорок лет в полной непререкаемой славе и за все эти сорок лет написал один рассказ.

В огромном дворце, отгороженный от станичников гигантским забором и милицейской будкой при воротах, жил этот человек, время от времени напоминавший о себе погромными речами на литературных и партсъездах. В 1965 году читатели блистательной книги А. Белинкова легко узнавали его в убийственном портрете: «Бывший писатель, награжденный авторитетом и ставший пугалом, вандеец, казак, драбант, городовой русской литературы».

В 1952 году Гроссман узнал от Твардовского, что Шолохов сказал в Сталинградском обкоме ВКП(б): «Писать о Сталинграде не буду, так как хуже Гроссмана не положено, а лучше не смогу», и счел это добрым знаком.

Когда в марте 1953 года гроссмановский роман громила вся черносотенная банда Союза писателей, главный заводила этого действа М. Бубеннов торжественно огласил итоговое суждение Шолохова: «Роман Гроссмана — плевок в лицо русского народа». Через некоторое время стало ясно, что Лубянка уже не требует крови Гроссмана. Был дан отбой, и в декабре 1954 года на съезде писателей о романе «За правое дело» говорили вполне уважительно. М. Шолохов, выступивший с речью настолько скандальной, что его позволили осадить, перечислил авторов подлинно талантливых произведений послевоенных лет. Он назвал Фадеева, Федина, Павленко, Леонова. Гроссмана он не назвал.

Шолохов дожил до 1980 года, когда роман Гроссмана «Жизнь и судьба» издали за рубежом. Дошли ли до него отзвуки мировой славы книги, которую, по его убеждению, Гроссману никак нельзя было «поручать»?

Хроника мук и крови

Рукопись романа «Сталинград» Василий Гроссман принес в «Новый мир» 2 августа 1949 года; в сентябре редактор журнала К. Симонов принял решение готовить роман к печати. Однако в феврале 1950-го во главе «Нового мира» поставили А. Твардовского, и, прочитав роман Гроссмана, он согласился печатать только военные главы. Гроссман отказался, тогда Твардовский попросил дать ему время подумать и познакомил с рукописью А. Фадеева, генерального секретаря Союза писателей и члена ЦК.

Втянутый обстоятельствами жизни и судьбы в изуверскую кухню сталинской политики и имевший к этой политике вкус, Фадеев (в отличие от литгенералов, сменивших его в «оттепельные» и застойные времена) был как-никак профессиональным писателем и не оценить литературный вес романа Гроссмана не мог. Да и манера письма Гроссмана, неторопливо-старомодная, опирающаяся на стилистику Льва Толстого, была ему очень близка. Прежде он относился к Гроссману, как и к Платонову, враждебно (в газетной статье 1947 года назвал пьесу Гроссмана «Если верить пифагорейцам» вредной), но роман о Сталинграде твердо поддержал. Поддержка Фадеева помогла Твардовскому, и он решил печатать «Сталинград» при условии смены названия на менее обязывающее, добавления главы о Сталине и уводе в тень героев еврейского происхождения.

Рукопись Гроссмана мытарили в «Новом мире» три года, и в этом отражалось то политическое напряжение, которым отмечены последние годы правления Сталина (его палаческий гений не знал старости). На фоне событий, шедших по сценарию отца народов, легче почувствовать драматическую судьбу книги Василия Гроссмана.

К началу журнальной эпопеи уже был убит С. М. Михоэлс, ликвидирован Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), с которым Гроссман сотрудничал в годы войны, арестованы крупнейшие деятели еврейской культуры, проведена кампания по борьбе с «космополитизмом» (литературная часть этих дел осуществлялась при непосредственном участии Фадеева).

В апреле 1950 года роман Гроссмана сдали в набор. Однако печатание его остановил донос нового члена редколлегии М. Бубеннова (для автора «Белой березы» — серого опуса, увенчанного Сталинской премией, — выдающийся роман Гроссмана был как нож в горле). Решение вопроса перенесли в ЦК. Ответа оттуда не было долго, и в декабре Гроссман написал Сталину, прося его решить судьбу романа. Прямого ответа не последовало. В мае 1951 года Фадеев обсуждал вопрос о романе

Гроссмана с М. Сусловым и понял, что ни Сталин, ни Маленков романа не прочли. В очередной раз Гроссману советуют смягчить мрачный тон, дать главу о Сталине и затушевать еврейскую тему.

Летом 1951 года арестовали министра госбезопасности В. Абакумова (палачу инкриминировали недостаточно эффективную работу), новый министр С. Игнатьев получил новые задания Сталина.

В октябре Гроссман пишет Маленкову, желая «получить окончательный и ясный ответ о судьбе книги». В январе 1952 года Фадеев предлагает Гроссману новый план переделки: снизив философский и эпический размах романа, надо превратить его в книгу «личного опыта».

13 марта 1952 года принято секретное постановление начать следствие по делу всех лиц еврейского происхождения, чьи имена назывались на допросах по делу ЕАК. (Идет подготовка новых крупномасштабных черносотенных процессов. Первыми жертвами определены Илья Эренбург и Василий Гроссман.) 8 мая началось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу ЕАК: среди обвиняемых в шпионаже и антисоветской деятельности — писатели П. Маркиш, Л. Квитко, Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, актер В. Зускин, академик Л. Штерн и другие.

22 мая Фадеев одобряет четвертую правку романа Гроссмана и 3 июня сообщает автору, что роман сдается в набор под названием «За правое дело».

4 июня на допросе подсудимых по делу ЕАК многократно называются имена Эренбурга и Гроссмана.

11 июня Главлит подписывает верстку седьмого номера журнала с первыми главами романа «За правое дело». М. Бубеннов верстку не подписывает и не возвращает в редакцию. 2 июля журнал с началом книги Гроссмана выходит в свет.

18 июля всем подсудимым по делу ЕАК (кроме биолога Л.С. Штерн, которой Сталин, скорее всего, приписывал знание секретов долголетия) выносится смертный приговор, несмотря на их отказ признать себя виновными. 12 августа приговор приводится в исполнение.

В октябре 1952 года «Новый мир» завершает публикацию романа «За правое дело». 13 октября по рекомендации Фадеева секция прозы Союза писателей выдвигает роман на Сталинскую премию, появляются первые хвалебные рецензии.

Осенью в Москве проводятся аресты крупнейших профессоров-медиков, преимущественно евреев. Начинается практическая подготовка процесса «врачей-отравителей».

27 декабря «Литературная газета» сообщает, что В. Гроссман

работает над второй книгой романа «За правое дело».

13 января 1953 года объявлено об аресте «врачей-отравителей». На местах готовятся списки для депортации еврейского населения.

16 января редсовет издательства «Советский писатель» обсуждает роман Гроссмана, готовящийся к изданию. Впервые публично высказываются обвинения автора в еврейском буржуазном национализме. Принимается решение о необходимости переработки текста. 2 февраля обвинения Гроссмана в сионизме повторяются на обсуждении романа в редакции «Нового мира», М. Бубеннов отправляет Сталину письмо о романе Гроссмана.

13 февраля по указанию Сталина «Правда» публикует погромную статью Бубеннова о романе «За правое дело». Аналогичные статьи появляются в других изданиях. Гроссман уезжает из Москвы, живет на даче своего друга С. Липкина.

28 февраля в ответ на призыв Фадеева отказаться от романа для спасения жизни Гроссман направляет очень сдержанное письмо секретариату Союза писателей. Он сообщает, что хочет, «учтя критику партийной печати, продолжать работу над второй книгой романа, посвященной непосредственно Сталинградской битве. В этой работе я буду стремиться к марксистски четкому, к более глубокому идейно-философскому осмыслению событий».

3 марта «Литгазета» помещает письмо редколлегии «Нового мира», подписанное Твардовским с коллегами, в котором публикация романа Гроссмана признается серьезной политической ошибкой и дается обещание извлечь из нее необходимые уроки.

5 марта умирает Сталин; в Москве проведены аресты литераторов (И. Альтмана и др.).

24 марта президиум Союза писателей обсуждает роман Гроссмана. Фадеев признает: «Мы способствовали проникновению в печать вещи, которая является идейно порочной, идеологически вредной и способной обмануть неискушенного читателя». Твардовский, каясь в содеянном, говорит о псевдофилософичности и эпигонстве Гроссмана: «Люди были не в состоянии переварить эту „философию“, вычитанную из настольного календаря и с докторальностью подносимую со страниц нашего журнала».

28 марта «Литгазета» публикует статью Фадеева с политическими обвинениями в адрес романа Гроссмана.

4 апреля «Правда» сообщает о реабилитации «врачей-отравителей» и опровергает клевету на С. М. Михоэлса.

Начинается «оттепель».

Если бы Фадеев выступил с предательским заявлением не 24 марта, а 24 февраля, это никого бы не удивило, но в судилище, учиненном после смерти диктатора, была загадка. Илья Эренбург вспоминал, как сразу после реабилитации врачей «Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: „Вы в меня не бросите камень… Я попросту испугался“. Я спросил: „Но почему после его смерти?“ Он ответил: „Я думал, что начинается самое страшное“».

Разгадка этой фразы проста. Фадеева ненавидел Берия (у них было столкновение еще в 1937 году, когда Берия работал в Тбилиси); была попытка ликвидировать Фадеева «случайным» наездом машины. Когда после смерти Сталина к власти пришел триумвират Маленков — Берия — Хрущев, Фадеев, опасаясь немедленной расправы, решил кинуть своему врагу очередную кость, надеясь, что это предательство его спасет. Он горько сожалел об этом, особенно после ареста Берии в конце мая 1953 года, и сделал все, чтобы роман «За правое дело» был выпущен Воениздатом уже в 1954 году.

На Втором съезде писателей Фадеев публично покаялся: «Я до сих пор жалею, что проявил слабость, когда в своей статье о романе поддержал не только то, что было справедливым в критике в адрес этого романа, а и назвал роман идеологически вредным». Фадеев, правда, утверждал, что критика была небесполезна для Гроссмана и после очередной переработки роман «по праву занял свое место среди лучших книг года».

В начале мая 1956 года, после разоблачения Сталина XX съездом и всего за неделю до самоубийства, Фадеев сказал одному своему приятелю: «Мы сейчас все в дерьме. Никто сейчас после того, что произошло, по-настоящему писать не сможет — ни Шолохов, ни я, никто из людей нашего поколения».

В те же самые дни человек этого поколения Василий Гроссман самозабвенно работал над романом «Жизнь и судьба».

По праву памяти

Вторую книгу сталинградской эпопеи роман «Жизнь и судьба» Гроссман завершил в 1960-м. Друзья Гроссмана были убеждены, что если бы он отдал роман Твардовскому в «Новый мир», то катастрофа не разразилась бы. Напомню, что роман был передан в журнал «Знамя», и его редактор В. Кожевников, ужаснувшись прочитанному, отнес рукопись прямехонько на Лубянку. Остальные экземпляры ее в феврале 1961 года изъяли по ордеру — арест рукописи был новым жанром деятельности

КПСС — КГБ. И хотя Гроссману удалось обмануть всемогущую контору и спасти два экземпляра рукописи, беспрецедентная жестокость, примененная к труду его жизни, убила писателя: Гроссман заболел и за три года рак свел его в могилу.

Понятно, что Твардовский не смог бы напечатать «Жизнь и судьбу», но то, что он не повез бы рукопись в КГБ, несомненно. Однако Гроссман был не в силах переступить через свою обиду — он не мог простить Твардовскому отречения от романа «За правое дело». Стенограмму погромного заседания в Союзе писателей 24 марта 1953 года, на которое Гроссман не явился, он прочел лишь в сентябре 1956 года. «Самое тяжелое чувство, — писал об этом Гроссман С. Липкину, — вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так поступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом».

Эти слова горько читать каждому, кто ценит поэзию Твардовского и то, что он сделал в 60-е годы, руководя «Новым миром».

Гроссману были близки и горестно-правдивый «Дом у дороги», и звонкий «Теркин», да и сам их автор, но о «Стране Муравии» он в «Жизни и судьбе» написал недвусмысленно: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца»; эти слова были тем более уместны, что сам Твардовский неизменно шпынял интеллигенцию — у нее-де сердце не болит за муки крестьянства, а переживает она лишь партийные репрессии 1937 года.

Твардовский умел больно обижать, а Гроссман не знал дара забывать. Чего стоит одна только идея Твардовского в пору редактирования романа «За правое дело», в котором недоброжелателей особенно раздражал физик Штрум: «Ну сделай своего Штрума начальником военторга». — «А какую должность ты предназначаешь Эйнштейну?» — спросил его Гроссман.

Узнав об отречении Твардовского от романа «За правое дело», Гроссман пошел в редакцию выяснять отношения. Диалог был таким (воспоминания С. Липкина):

— Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?

— Хочу, — сказал Гроссман.

Твардовский вспыхнул.

Когда Твардовский не рискнул напечатать рассказ Гроссмана «Тиргартен», он — и это особенно задело Гроссмана — стал

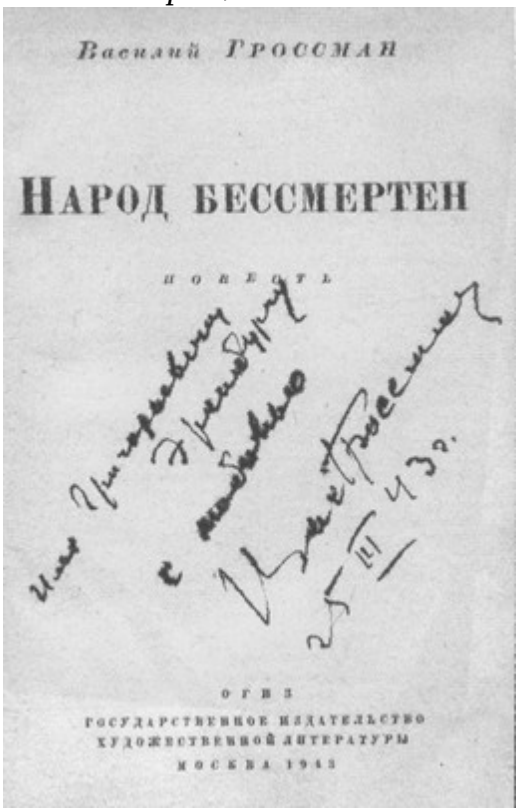
оправдываться желанием уберечь автора от неприятностей (воспоминания Л. Лазарева). Да и другие, как бы мелкие, эпизоды память Гроссмана не стирала — Гроссман, как вспоминал Борис Слуцкий, с бешенством рассказывал о Твардовском: «Он на каком-то приеме говорит мне: „Посмотри на Бубеннова, он похож на Чехова“. Дело было до 1949 года, и Бубеннов в ту пору был просто молодой, быстро идущий в гору писатель. Но Гроссман никому и ничего не прощал, даже недогадливости».

И еще два эпизода, рассказанных С. Липкиным.

После ареста романа «Жизнь и судьба» к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас писать правду, нет свободы». А когда сразу после смерти Гроссмана Липкин обратился к Твардовскому с просьбой перепечатать в «Новом мире» из «Литературной Армении» замечательные очерки Гроссмана «Добро вам», тот наотрез отказался. «Он сказал, — пишет Липкин, — что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмане, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу».

Гроссман умер 15 сентября 1964 года, но в девятый номер «Нового мира», подписанный к печати 9 сентября, втиснули краткое сообщение о его смерти. Гроссман был назван замечательным русским советским писателем и одним из ближайших сотрудников журнала. Еще сообщалось, что до последних дней он работал над продолжением романа «За правое дело». Конечно, это была неправда, но сто тысяч подписчиков журнала получали право интересоваться судьбой рукописи, оставшейся от умершего писателя.

В. С. Гроссман. 21 ноября 1960 г.



Автограф В. Гроссмана на книге «Народ бессмертен» (Москва, 1943): «Илье Григорьевичу Эренбургу с любовью Вас. Гроссман 25.III.43 г.»

Нас не нужно жалеть (Семен Гудзенко)

Семен Гудзенко — киевлянин, в 1939 году он приехал в Москву и поступил в ИФЛИ — самый престижный тогда гуманитарный вуз страны. В предвоенные годы поколение будущих поэтов России формировалось в трех московских вузах — ИФЛИ, МГУ и Литературном. Поэзия по социальному положению ее авторов была студенческой, хотя студенты были разновозрастными (ИФЛИ тогда заканчивал Твардовский, и в экзаменационную программу входила его «Страна Муравия»).

Время для литературы, как и для страны в целом, стояло тяжкое — шок от мощного кровопускания, совершенного в годы террора, действовал долго, полуобстрелянной молодежи поиски слова давались легче, чем старшим, чья воля была парализована. Имена молодых поэтов, по существу еще не печатавшихся, уже шумели по Москве. Фон был резким и ярким, на нем Гудзенко в глаза не бросался, недаром в его послевоенных книгах нет довоенных стихов.

Смерть умеет выбирать на войне лучших — Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров погибли в начале Отечественной, но их юношеские стихи стали хрестоматийными, их справедливо включают в антологии русской поэзии, справедливо не только по отношению к горькой судьбе и таланту авторов, но и по отношению к качеству поэзии.

В свой последний приезд в Питер Юрий Левитанский вспоминал, как они с Гудзенко вместе вели бой, — вряд ли история войн знала второй такой случай: два поэта за одним пулеметом…

Гудзенко повезло — он был тяжело ранен, но не погиб.

В 1942-м он написал первые стихи, вписавшие его имя в русскую поэзию навсегда. В 1943-м их напечатало «Знамя». Значение этой публикации для поэзии того времени сравнимо лишь со значением, которое имела для прозы публикация «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова все в том же «Знамени». Люди, не забывавшие стихов в окопах, поняли, как можно и как нужно говорить о том, что они видят и чувствуют. Официальной литературе предписывалось учить новых Матросовых легкости подвига, а Гудзенко писал:

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв. И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Конечно, Гудзенко повезло — он не погиб, он написал замечательные стихи, и эти стихи тут же напечатали.

Приехав после ранения в Москву, Гудзенко пришел к Илье Эренбургу, чье влияние — литературное и политическое, а вернее, политическое и литературное — было тогда беспрецедентным, и прочел ему свои стихи. «Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где рвутся снаряды. Я повторял: „Еще… еще“», — так вспоминал эту встречу уже совсем старый Эренбург, а тогда, в 1942-м, он сделал все, что мог, — публикации стихов, литературный вечер в Москве, рецензии. Выступая на первом вечере Гудзенко в Москве, Эренбург определил самую суть его стихов: «Это поэзия изнутри войны. Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны, с фронта». Стоит привести еще один фрагмент этой стенограммы, чтобы понять атмосферу 1943 года, немыслимую тремя годами раньше. Как известно, в 1936 году прошла первая, инспирированная лично Сталиным кампания борьбы с инакомыслием в культуре, провели ее под лозунгом «борьбы с формализмом»; жертв было много, и жертвы были золотой пробы — Шостакович, Мейерхольд, Тышлер… Итогов этой кампании никто не отменял. И тем не менее Эренбург без всякой фронды, спокойно и сознательно заявил, что в поэзии Гудзенко «есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом». В 1936-м такая аттестация означала волчий билет, в 1943-м Гудзенко печатали лучшие журналы Москвы.

Слава не испортила поэта, она придала ему уверенности; его стихи 1944–1945 годов столь же хрестоматийны, как и написанные в 1942-1943-м. От имени своего поколения Гудзенко говорил со спокойной уверенностью человека, исполнившего свой долг:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не
жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время
чисты…

Гудзенко легко пережил свою славу военных лет; его товарищам по ИФЛИ пережить чужую славу было труднее. Давид Самойлов, тайно претендовавший на лидерство и начавший

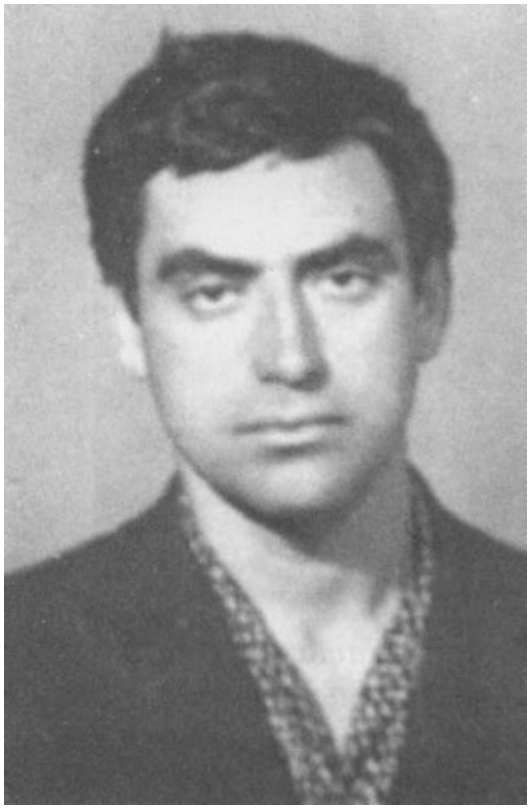
писать настоящие стихи лишь через 20 лет после начала войны, вспоминал, как увидел Гудзенко в Москве в 1944-м: «Семен был в полуштатском положении. И уже в полуславе, к которой относился с удовлетворенным добродушием. Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении становится первым».

В 1945-м Гудзенко написал стихи, в которых был аромат Киплинга:

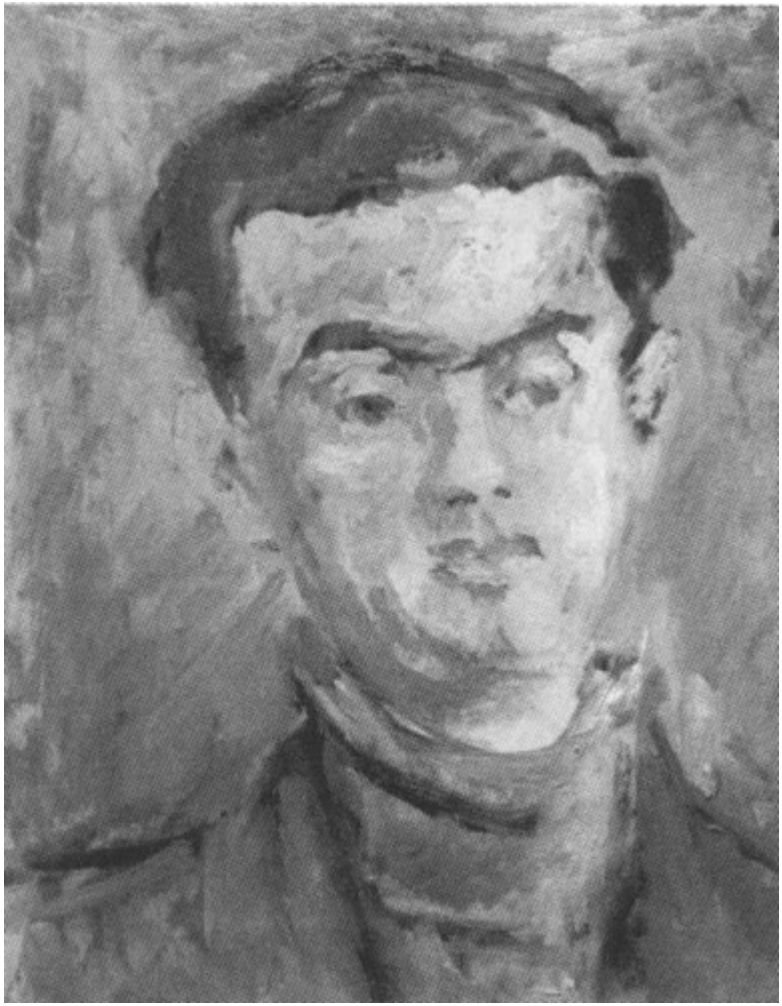
Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Он уже знал, что носит в себе смерть, — стихи оказались пророческими. Тяжелейшая военная контузия достала Гудзенко, последний год он провел в госпиталях, но и трудная операция не спасла его. Он умер в черном феврале 1953-го, когда до рассвета оставалось совсем немного… В конце 1953-го напечатали стихи Слуцкого, и началась другая эпоха…

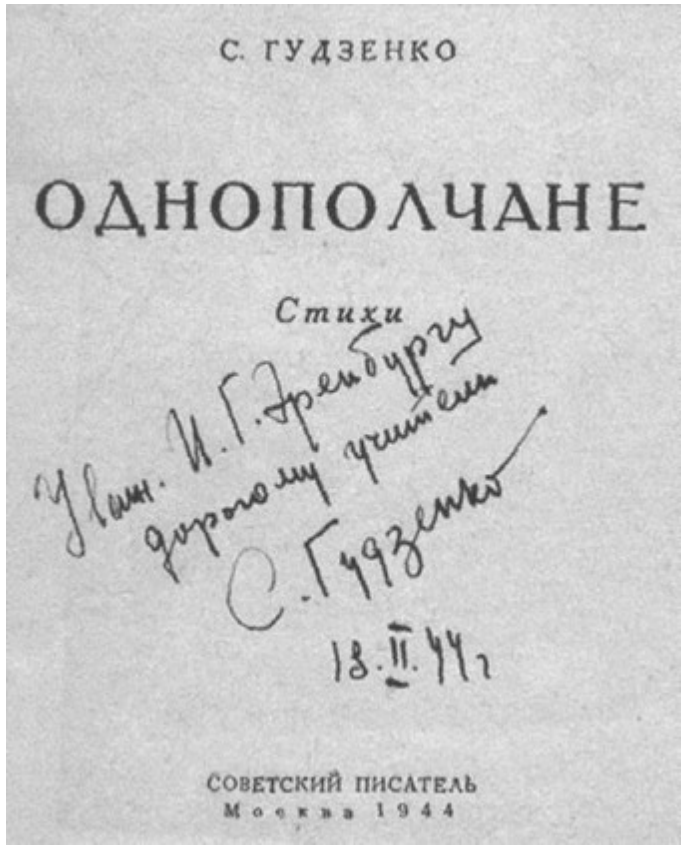
«Нас не нужно жалеть», — как заклинание повторял Гудзенко, но и в сегодняшней России, где забыли, что значит жалеть живых, Гудзенко очень жаль. «Жаль до слез», — как написал отнюдь не слезливый Эренбург.



С. П. Гудзенко



Портрет С. П. Гудзенко работы Л. М. Козинцевой-Эренбург



Автограф С. Гудзенко на книге «Однополчане» (Москва, 1944)

Поэт Авром Суцкевер — в тридцать и в девяносто

Еврейский поэт Авром Суцкевер родился в Литве в 1913 году. Европейские читатели литературы на идише узнали его еще до Второй мировой войны. В 1939-м Суцкевер стал гражданином СССР (при этом он никуда не переезжал, новое гражданство пришло само: вместе с танками Красной армии, оккупировавшей Литву). Это новое гражданство Суцкевер имел 7 лет, из которых 3 года оно не действовало: в 1941–1944 годах Литву оккупировал уже не Сталин, а его коллега Гитлер (для Суцкевера именно эти годы оказались беспросветным кошмаром; впрочем, большинство евреев Литвы до 1944-го не дотянуло).

Из страны, победившей Гитлера, Суцкеверу удалось уехать в 1946-м: сначала в Польшу, а затем в Палестину, как называли Израиль до его провозглашения. Для него это была вторая большая удача — не трудно представить, что его ожидало бы в СССР в 1949-м. Свои 90 лет он встретил на «исторической родине» с ясным умом и хорошей памятью.

Советские любители поэзии стихов Суцкевера не знали, потому что они не переводились и не печатались (хотя сам Суцкевер до сих пор вспоминает свое стихотворение, переведенное Пастернаком, — перевод этот, увы, так и не напечатан). В поначалу знаменитой своим либерализмом советской Краткой литературной энциклопедии имя Суцкевера, набранное мелким шрифтом, встречается один раз — в перечне авторов, печатаемых в Израиле на идише (1966). Не слышали о поэте Суцкевере и в нынешней России, где разнообразие переводимой литературы способно ошеломить любого книжного человека.

Между тем в жизни Суцкевера был один день, когда в СССР о нем узнали едва ли не все грамотные люди. Это произошло 29 апреля 1944 года — в тот день главная, миллионнотиражная газета «Правда» напечатала статью главного (не по должности, а по гамбургскому счету) публициста Ильи Эренбурга, впечатляюще названную «Торжество человека». Это была статья о Суцкевере — еврейском поэте и еврейском партизане.

«Я давно слыхал о стихах Суцкевера, — писал в ней Эренбург. — Мне говорили о них и замечательный австрийский романист, и польский поэт Тувим». Тут необходим комментарий: сам Эренбург на идише не читал, а читали его друзья, которых он назвал; знаменитый австрийский романист — это, разумеется,

Йозеф Рот, с которым Эренбург дружил, но его имя было тогда через цензуру непроходимо. Что же касается Тувима, то недавно Суцкевер, вспоминая о своих встречах с ним в Варшаве в 1930-е годы, заметил: «Бог захотел, чтобы при встрече Эренбурга с Тувимом — они были друзья — он спросил, как обстоят дела в Польше с поэзией. Тувим ответил, что новых сил не видит, но познакомился с еврейским поэтом и был воодушевлен стихами, которые тот читал, а фамилия поэта — Суцкевер. А у Эренбурга была феноменальная память…»

Рассказав в «Торжестве человека» о том, как еврейские партизаны отбили у немцев украденные ими в России и Литве памятники культуры (манускрипты XV и XVI веков, рисунки Репина, письма Толстого и Горького), а Суцкевер привез их в Москву, Эренбург не ограничился повествованием о партизанских подвигах, он говорил и о стихах Суцкевера, о содержании его поэмы «Кол нидре», написанной в 1942 году. Не сказал он только о том, как и почему Суцкевер оказался в 1944 году в Москве. Об этом Суцкевер поведал все в том же интервью, которое я уже цитировал. Из Виленского гетто ему удалось передать свою поэму «Кол нидре» партизану из леса, попросив его, если можно, переслать ее в Москву Юстасу Палецкису, литовскому президенту. Палецкис знал идиш, был хорошо знаком с Суцкевером и даже переводил его стихи на литовский. Поэма до Палецкиса дошла, и он рассказал об этом Эренбургу, с которым дружил. А в 1944 году Палецкис смог организовать посылку спецсамолета в Литву за Суцкевером и в Москве познакомил его с Ильей Григорьевичем.

«Эренбург был в моих глазах интереснейшим писателем, — рассказывал Суцкевер. — Он меня просил читать ему стихи на иврите. Я ему рассказал, что учился в ивритской гимназии, и читал ему наизусть строки из баллад Черниховского. Он был в восторге. „Я не могу освободиться от волшебства ивритских звуков“, — часто говорил он мне. Он мне читал свои военные стихи по-русски. Я перевел его стихотворение, где была строчка „Мать мою звали по имени Хана…“, на идиш. Я очень любил Эренбурга раньше, люблю и теперь. За все, что Эренбург для меня сделал, я не мог и десятой доли отплатить».

(Замечу, что в 1945 году Эренбург включил статью «Торжество человека» в четвертый том своей публицистики «Война» — более того, она открывала одноименный раздел книги; книгу успели набрать, но после 14 апреля, когда Эренбурга по указанию Сталина обвинили в «разжигании ненависти к немецкому народу», — набор рассыпали.)

Следующие встречи Эренбурга с виленским поэтом были уже

в освобожденной от немцев Литве, куда Эренбург приезжал в 1944 году и где встречался с еврейскими партизанами.

Все это стоит за статьей Эренбурга. Но не только это. Современный читатель, который прочтет статью «Торжество человека», не сможет представить себе впечатления, которое она в 1944-м произвела на читателей СССР вообще и на еврейских читателей в частности. Эренбург в 1944-м получал десятки писем с вопросом: «Почему вы не пишете о подвигах евреев на войне?» Между тем начиная с 1943-го он — публицист, всю войну едва ли не ежедневно выступавший в советской и зарубежной печати, официально признанный и всенародно любимый, — испытывал несомненные цензурные трудности во всем, что так или иначе касалось еврейской темы. Ему стоило неимоверных сил, литературной ловкости, воли и упорства, чтобы этот пресс превозмогать, хотя евреям-фронтовикам, чувствовавшим себя на фронте куда свободнее, чем писатель в Москве, этого казалось недостаточно. Статья о Суцкевере, напечатанная в «Правде», воспринималась чуткими читателями Эренбурга как безусловная победа. (Замечу, что сегодня, когда усердием антисемитской пропаганды внедряется в сознание российских читателей неновая ложь, что евреи не воевали, обращение к опровергающим ее свидетельствам и документам военных лет чрезвычайно актуально.)

Сказав, что благодаря «Правде» в 1944-м в СССР узнали имя Суцкевера, следует добавить: второй раз «Правда» написала о Суцкевере 4 марта 1946-го, опубликовав репортаж «От имени человечества» своего спецкора на Нюрнбергском процессе писателя Бориса Полевого. Вот что он сообщал читателям: «Еврейский поэт Абрам Суцкевер, житель Вильно, человек с европейским именем, является на земле, вероятно, одним из немногих людей, кому удалось вырваться живым из организованного фашистами еврейского гетто. Обычно таких не было. Советские партизаны помогли Абраму Суцкеверу спастись из гетто. В Париже уже вышла его книжка „Виленское гетто“, которая в несколько дней разошлась в двух изданиях. Сейчас она выходит в Нью-Йорке. Эта книжка написана кровью сердца. В ней поэт рассказал только то, что он видел своими глазами. Он рассказал об этом на суде. Он говорил, волнуясь, его голос дрожал, он часто бледнел и нервно хватался за края свидетельской трибуны. Одно воспоминание о том, что он видел и что пережил, доводило этого человека почти до обморочного состояния. А ведь он прошел суровую школу: он был партизаном. То, что он рассказал, действительно может заставить содрогнуться самого закаленного человека. Он не называл цифр,

он говорил только о судьбе своей семьи. О своей жене, у которой на глазах был убит только что рожденный ребенок, о том, как она сама была увезена и убита, о том, как на улицах гетто мостовые иной раз были совершенно красными от крови, и кровь эта, как дождевая вода, текла по желобам вдоль тротуаров в сточные канавы. На глазах поэта гибли виднейшие представители интеллигенции, люди с европейскими именами, ученые, фамилии которых произносились с уважением во всем мире…»

Суцкевер попал в Нюрнберг стараниями Палецкиса, Эренбурга и Михоэлса. Когда он узнал, что его направляют на Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками, ему пришла в голову дикая мысль убить Геринга, от этой мысли его перед самой поездкой излечил Эренбург. Суцкевер рассказывал об этом так: «Пришел я к Эренбургу прощаться, посмотрел он так на меня, у него был необычный взгляд, поверх очков, и как он взглянет на человека, так сразу узнаёт, что тот думает, такое у меня было чувство, и вот я с ним расцеловался, и он мне говорит: „Это для тебя большая сатисфакция, что ты можешь отомстить убийцам нашего народа“. Так он мне сказал. Я говорю ему: „Дорогой Илья Григорьевич, прежде всего я вас благодарю за ваши усилия, но что касается мести, я с вами не согласен, главная месть произойдет, когда у нас будет собственная земля — Эрец-Исраэль“… Он не поверил, что это для меня самое главное. И он мне говорит: „Предположим, разговор ведь между нами, вы застрелили убийцу, — он чувствовал, что я задумал, поэтому я считаю его гениальным человеком, я ведь никому не рассказывал о своем плане, а он через приспущенные очки читал мои мысли, — давайте на секунду представим, что вам пришла в голову мысль застрелить убийц, — он даже сказал Геринга, таких проницательных глаз я больше в своей жизни не встречал, — вы же этим ничего не добились“. Я спрашиваю: „Почему?“ Он отвечает: „Потому что русские не поверят, что вы это сделали по собственной воле, они будут считать, что вас послали американцы. И американцы вам не поверят, и будут считать, что вас послали русские“. Неожиданная мысль! И где-то он был прав. И это меня остановило. Это обезоружило мое геройство».

Две книги Суцкевера сохранились у Эренбурга — свидетельство доброго отношения к нему еврейского поэта — «Siberia. A Poem by A. Sutzkever» (London, New York, Toronto) с восемью рисунками Шагала и присланное к 75-летию Ильи Григорьевича израильское издание с надписью на уже подзабытом русском: «Дорогой, уважаемый Илие Эренбург ко дню Вашего рождения посылаю Вам мою поэму о детстве моем. Дружественным приветом А. Суцкевер. 1.2.1966». Наконец,

напомню, что, работая над мемуарами «Люди, годы, жизнь», Эренбург счел обязательным рассказать о встрече с Суцкевером (см. четвертую главу шестой книги), хотя прекрасно знал, что такого рода воспоминания давно уже злили Старую площадь…

А. Суцкевер

Глаза Маши Рольникайте

Фото девочки, сделанное в Вильнюсе в 1940-м году, известно во многих странах. Девочку зовут Маша Рольникайте (окончание фамилии — атрибут литовского гражданства). Ее отец — адвокат с «левой» репутацией; семья счастливая, благополучная, четверо детей. Дома говорят на идише, с литовцами — по-литовски. Когда в Литву пришли русские, Маша могла объясняться с ними только жестами; за год она немного освоила русский язык. У нее огромные глаза, живые, улыбающиеся, красивые. Она, слава Богу, не знает, что им предстоит вскоре увидеть, что ей предстоит пережить.

21 июля 1941 года Маше исполнится 14 лет. Этот день она вместе с мамой, сестрами и братиком встретит в Вильнюсе, оккупированном гитлеровцами; в сентябре немцы сгонят 80 тысяч евреев в гетто. Машу ждут 45 месяцев мук, непосильных и зрелому человеку, — голод, физическая работа, от которой падают крепкие взрослые женщины, побои, издевательства, ежедневное ожидание смерти (слабых, больных, детей, стариков, просто заложников систематически вывозят из гетто в Понары — там расстреливают).

От 80 тысяч к весне 1945-го останется несколько сотен полутрупов. Мама, сестра, брат Маши погибнут в гетто, старшей сестре удастся бежать. После ликвидации гетто в сентябре 1943 года Машу ждут еще два концлагеря — в Штрасденгофе (под Ригой) и в Штутгофе (Польша) — один страшнее другого, — а в них путь от ворот до газовой камеры…

Когда Красная армия будет уже совсем близко и последних заключенных в бесшумной спешке погонят дальше на Запад, у Маши кончатся силы — сначала женщины еще поволокут ее, но, когда она уже не сможет передвигать ноги и ее оставят в кювете — умирать; Бог, терпеливо взиравший на все, что творится, пошлет ей узницу из Венгрии (все будет, как в тумане, и Маша не узнает ее имени) — она вытащит коченевшую девушку, и вдвоем, опираясь на палки, они поплетутся дальше. На следующий день, 10 марта 1945 года, их спасут бойцы Красной армии…

С первых дней гетто Маша вела дневник (она любила книжки и школьницей писала стихи). Записывала все, что случилось, что видела и слышала; первую тетрадку передала своему учителю Йонайтису (он, чем мог, помогал Маше и ее близким и тетрадку сохранил). Потом Маша писала на обрывках бумажных мешков из-под цемента и все заучивала наизусть — записки могли отобрать, а написанное нужно было сохранить. После

освобождения, еще в карантине, Маша переписала весь дневник в три тетради…

Вернувшись в Вильнюс, она доучивалась в школе, работала, потом заочно кончила Литературный институт. В книге «Что было потом», над которой Мария Григорьевна Рольникайте работала немало лет, есть рассказ о том, как в 1946 году в Вильнюс приехал С. М. Михоэлс, великий актер, председатель Еврейского антифашистского комитета СССР. Михоэлс побывал в Вильнюсском еврейском музее, и там ему рассказали о дневнике Маши. Михоэлс захотел его прочесть. Он получил три тетради вечером, за день до возвращения в Москву, и на следующий день сказал Маше: «Я читал до пяти утра. Больше не хватило сил». Третью, непрочтенную, тетрадь Михоэлс увез в Москву. Он знал, какие препятствия чинят выходу «Черной книги» (сборника свидетельств об уничтожении гитлеровцами еврейского населения СССР, составленного под редакцией Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана), и поэтому сказал Маше о ее тетрадях: «Издать это сейчас нельзя, — а чтобы подбодрить ее, добавил: — Надо строить новую жизнь, хватит плакать о прошлом». Голос у него был бодрый, а глаза печальные. В январе 1948 года Михоэлса убили, закрыли его театр, а вскоре и Еврейский музей в Вильнюсе…

В 1948 году в Австрии поймали коменданта Вильнюсского гетто Мурера — он лично с упоением избивал и расстреливал узников гетто. Мурера выдали СССР. Судили его в Вильнюсе; он держался нагло, с презрением глядел на свидетелей — недобитых им Juden. Ему дали 25 лет, но он не сник, верил, что выживет. В 1955 году СССР подписал договор с Австрией, и Хрущев в порядке дружеского жеста освободил из советских тюрем тысячу австрийцев. Среди них был и Мурер.

Рауля Валленберга, спасшего от гитлеровцев десятки тысяч евреев, Кремль распорядился уничтожить, и его убили в Лубянской тюрьме. Францу Муреру, убивавшему еврейских женщин и детей, Кремль даровал свободу, и его отпустили домой наслаждаться жизнью.

В 1961 году израильтяне отловили одного из главных палачей еврейского народа Адольфа Эйхмана, судили его и казнили. Процесс Эйхмана имел огромный резонанс в мире. Он всколыхнул и Австрию. Мурера снова арестовали и предали суду. СССР в этом процессе участвовать не стал. Долгое разбирательство кончилось позорно — Мурера оправдали. Это решение заставило Машу Рольникайте достать свой дневник, перевести его на литовский язык и отнести в вильнюсское издательство. Она назвала рукопись «Я хочу жить».

В Москве об этом узнал Илья Эренбург, он выразил желание познакомиться с рукописью. Но Эренбург не знал ни литовского, ни идиша, и Маша перевела свой дневник на русский язык специально для Ильи Григорьевича. 28 августа 1962 года он написал автору дневника: «Я прочитал Вашу рукопись не отрываясь, нашел ее очень интересной и надеюсь, что она будет напечатана. Перевод неплохой, но все же требует некоторой небольшой редакторской обработки… Последний мой совет — измените название, найдите другое, более спокойное. После того как эта книга выйдет на литовском языке, я помогу Вам в напечатании ее перевода на западные языки». Эренбург слово сдержал, и в 1966-м книга М. Рольникайте «Я должна рассказать» вышла с его предисловием в Париже. Годом раньше ее напечатала ленинградская «Звезда». С тех пор книга «Я должна рассказать» издана в 18 странах. Многие издания ее украшает портрет автора, сделанный в Вильнюсе в 1940 году…

Маша Рольникайте стала писательницей. Она пишет только о том, что хорошо знает, что считает самым важным в жизни. Несколько десятилетий она живет в Питере, здесь написаны и напечатаны все ее книги.

Я не пишу юбилейную статью о творчестве писательницы М. Рольникайте, хотя шесть ее повестей стоят подробного разговора. По временам голос ее звучал приглушенно, как в «Привыкни к свету» (1976), потом он обрел большую раскованность, как в повести «Свадебный подарок, или На черный день» (1990).

Мария Григорьевна все так же активна, доброжелательна, внимательна к людям, как и в давнюю пору, когда мы познакомились. Только глаза ее часто бывают печальны и растерянны…

10 марта 1945 года молоденький красноармеец сказал Маше: «Не плачь, сестренка, мы тебя больше в обиду не дадим». Неужели это его внук стоит сейчас на Невском со свастикой на рукаве и продает фашистские листки?

Мне бывает стыдно смотреть в глаза Марии Григорьевне. Вроде ни в чем не виноват, а все равно стыдно…

Маша Рольникайте

Презентация новой книги М. Г. Рольникайте. Справа налево: Л. Дановский, М. Рольникайте, Б. Фрезинский. Санкт-Петербург, 2002 г.

Жизнь после смерти (Лев Дановский)

Похороны Льва Абрамовича Айзенштадта собрали массу народа.

Шедшие к нему от метро в сторону больничного морга невольно вычислялись в общем потоке; потом стало понятно: тут были товарищи школьных и вузовских лет, коллеги по прежней (совшарашка) работе, родные и друзья, наконец — читатели и ученики поэта Льва Дановского.

Что-то отличало их от других, тоже спешивших к задворкам больницы.

После безмолвья морговской душегубки, где прежний формальный кумач давно уже бездумно-расторопно заменен православными хоругвями и где в неуважительной часовенной тесноте не всем удалось пробиться к гробу, лишь на просторе сельского кладбища, в пригородной снежной белизне прощание обрело достойные черты.

На компактном плоском полукруге кладбища, окаймленного высоким зимним лесом, все приехавшие свободно расположились вокруг Лёвы, безучастно лежавшего под большим небом. Никого больше не было, и обычное на городских кладбищах ощущение фабричного, поспешного, планового потока здесь не возникало, не утяжеляло тоски. А потому и несуетная кладбищенская обслуга безропотно ожидала своего череда для привычно завершающего дело закапывания. Вместо рыданий близких и казенных или сбивчивых, неточных слов прощания читались Лёвины стихи, больше поздние, и, как бывает в таких случаях, они приоткрывали новый и горький теперь смысл, личный для каждого. Голос был индивидуальный, Лёвин, не заученный, молитвенно-утешающий.

Фон равнодушно-вечной природы придавал всему высокий и сосредоточенный смысл…

Мы познакомились поздно, теперь приходится думать: слишком поздно. В конце осени 2000 года незнакомый человек позвонил мне и сказал, что хочет взять интервью для журнала «Народ Книги в мире книг» — к 110-летию Ильи Эренбурга. Так мы встретились, но подружились позже — вскоре, но не сразу. Так же не сразу узнал, что Лёва пишет стихи; свою первую книжку, вышедшую в 98-м, он подарил мне в мае 2001-го в Музее Ахматовой, где открылась выставка «Эренбург-фотограф». Стихи Лёвы оказались превосходными, но, показалось мне: в них слишком часто звучал не его голос, а голоса узнаваемые,

разумеется, первостатейные, но не его. Я сказал ему об этом, даже назвал Бродского и Кушнера, и уже потом обрадовался, что он не обиделся, согласился. Новые стихи, которые время от времени Лёва давал прочесть или послушать, были так хороши, что разговор о его новой книге возникал у нас постоянно. Ее путь к читателю оказался долгим, непростительно, но все-таки Лёва ее дождался — хорошо отпечатанную книгу отменных стихов, и, думаю, она стала событием для многих, ее прочитавших. Последний, как оказалось, Лёвин год прошел под ее знаком, и теперь это кажется большой удачей справедливости. Новые стихи этого последнего года говорили о том, что их автор держал завоеванную им высоту легко и прочно.

Однажды он принес мне напечатанный на листке стишок, посвященный мне. Этому посвящению я удивился; прочитав стих, удивился больше. Прямой увязки посвящения с содержанием стиха не было; очень долго к нему привыкал…

Адрес «Рубинштейна, 3» — один из нескольких Лёвиных рабочих адресов последнего десятилетия, но, может быть, более других ему симпатичный. Мы там встречались чаще всего. Плюс телефон, плюс встречи домашние — их, увы, было не так много, как хотелось бы, тем более теперь.

Лёвина тамошняя работа была разноформатной: он вел несколько циклов литературных вечеров, делал постоянные обзоры периодики для журнала «Народ Книги в мире книг», писал для него рецензии, публиковал интервью — с этой его работой я знакомился постоянно; а вот о поэтической студии, которую он вел для молодых, знал мало. Стихи, конечно, были главным в его литературной работе, но и другие ее жанры давались ему и с годами осуществлялись все лучше и точнее: он умел в нескольких словах сказать о главном. На поэтических вечерах Лёва демонстрировал искусство точного вступительного слова, умение дать емкий, убедительный портрет поэзии приглашенного выступать — это с несомненностью ощущалось к концу вечера… Такой работе полагалась регулярность, раз в месяц, что несомненно создавало большие трудности, но все-таки поэтов Лёва умудрялся отыскивать: поэтическое хозяйство Питера он знал подробно. Не раз случалось, что имена оказывались мне неизвестные, тогда спрашивал его: стоит ли приходить? — а он отвечал, никогда не зазывая, соблюдая строгость по части комплиментов, но несколько раз жалеть точно не пришлось — и это осталось в памяти.

Его собственные вечера — будь то в Доме ученых или в Музее Ахматовой — становились праздником: читал свои стихи он замечательно внятно и вдохновенно, раскатами голоса немало

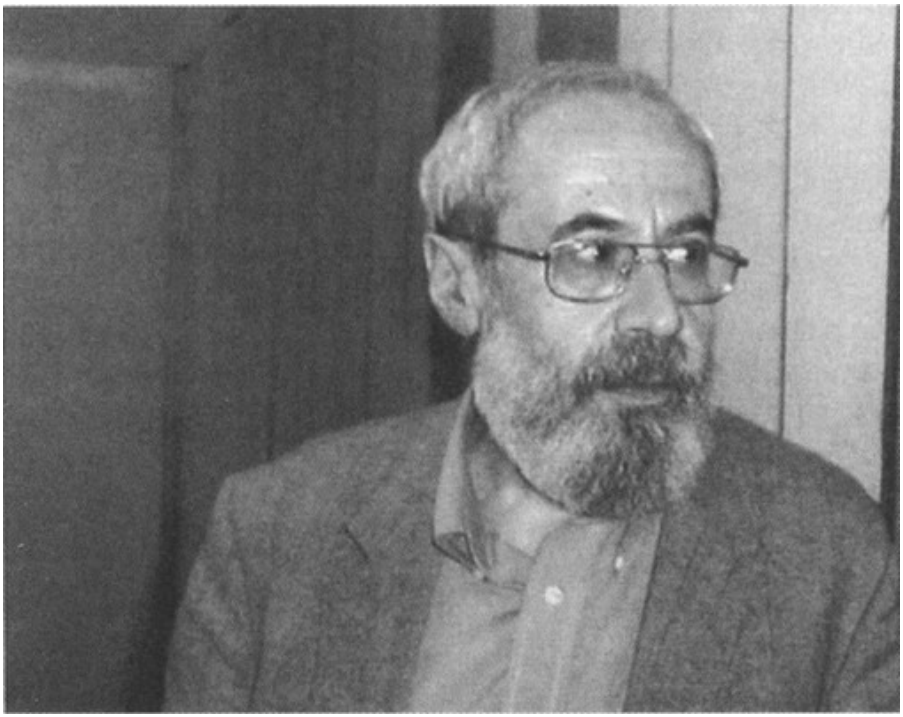
помогая их осознанию.

Сердечнее всего бывали застолья с неизменными литературными разговорами, не то чтобы трепом, но живым и свободным. Лёвина реакция была искрометной, смех — громогласным, глаза сверкали. Полунамеки, точные и броские реплики, ирония, новая информация — зажигали его незабываемо. Литература XX века, его история, прошлое и настоящее политической жизни — поля, на которых мы чувствовали себя товарищами. От него я узнал впервые о Гандельсмане, о нем Лёва говорил всегда охотно, признаваясь, что это для него самое близкое в теперешней русской поэзии.

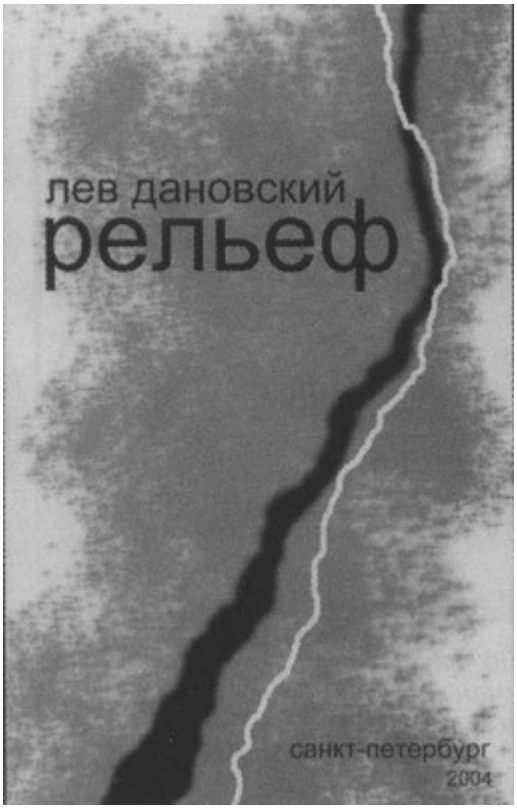
Никогда не возникало разговоров об ином — о новостях спорта или о бытовых новинках, о собственных хворобах или, скажем, о жизни общих знакомых. Вот и о том, что его сердце вызывает серьезные опасения, пришлось узнать случайно, позвонив перед Новым годом ему домой в положенном моменту настрое на легкомысленную волну, — а он уже лежал в реанимации, и на следующий день его не стало.

Теперь Лёва лежит в зимней, промозглой земле Кузьмолова, а его друзья продолжают свой бег, привыкая к тому, что перебросится с ним словом уже нельзя.

Перечитываю Лёвины стихи (они собраны в его посмертной книге «Слепок», выпущенной близкими друзьями в 2005 году), прислушиваясь к его голосу, ловя не расслышанное прежде. Это конденсат его жизни, которая теперь существует без него. После смерти настоящих поэтов окружающие вдруг открывают: вот кому следовало завидовать, вот чья внутренняя жизнь не умирает…



Лев Дановский



Обложка последней прижизненной книги Л. Дановского

V
Лидия Сегаль-Бродская
Иосиф Путерман
Семен Либерман
Марсель Райх-Раницкий
Лазарь Лазарев
Бенедикт Сарнов
Борис Черняков
Михаил Балцвиник
Александр Добкин

Два промежутка из долгой жизни Лидии Сегаль-Бродской (Фрагменты судьбы)

В историко-литературных публикациях последнего времени в связи с двумя великими именами — Александра Блока и (не напрямую) Марины Цветаевой — появлялось имя Лидии Максимовны Сегаль-Бродской, переводчицы и художницы, причем в обоих сюжетах (блоковском и цветаевском) появлялось совершенно не связанным образом и безотносительно к ее основной профессии. Разумеется, оба сюжета связаны личностью героини этого очерка и в этом смысле совершенно не случайны, а потому рассказ о них начнем с биографической справки.

Лидия Сегаль родилась в Петербурге в 1892 году в семье Максима Ильича Сегаля — архитектора-художника, члена Совета 3-го Санкт-Петербургского общества взаимного кредита. (Обращение к современному пухлому справочнику «Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга» дает справку лишь об одной его питерской постройке 1899 года.) Мать Лидии Сегаль звали Анна, и она была родом из Белостока.

1915–1916

Имя молоденькой Лили Сегаль (именно «Лиля» ее звали в семье и близкие друзья) впервые встретилось мне не в историко-литературных публикациях, а в рукописи еще не опубликованных воспоминаний «Города и встречи» Серапионовой сестры Елизаветы Полонской. Ее мать — Шарлотта Ильинична Мовшенсон, урожденная Мейлах, — тоже была родом из Белостока. Рассказ о Лиле Сегаль возникает в той части воспоминаний «Города и встречи», где речь шла о лете 1915 года, когда Елизавета Мовшенсон вернулась из Парижа в Петроград, чтобы подтвердить свой медицинский диплом, полученный в Сорбонне, сдачей соответствующих экзаменов в Юрьевском университете (это разрешили из-за войны с Германией). К тому времени Елизавета Мовшенсон уже несколько лет писала стихи, впервые напечатанные под псевдонимом Елизавета Бертрам в Париже (это произошло летом 1914 года во втором номере поэтического журнальчика «Вечера», который издавал там Илья Эренбург). За короткое время в Петрограде у приехавшей из Франции Елизаветы Мовшенсон случилось несколько запомнившихся ей встреч, так или иначе связанных с литературой. Встреча с Лилей Сегаль — одна из них. Вот как об

этом рассказывается в книге «Города и встречи», написанной в начале 1960-х годов, давно уже подготовленной мною к печати и только теперь принятой к изданию:

> «До моего отъезда в Юрьев оставались считанные дни. Именно тогда мы с мамой и братом побывали в семье архитектора Сегаля, чья жена была землячка мамы, нигде, конечно, не работала и вела „светскую жизнь“. В свое время она увлекалась революцией и принимала участие в подпольном финансовом комитете при петербургской организации РСДРП, потом стала увлекаться Александром Блоком и сделалась его страшной поклонницей. Портрет Блока красовался на белом рояле, стоявшем в ее гостиной (многие петербургские дамы были тогда влюблены в Блока и с восторгом рассказывали о его внимании или пренебрежительном отношении к ним). Дочка этой светской барыни Лиля тоже была влюблена в Блока и занималась живописью. Кроме того, она мечтала сделаться сестрой милосердия и собиралась поступить на какие-то краткосрочные курсы, которые готовили сестер милосердия, — это тоже была мода. Попасть на такие курсы стало легко, а в прежнее время Общины сестер милосердия, Евгеньевская и Кауфманская, проявляли большую строгость при приеме. Из фольклора того времени вспоминается мне куплетец:
>
> Был я бездельник, звался Володя,
> А теперь я прапор, ваше благородье!
> Была я девка, звалась Лукерья,
> А теперь я барышня, сестра милосердья!
>
> Я обещала Лиле, если устроюсь врачом в госпитале, взять ее в сестры. Она познакомила меня со своей подругой по гимназии Юленькой Эйгер, тоненькой девушкой с пышными черными волосами и строгим лицом. Юля училась в Марбурге на философском факультете, была неразговорчива в отличие от Лили и, по-видимому, преисполнилась важности и страха расплескать свое идеалистическое миросозерцание. После французских студенток, непосредственных и иронических, она показалась мне олицетворением немецкого философского ханжества».

(Тут придется прервать Полонскую, чтобы дать краткую справку: Юлия Яковлевна Эйгер — историк, член-соревнователь знаменитой в начале 1920-х годов петроградской Вольфилы (Вольной философской ассоциации), мемуаристка; ее воспоминания о годах молодости «Надеждой были полны юные сердца» напечатаны в 1990-м в журнале «Ленинградская панорама».) Продолжим воспоминания Полонской:

> «Как-то, гуляя по Невскому с Лилей, мы встретили высокую румяную девушку с толстой русой косой. Она приветливо поздоровалась со мной: „Слышала о вас. Я Лиза Пиленко. Читала ваши стихи в „Вечерах““. Лиза Пиленко с гордостью сказала, что она получила диплом сестры милосердия в Кауфманской общине и едет на Северо-Западный фронт вместе с мужем.
>
> Она очень мне понравилась: крупная, здоровая, общительная, с открытой ясной улыбкой.
>
> — Какая хорошая, — сказала я Лиле. — Кто она такая?
>
> — Да вы должны ее знать. Она подписывается Кузьмина-Караваева — это фамилия ее мужа. У нее недавно вышла книга стихов.
>
> Я вспомнила название книжки: „Скифские черепки“ — она вышла в издательстве „Цех поэтов“».

Сегодня приходится пояснять, что в 1960-е годы о Елизавете Юрьевне Кузьминой- Караваевой мало что было известно в России; потому Полонская дальше сообщает будущим своим читателям: «О конце Лизы Пиленко рассказал в своих воспоминаниях Илья Эренбург: оказавшись за границей, она постриглась в монахини и под именем матери Марии принесла себя в жертву, чтобы спасти еврейку с ребенком, осужденную на смерть немецкими фашистами — оккупантами Парижа. После конца войны католическая церковь канонизировала ее. Но я все помню ее такою, какой увидела на Невском в солнечный день весны 1915 года».

В тот период Елизавета Полонская, тогда еще Лиза Мовшенсон, встречалась с Лилей Сегаль недолго — в Петрограде и в Фастове — в 1915–1916 годах, но запомнила ее хорошо — молодую, увлекающуюся стихами и поэтами, занимавшуюся живописью благополучную дочь преуспевающих родителей. В 1916 году Лиля Сегаль добилась-таки разрешения отправиться, по тогдашней моде, сестрой милосердия на фронт, в район Фастова, в эпидемический отряд, где Лиза Мовшенсон служила врачом.

Сохранившиеся в аккуратном архиве Александра Блока

письма Л. М. Сегаль подтверждают точность того, что сберегла память Елизаветы Полонской и что было запечатлено ею в книге воспоминаний. Приведем здесь примерную хронологию переписки Сегаль с Блоком, начавшейся в январе 1908 года.

9 января 1908-го Сегаль писала Блоку: «Если Вы хотите, то я буду Вам посылать нечто вроде дневника, т. е все, что совершается в моей внутренней жизни, и все, что затрагивает меня в моей внешней жизни. Обязательств это ни на Вас, ни на меня никаких наложить не может. <…> Вы никогда меня не увидите, а если и увидите, то не будете знать, что я та, которая Вам так много сказала». Письма Блока к Л. М. Сегаль не сохранились; судить о них можно лишь по некоторым упоминаниям в ее письмах к нему. Так, в письме от 14 мая 1913-го Сегаль упоминает содержательное письмо Блока к ней от 24 декабря 1908-го и цитирует его; пишет она и о том, что 2 января 1909 года Блок ответил ей холодно («…вместо того, кто пережил разговор Голубого и Незнакомки, я встречу того, кто написал письмо с фразою „тороплюсь кончить“. <…> Сколько недоверия к человеческой искренности в Вас, сколько узкого эгоизма!»). После этого в переписке наступил перерыв, но в 1913-м она возобновилась: Сегаль снова начала писать Блоку, время от времени ей отвечавшему.

В 1946 году в Москве литературовед Эмма Герштейн, ставшая теперь широко известной как мемуаристка, записала в третьем лице рассказ Л. М. Сегаль о Блоке. Из этого рассказа в томах блоковского литературного наследства опубликован лишь один отрывок: «Она не смела быть с ним знакомой, боялась знаменитостей. <…> Как-то встретила Блока в трамвае, посмотрела, сказала удивленно: „Вы как будто раньше были выше?“ А он ответил: „А Вы разве не знаете, что каждый человек бывает каждый день другого роста?“ Тогда она сняла с пальца серебряное кольцо с большой платиновой печаткой и дала ему со словами: „Это Вам за „Утреет, с Богом““… Он посмотрел, повертел кольцо, спросил: „А ничего не будет от этого плохого?“ Она уверила, что ничего не будет, и он принял подарок».

7 апреля 1914 года Лиля Сегаль присутствовала на первом представлении спектакля студии Мейерхольда по пьесе Блока «Балаганчик», которое провалилось. 24 апреля Сегаль писала Блоку: «Трудно было оставаться в Петербурге после того, как я видела, как каменеет Ваше лицо, и слышала, как голос лаун-теннисиста вместо того, чтобы кричать „аут“ и „рэди“, говорил слова нежного неврастеника — Вашего Пьеро». В письме от 4 июня 1916 года Сегаль благодарила Александра Александровича за подаренный им сборник его пьес «Театр», выпущенный тогда

«Мусагетом» (возможно, этот подарок Блока был связан с ее отъездом сестрой милосердия в действующую армию).

В личном архиве Полонской сохранились два письма Л. М. Сегаль, написанные в Петрограде в 1915 и 1916 годах и полученные ею в армии. То, что летом 1916-го Лиля Сегаль приехала в Фастов и стала служить сестрой милосердия, подтверждает телеграмма, отправленная из Петрограда ее матерью 19 июня 1916 года доктору Елизавете Григорьевне Мовшенсон по случаю ее дня рождения: «Сердечное поздравление пожелания привет вам маме Лиле = Анна Сегаль». Привет маме связан с тем, что мать Елизаветы Григорьевны, неугомонная Ш. И. Мовшенсон, в те дни находилась в Фастове, куда приехала из Петрограда проведать и поздравить с днем рождения дочь.

Как раз в 1916 году жизнь самой Лизы Мовшенсон резко переменилась (бурный роман с киевским инженером Л. Д. Полонским, замужество, смена фамилии, в ноябре рождение сына и вскоре развод, а в 1917-м возвращение в Петроград) — так что ей в те месяцы стало совсем не до своей питерской знакомой. Каких-либо бумаг более позднего, чем 1916 год, времени, где бы встречалось имя Л. Сегаль, в замечательно сохранившемся архиве Полонской нет. Лиля Сегаль знала только Лизу Мовшенсон и, вполне возможно, не догадывалась, что Серапионова сестра Елизавета Полонская — это она и есть. К тому же сама Сегаль вскоре вышла замуж за московского химика Бродского, также сменила фамилию и навсегда переехала в Москву. Известно, по крайней мере, о еще двух «блоковских» эпизодах ее московской жизни — маем 1920 года датируется ее письмо Блоку, в котором она просит у него фото, и, наконец, 31 мая 1921 года один из руководителей петроградского Дома литераторов В.Я. Ирецкий написал ей, что Блок очень серьезно болен; после сообщения об устройстве для поэта кое-чего из продовольствия следовало предложение Ирецкого: «Устройте и Вы ему что-нибудь от московских почитателей»…

Два письма из архива Полонской дополняют рассказанное о Лиле Сегаль в книге воспоминаний «Города и встречи». В этих письмах — не только интересные факты литературной жизни, но и, выражаясь старомодным языком, несомненный аромат эпохи.

1

«23 апреля 1915

Lise, дорогая! Судьба устроила так, что я все лето остаюсь в городе. Получила место в маленьком лазарете (на 12 чел.!) и до

1-го сент. там и пробуду. Вся эта история pecunia causa[44]. Времени свободного будет достаточно, хотя условия таковы, что жить там, и это главное, что мне отравляет это лето; — усложняет прогулки — хотя все это не важно. Lise, Вы будете здесь после экзаменов? Ведь если Вы приедете, значит увидимся, а мне так этого хочется! Lise, а Вы обещали мне стихи послать — где же они? Сейчас приходится видеть разных юных поэтов и слышать массу стихов — и меня эти стихи поддерживают, что я сижу без дела в лазарете. Всю работу тут делают волонтерки (лазарет при гимназии), а я как начальство, только распоряжаюсь. Изо всех поэтов самый примечательный некто Есенин. Он деревенский мальчик 19 лет, принципиально не хочет оставить деревни и пишет прекрасные, сильные вещи, в которых я до сих пор не могу разобраться — настоящая это поэзия или же этнография. Сидя в глубине Рязанской губ., он получал (от каких-то благодетелей) все журналы и выходящие стихи и там знал, например, Ивнева, которого я не знала, сидя в городе. В один прекрасный день он приехал в Питер и с вокзала прямо к Блоку. Тот (при его народнических тенденциях) был очень мил и теперь этот мальчик весьма jeté[45] и все с ним носятся, один вечер он у Мережковских, другой у Сологуба и т. д. Но ему все здешние протоплазмы надоели и на днях он уезжает. Мне это жалко — я очень любила и его непосредственную талантливость, и его голову, чем-то напоминавшую мне Цадкина[46], и его манеру читать свои стихи, и молодость, и свежесть всего облика. Если Вам любопытно, я Вам его стихи пришлю. Осенью выйдет его сборник. Ну, Lise, я Вам тут чужими делами надоедаю, а Вы мне ничего о своих не пишете. Лизанька, до свиданья.

Лиля.

Лизанька, напишите мне и стихи пошлите и еще напишите, когда Вашим экзаменам конец, и как Ваша работа идет, и когда думаете приехать и приедете ли сюда. Ваша Лиля».

2

«17-го апр. < 1916 >

Лизанька, вчера была у д-ра Писаревой (она мне послала письмо в ответ на прошение в Киев). Она говорит, что, если я могу получить пропуск в Фастов, то дело только за Вами. Она была очень любезна и довольна, что я бестужевка. Лизанька, теперь все в Ваших руках. Устройте мне у себя место и сразу же по получении телеграммы я поеду к Вам. В Фастов, как раз, ехать можно, а если бы было нельзя, то, как это ни страшно и не

поймите меня слишком дурной или легкомысленной, но я готова на крайний шаг, чтобы устранить это препятствие. Лизанька, если все возможно, то напишите, что с собой взять и какие там приблизительно условия. Напишите, что привезти Вам и какая у Вас работа. Сегодня Шурик[47] призывается и назначен на испытание из-за близорукости. Тон Вашей мамы по телефону был не особенно бодрый, хотя про свое здоровье она сказала, что оно удовлетворительно[48]. Писарева очень хорошо отзывалась про Вас. Она обещала прислать телеграмму числа 26—27-го. Пожалуй за 10 дней и от Вас ответ получить можно будет. Вам только в Киев позвонить и узнать, можно ли принципиально, затем, если можно практически — то мое счастие обеспечено и я могу покинуть развалины моего Карфагена и искать Рим. У нас жарко очень, но деревья еще голые. Нева и апрельские сумерки напряженно прекрасны как всегда. И злоба дня — отмена спектаклей москвичей. Это тяжелый удар для всех — всю зиму этого, как счастья, ждали, в этом ведь для всех и весна, и молодость символизировались.

Недавно на вечере поэтов[49] Ахматова читала такие стихи (привожу по памяти, если что будет нескладно, вина моя):

> Лучше бы мне частушки громкие кричать,
> Лучше на гармонике бы тебе играть
> И уйти на вечер далеко в овсы
> Потерять там ленту из тугой косы.
>
> Лучше бы мне ребеночка твоего качать,
> А тебе полтинник в сутки выручать
> И ходить на кладбище в поминальный день,
> И глядеть на белую Божию сирень[50].

Нравится? мне нет. Лизанька, стоит ли брать альбом и ноты? какие Вам книги привезти? Хотите стихи? Какие?

Лизанька, не смею сказать „до свидания“ — оно в Вашей власти.

Лиля».

1937–1943

Переходя к другой литературной теме (условно говоря, цветаевской) из жизни Л. М. Сегаль-Бродской, упомянем сначала о ее первой встрече с Мариной Цветаевой в Петербурге (замечу, что в удивительно полном архиве Полонской эта встреча не

оставила следа). Именно тогда, в январе 1916 года, Л. Сегаль, по ее собственному позднему признанию цветаистке И. В. Кудровой, познакомилась, а точнее будет сказать, увиделась, с М. И. Цветаевой. Это было в Петрограде на поэтическом чтении, описанном в 1936 году в очерке Цветаевой «Нездешний вечер» (стихи на нем читали приезжие М. Цветаева, С. Есенин, Р. Ивнев и петроградские поэты М. Кузмин, О. Мандельштам, Г. Адамович, Н. Оцуп и Л. Канегиссер)…

С именем М. И. Цветаевой так или иначе связаны все последние сведения о художнице и переводчице Лидии Максимовне Сегаль-Бродской, давно переселившейся из Петрограда в Москву. Поздним встречам с Цветаевой Л. М. Бродская была обязана подруге своих петербургских гимназических лет Нине (Антонине) Насоновой, оказавшейся сначала в эмиграции, а потом, в 1937 году, вывезенной советской разведкой из Франции в СССР вместе с ее вторым мужем Н. А. Клепининым и мужем Цветаевой Сергеем Яковлевичем Эфроном и вскоре разделившей их трагическую судьбу. Неизвестно, как именно Сегаль-Бродская встретилась со своей гимназической подругой, поддерживала ли она какую-либо связь с ней до 1937 года или нет, но зато точно известно, что Лидия Максимовна появилась в подмосковном Болшеве, где Клепинины и Эфроны жили под фамилиями Львовы и Андреевы соответственно; там же в Болшеве Лидией Максимовной были написаны портреты Клепинина и Эфрона. А в июне 1939 года в Болшеве поселились и прибывшие из Франции Марина Цветаева и ее сын Георгий Эфрон, которого дома все звали Мур.

Однако в самом скором времени на семьи Клепининых и Эфронов обрушился удар со стороны того самого ведомства, которое помогло им приехать в СССР и которому они оказывали во Франции определенные услуги. 27 августа 1939 года в Болшеве была арестована дочь Цветаевой Ариадна Эфрон, 10 октября — Сергей Яковлевич Эфрон, 7 ноября — муж и жена Клепинины. После их ареста Л. М. Сегаль-Бродская продолжала навещать (уже в Москве) мать и младшего сына своей гимназической подруги.

Главным документальным источником в общем-то скудной информации о Л. М. Сегаль-Бродской сегодня являются дневники Мура — Георгия Эфрона. Это был в высшей степени одаренный, прекрасно образованный и незаурядный юноша с отменным вкусом и с широкими гуманитарными интересами. Он родился весной 1925 года в Праге и уже осенью того же года был перевезен в Париж, где прожил четырнадцать лет. В июне 1939 года вместе с матерью Мур вернулся в СССР, пережил там аресты сестры и отца, а затем и самоубийство матери в чистопольской

эвакуации в августе 1941 года, одинокую жизнь в Ташкенте и Москве и в марте 1944-го был призван на фронт, где в том же году погиб…

Потрясающие дневники, которые он вел в 1939–1943 годах, сохранили его родственники; со временем они оказались на хранении в РГАЛИ и стараниями Е. Б. Коркиной и В. К. Лосской были расшифрованы и подготовлены к печати, в этом веке их наконец-то издали.

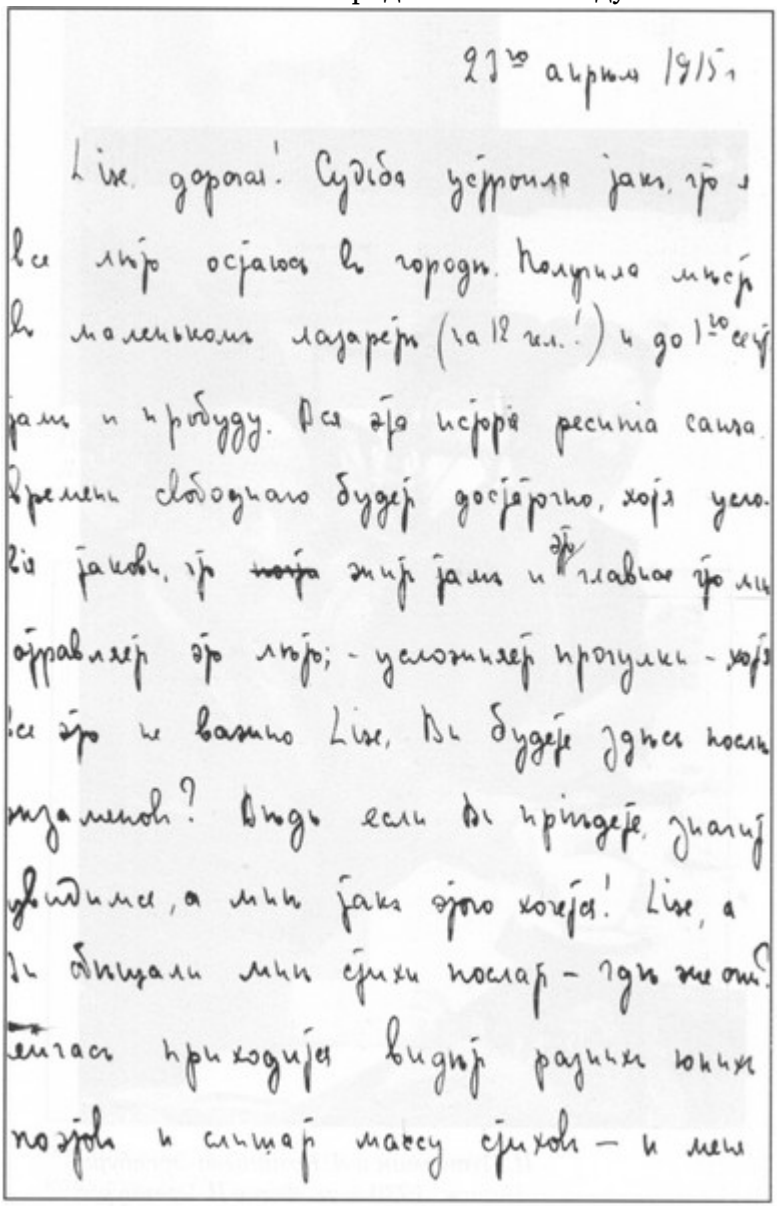
Имя Л. М. Бродской в первый раз возникает в дневниках Мура 9 ноября 1940 года — разумеется, в связи с ее подругой, Н. Н. Клепининой, жившей в СССР под фамилией Львова и к тому времени уже арестованной. Тут следует сказать, что Мур — Георгий Эфрон — был приятелем Дмитрия Сеземана, сына Н. Н. Клепининой от первого брака. (Еще 9 апреля 1940 года Мур записал в дневнике: «Написал записку Митьке (младшему сыну Львовых), с которым, несмотря на мое отрицательное отношение к остальным членам его семьи, я в хороших товарищеских отношениях»). Так вот, рассказывая о встрече с Митей Сеземаном в Москве, где он жил у бабушки — матери Н. Н. Клепининой, Мур записал: «Была также Лидия Максимовна Бродская». А 1 января 1941 года Мур узнает от Мити Сеземана, что арестован муж Л. М. Бродской («Но арестован не в связи с „делом“, а, очевидно, по личным причинам»). 13 июня 1941 года в дневнике записано: «Очень интересная новость: муж одной знакомой семьи Львовых-Клепининых, Лидии Максимовны, который был арестован некоторое время назад, химик, получил 5 лет. Он видел жену; оказывается, он вроде не поедет в концентрационный лагерь, а будет жить в „зоне“». Острый интерес Мура к этой информации связан с ожиданием вестей о том, к какому сроку приговорят его отца — С. Я. Эфрона.

Поразительно, что в 1943-м Мур снова встретил Л. М. Бродскую (Сегаль), на сей раз — в Ташкенте… Вот впечатляющая запись от 31 мая 1943 года: «Позавчера же совершенно неожиданно встретил Лидию Максимовну Бродскую, приятельницу Нины Николаевны. Мы с ней пошли гулять и болтать; и я ее поразил известием об освобождении Алеши[51]. Она меня угостила двумя стаканами вкуснейшего кислого молока с хлебом, потом пили чай с конфетами и бубликами в чайхане. В заключение она мне подарила макинтош своего мужа, но т. к. он не был сортабельным, то я его продал на базарчике за 200 р., чем обеспечил себе пропитание на 2 дня. Удивительно повезло…»…

Сколько понимаю, после войны Л. М. Сегаль-Бродская вернулась в Москву; продолжала заниматься живописью, встречалась с историками литературы. Есть сведения, что

последней ее живописной работой был портрет А. И. Цветаевой…

Скончалась Л. М. Сегаль-Бродская в 1977 году.



Письмо Л. Сегаль в Фастов Е. Г. Полонской. 23 апреля 1915 г.

Влюбленный в Пушкина Путерман

Иосиф Ефимович Путерман родился в Бессарабии примерно в 1885 году. Говорю «примерно», потому что точно неизвестно — наверное это можно поискать в архивах парижской полиции, но такой возможности у меня сейчас нет. Когда я спросил о возрасте Путермана у А. Я. Савич (жены, а тогда уже вдовы самого близкого друга Эренбурга Овадия Герцовича Савича), она задумалась и проговорила: он был лет на пять старше Эренбурга. Спрашивать у Любови Михайловны Козинцевой-Эренбург в те две, пусть и протяженные, беседы, которые у нас были, мне не пришлось, а потом я и не жалел об этом — неизвестно, как она отреагировала бы на вопрос о Путермане, но это я понял много позже…

Как это говорится — в биографии Путермана много темных пятен. Начну с того, что имя-отчество его случайно всплыло в одном из цветаевских писем к философу Льву Шестову. (В этом письме, кстати сказать, речь идет о званом обеде у Путермана в субботу, 2 июля 1927 года в 7 часов, на который были приглашены Цветаева и Шестов — «немножко раньше заезжаю за Вами и вместе едем к Путерману», — предлагает Цветаева Льву Исааковичу в письме.) Если б не это письмо, пришлось бы довольствоваться тем, что на французских своих изданиях Путерман ставил инициалы I.E. или I.-E., так что не вполне было даже ясно — инициалы это или двойное имя. Свой рассказ о Путермане А. Я. Савич начала так: «Как звали Путермана, никто не знал. В письмах к нам он всегда подписывался „Отец“[52], а мы его звали „Папаня“»[53]. Эренбург звал его Путером (вообще в том парижском кругу клички были в ходу; мужчин в лучшем случае звали по фамилиям, женщин — по именам). Словом, спасибо Цветаевой и Шестову…

Неизвестно, когда и как Путерман попал в Париж, но 26 апреля 1927 года, когда упоминание о нем возникло в письме Марины Цветаевой к Анне Тесковой, он уже несомненно имел дело с литературой как издатель (и, в частности, — издатель русских книг; потом перешел на французские). Цветаева пыталась тогда напечатать в Париже книгу стихов «После России», и Путерман обещал ей содействие. Она пишет об этом Тесковой: «Неожиданное везение. Нашелся издатель для моей последней (1922–1925 г.) книги стихов… Издатель, очень любящий мои стихи и хотящий, чтобы они были». Л. А. Мнухин, много занимавшийся не только Цветаевой, но и вообще парижской эмиграцией из России, пишет в комментариях к письмам Марины

Ивановны, что в то время Путерман служил в советском торгпредстве в Париже и был пайщиком издательства «Плеяда». Книга «После России» вышла в Париже через год без указания издательства. В течение этого и еще три года затем (с 26 марта 1927 года по 11 июня 1931 года) Цветаева не раз упоминает Путермана в письмах к Саломее Андрониковой, которая с ним была хорошо знакома. Телефона у Цветаевой не было, и благодаря этому масса подробностей сохранилась в письмах — это своего рода хроника. Возможно, Цветаеву с Путерманом и познакомила Саломея Андроникова; во всяком случае, когда 28 марта 1927 года Марина Ивановна только еще собиралась встретиться с Путерманом у себя дома и почитать ему стихи, Андроникова знакома с ним уже была. Перед тем как вместе с С. Я. Эфроном посетить Саломею Николаевну в понедельник 28 марта 1927 года, Цветаева просит ее: «Известите Путермана, чтобы был у меня определенно *во вторник* — звала его либо в понедельник, либо во вторник — почитать стихи, — и добавляет в конце: — НЕ ЗАБУДЬТЕ известить Путермана, а то — придет — меня нет. С этого начинать нельзя». Это и позволяет датировать первую встречу Путермана с Цветаевой.

Дело с «После России» складывалось не просто, видимо, были у Путермана какие-то трудности — деловые, а может быть, и личные.

25 апреля 1927 года Цветаева собирается увидеться с Путерманом у Андрониковой: «Звала его к себе — занят — а дорог в Париже кроме как к Вам я не знаю. (Встреча с ним у Вас — идет от него, это я для пущей ясности)».

5 февраля 1928 года, сообщая о том, что «положение поганое», М. И. вопрошает: «ПУ-ТЕР-МАН. Что?! Где?? КАК?! В издательстве домашнего адреса не дают, как узнать? Со всех сторон расспросы о книге — что отвечать? Вообще, что мне с ним делать? Посоветуйте! Уже дважды просили на отзыв. От *факта* книги (какова бы ни была!) многое зависит, могла бы съездить, например, почитать в Чехию, мне об этом писали. И — пустые руки. Расскажите ему об этом, если позвонит…»

11 февраля 1928 года: «В ответ на предложение Путермана встретиться у Вас в один из трех последних дней недели (оцените долготу периода!) я назначила ему воскресенье, — он должен был запросить Вас и оповестить меня…»

Наконец, 25 февраля 1928 года оптимистическое письмо: «Виделась с Путерманом, дела неплохи, есть надежда на выход книги в марте».

Нетерпение Цветаевой понятно — оптимизм сменяется тревогой. 10 мая 1928 года: «(замогильным, нет — заупокойным

голосом:) — Что Путерман?»

Книга вышла в мае 1928 года; в июне состоялся поэтический вечер Цветаевой, крайне ей необходимый для денег — на лето. Шлейф от своего рода «презентации» в письме Андрониковой 7 июня 1928 года: «Мне очень жалко, что Путерман Вам послал книжку без надписи, но тогда, у него, я бы двух слов не выжала…»

Затем они почти не видятся, но это не ссора. 19 марта 1930 года Цветаева пишет Саломее: «Слышу, что Путерман опять оженился, — что это с ним?» Вот и первая информация о личной жизни нашего героя, но, по-видимому, неточная. Не позже 1932 года с ним подружились Эренбурги и Савичи; для них он — всегда холостяк.

В мае 1930 года Цветаева вновь занята организацией своего вечера; Андроникова помогает ей пристраивать билеты (Цветаева отправила ей 10 штук) — при обсуждении этих дел возникает вопрос: «А если Путерману послать штук пять — продаст (хоть один!!!)?..» С посетителями вечеров — вечные проблемы по части совместимости: одни не желали видеть других (так, летом 1928 года на вечер Цветаевой не смогла прийти любившая ее Л. М. Эренбург, чтоб не встречаться с некоторыми одиозными для нее эмигрантами…). Летом 1931 года Цветаева собирается читать свои заметки о Мандельштаме; 21 июня она пишет Андрониковой: «Читать Мандельштама лучше вечером и без Мура (сын Цветаевой. — *Б. Ф.*). Если позовете на чтение Путермана — думаю — доставите ему удовольствие — ввиду сюжета». Это последнее упоминание его имени в письмах к Саломее Андрониковой.

Еще одному адресату Цветаевой довелось встретить имя Путермана в ее письме (в 1929 году): бывшему Серапиону, а тогда уже начинавшему становиться французским прозаиком, молодому Владимиру Познеру. Речь шла про обсуждение его книги «Панорама современной русской литературы», написанной по-французски. На этом обсуждении, как сообщала Цветаева Познеру, «Вас очень защищали Святополк-Мирский и Путерман».

С начала 1930-х годов след Путермана отчетливо просматривается в кругу Ильи Эренбурга, довольно быстро они становятся близкими друзьями. Путерман даже поселяется в соседнем с Эренбургами доме на улице Котантен (возле Монпарнасского вокзала у бульвара Пастер). У Эренбургов Путерман знакомится с приезжающими из СССР русскими писателями и даже потом поддерживает с ними переписку. 3 декабря 1933 года Бабель из Нальчика писал Савичам в Париж о своей поездке по Северному Кавказу; его послание заканчивается

фразой: «Эренбургу и Путеру пишу особо». Характерно, что в обширной переписке В. Г. Лидина с О. Г. Савичем имя Путермана не встречается ни разу: значит, в 1928 году, когда Лидин был в Париже и путешествовал по Бретани с Эренбургами и Савичами, Путерман еще не входил в их тесный круг…

В октябре-ноябре 1931 года Эренбурги целый месяц путешествовали по Испании. И. Г. подробности путешествия сообщал оттуда Савичам; 2 декабря Савич писал из Парижа в Москву Владимиру Лидину: «Приехали из Испании Эренбурги. Рассказывают много любопытного и смешного». Путерман так проникся этими рассказами, что следующим летом двинулся в Испанию. Сохранились две его открытки (разумеется, с изображением корриды!), посланные Савичам[54] — на бульвар Брюн в Париже:

> «31.8.32.
> Милые Савичи,
> Вот каковы интересующие вас открытки в Ируне. Может в других местах они получше. Во всяком случае я уже зол на Испанию, как сто тысяч…: застрял на границе на целых 8 часов. В поезде, которым мне полагалось следовать дальше, не оказалось мест!! Разве это не хамство? Ну-с до следующей бой-бычачьей открытки. Ваш Путерман».

И через неделю:

> «Toledo. 8.9.32.
> Здесь прелестно. Шатаюсь лениво по узким уличкам, которые неизменно приводят меня к какому-нибудь замечательному месту с видом на Тахо. Я здесь с утра, но достопримечательности еще не осматривал: даже в этот мертвый сезон чересчур много туристов, а я последних ненавижу глубоко. Вероятно скоро вернусь в Париж: деньги уже на исходе. Что у вас нового? Как Монпарнас и — цы? Угостите фаршированной щукой, когда приеду? Испанская пища уже надоела. Ваш Путерман».

Говоря, что Путерман подписывался «Отец», А. Я. Савич не ошиблась — просто это традиция установилась позже, в конце 1935-го — в 1936-м годах, когда друзья часто отправляли ей дружеские послания, начертанные на видах Парижа (А. Я. срочно уехала в Москву к больной матери и не получила разрешения вернуться в Париж). 10 ноября 1935-го (вместе с Савичем, Фотей

— художник Серж Фотинский — и французом, подпись которого не разобрать): «Милая Аля! Мы с Савичем живем мирно. Какой менаж! Не поддается описанию. Только вот грустим чрезмерно. Уедем! Целую Отец». На другой открытке — 18 марта 1936-го наряду с посланиями Л. М. Эренбург, О. Г. Савича и Ю. Н. Тынянова приписка Путермана: «Кажется, действительно весна. Я в ней не уверен. Но так говорят. Целую Вас (можно?) Отец».

В 1930-е годы Путерман редактировал парижский еженедельник «Лю» — «Прочитанное», ревю мировой прессы, который (наряду с иллюстративным еженедельником «Вю» — «Увиденное» издавал Люсьен Вожель. У Эренбурга и Савича Путерман систематически брал материалы для своего журнала; 2 декабря 1931 года Савич писал Лидину: «Посылаю Вам вырезку из „Лю“ — журнала, составленного из статей всей мировой прессы. Денег за это не платят, но тираж большой…» У Вожеля планы бывали наполеоновские — скажем, в 1935 году он сопровождал премьер-министра Пьера Лаваля в Москву, их принял Сталин — соответствующие репортажи с помпой подавались тогда в его журналах… Работа Путермана была нелегкой, но зато интересной… Положение во Франции — острое, политическая чаша весов колебалась — то вправо, то влево. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспоминал, как 26 апреля 1936 года во Франции состоялись всеобщие выборы, на которые редакция «Известий» высвистала его из Испании: «В воскресенье вечером с Савичем и редактором „Лю“ Путерманом мы стояли возле редакции газеты „Матэн“. Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с экрана: сейчас объявят первые результаты…» Тогда победил Народный фронт — левые брали верх в Европе (ненадолго…).

18 июля 1936 года в Испании вспыхнул военный мятеж. На помощь республике устремились левые со всего света. Многие французы помогали республиканцам — среди них друг Эренбурга писатель Андре Мальро, организовавший и возглавивший авиаэскадрилью. Все годы этой войны Эренбург почти безвылазно находился в Испании, посылая статьи и репортажи для «Известий». В конце 1936 года Путерман перевел на французский 19 первых репортажей Эренбурга из воюющей Испании — они вышли в Париже отдельной книжкой. Продолжая работать в Париже, Путерман охотно выполнял испанские поручения не только Эренбурга, но и Савича, которого Эренбург в 1937 году забрал в Испанию и тот стал корреспондентом «Комсомольской правды» в Барселоне (2 августа 1938 года О. Г. Савич писал жене в Москву: «Книг французских здесь нет, но я попрошу Путера выслать тебе из Парижа»…).

Утешение от политических передряг Путерман находил в стихах Пушкина. Его поэзию он обожал. В 1937 году отмечалось столетие гибели поэта. И хотя финансовое положение Путермана было не ахти каким, он составил и издал по-французски сборник Пушкина[55]. Томик был составлен так, чтобы дать читателю представление обо всех гранях таланта великого поэта. Вслед за кратким предисловием составителя книжка открывалась фрагментами тогда знаменитой в СССР книги В. В. Вересаева «Пушкин в жизни». Затем следовали 29 писем Пушкина, написанные им по-французски, а вслед за ними две статьи о Пушкине — парижская, 1928 года, статья Д. П. Святополк-Мирского (с которым Путерман в Париже был хорошо знаком) и статья 1936 года, принадлежавшая питерскому литературоведу В. А. Десницкому. Эти статьи предваряли раздел из 17 стихотворений Пушкина (среди их переводчиков были и двое русских поэтов — Владимир Сирин (Набоков) и Валентин Парнах). Заключали том стихотворная трагедия «Каменный гость» (в переводе Ивана Тургенева и Луи Виардо), «Сказка о рыбаке и рыбке» (в переводе Александры Гольдштейн и Рене Гиля) и повесть «Выстрел» (в переводе А. Жида и Ж. Шифрина).

Томик украшали репродукции тропининского портрета поэта и его автопортрет. 15 нумерованных экземпляров книги были напечатаны на особой бумаге. Уцелел экземпляр № 2 (первый, понятно, принадлежал составителю — страстному книжнику и пропал вместе с его библиотекой; № 2 — второй по значению). На нем надпись: «A ma fille chérie L.M.K.-E. Paternellement. I.E. Pouterman»[56]. Эта книга принадлежала Любови Михайловне Козинцевой-Эренбург. Когда в июле 1940 года (Путермана уже не было в живых) Эренбурги уезжали из оккупированного гитлеровцами Парижа (они сожгли все свои бумаги и оставили друзьям большую часть книг), эту книгу Любовь Михайловна взяла с собой, как и портрет Путермана (написанный ею маслом совсем недавно, а казалось — прошла целая жизнь; портрет небольшой, одно только лицо — на черном фоне, оно едва ли не высвечено из мрака). Все последние годы Путерман был страстно влюблен в Любовь Михайловну. На нескольких фотографиях они сняты за столиком монпарнасского кафе («Дом» или «Куполь») — смеющиеся: Л. М. весело, а Путерман, скорее, иронически…

Когда я расспрашивал А. Я. Савич о Путермане, она говорила о нем сердечно, но кратко (впрочем, обычная женская болтливость ей никак не была свойственна). В тех воспоминаниях, что А. Я. авторизовала, Путерману посвящен один абзац, там где рассказывается про обычный парижский день Эренбургов: «Дома Эренбурги никогда не обедали — всегда

вдвоем отправлялись в ресторан (в последнее время втроем: с Путерманом)… Близкий приятель Эренбурга, он жил с ним по соседству; обедать они всегда ходили вместе, а ресторан выбирался в зависимости от состояния бюджета. Приземистый, но не маленький, широкий в плечах, Путерман был очень вспыльчив. Потом оказалось, что он страдал сильной гипертонией, но мы, молодые, этого и не понимали… Иногда он проводил с Эренбургами и нами часть каникул, иногда путешествовал как бы по следам Эренбурга… Ему всегда можно было довериться…»

Конец 1930-х годов был для Путермана очень трудным: Гитлер завоевывал Европу, Сталин заливал кровью Россию. Эренбург вспоминал пору подписания Мюнхенских соглашений, когда Чемберлен и Даладье, боясь войны, отдали Гитлеру Чехословакию: «Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе „Куполь“ на Монапрнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник „Лю“; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: „Мы вас, кажется, беспокоим?“ Путерман ответил: „Да, сударь. Я — чехословак“. Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть».

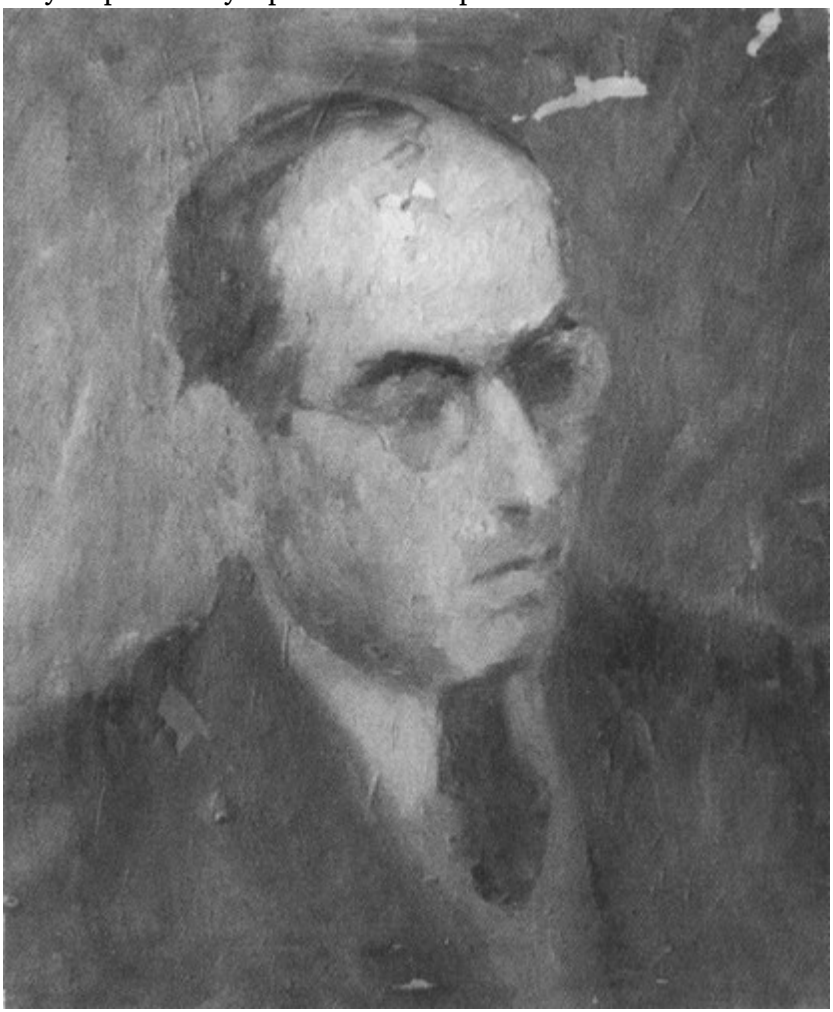
Нервность Путермана все нарастала — окружающие не сразу поняли, что это болезнь. Когда Испанская республика пала и Савич вернулся в Париж, все вокруг было другим; он писал жене в Москву: «И. Г. (Эренбург. — *Б. Ф.*) в ужасном состоянии, как и все мы, а Люба (Л. М. Эренбург. — *Б. Ф.*) серьезно больна. Папаня совсем сумасшедший — словом, представляешь себе атмосферу, если прибавить бесконечные обращения испанцев, несчастье которых превосходит всё, что можно вообразить… В Париже очень неприятно, его просто трудно узнать. Если когда-то говорили „Москва слезам не верит“, то уж Париж подлинно слез не любит, и сочувствия, теплоты в нем нет ни на грош…»

После подписания советско-германского пакта в августе 1939-го Эренбург (его уже с апреля перестали печатать в СССР) заболел. С началом «странной войны» за ним установилась слежка, мало кто из друзей хранил ему верность. «С Путерманом тогда трудно было разговаривать, — написано в четвертой книге „Люди, годы, жизнь“, — все его выводило из себя — Даладье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, у него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина:

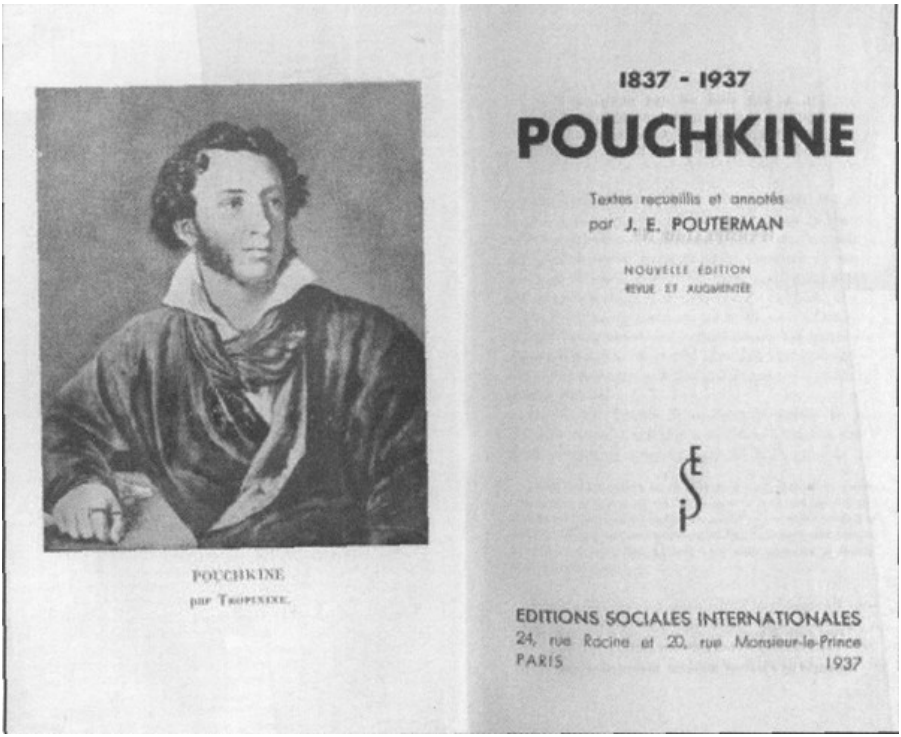
Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленье…

Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина… На похороны пришел Вожель. Я помнил его оживленным, снобом, представителем „всего Парижа“. А он стоял на кладбище постаревший, печальный».

Записная книжка Эренбурга позволяет уточнить все эти даты. Вот короткие записи 1940 года: «18 февраля. Умер Путер. 20-го — обыск у мертвого Путера. 21 — похороны»…



Портрет И. Е. Путермана работы Л. М. Козинцевой-Эренбург



Фронтиспис и титульный лист книги, которую И. Путерман выпустил к столетию гибели Пушкина (Париж, 1937)

И. Путерман и Л. Козинцева-Эренбург. Париж, 1930-е. гг. Фото И. Эренбурга

Берлинские годы Семена Либермана — поэта, редактора, человека книги и театра

Славист Жерар Абенсур обучался русскому языку и русской культуре в Париже середины пятидесятых годов у Н. А. Оцупа в группе молодых французов — среди них был и широко известный у нас Жорж Нива (они оба стажировались в МГУ в 1956–1957 годах). Русский язык и русская культура пригодились Абенсуру, когда он много лет занимал должность культур-атташе французского посольства в Москве. Потом работал в США, преподавал в Париже и теперь, оставив службу, продолжает изучать русский театр (его главная привязанность — Вс. Мейерхольд) и его связи с театром Франции. В Париже Жерар Абенсур поддерживает дружбу со многими московскими парижанами… Осенью 2004 года Жерар рассказал мне: у одного моего парижского, а прежде московского, друга-музыканта хранятся несколько писем Ильи Эренбурга его отцу (писем еще двадцатых годов) — их можно посмотреть. Так я оказался в доме известного виолончелиста Анатолия Либермана. Наш разговор начался с того, что хозяин любезно показал мне адресованное в Берлин его отцу в 1925 году письмо Б. Л. Пастернака, а затем уже всю папку писательских писем 1920-х, были там и шесть писем Эренбурга… По возвращении домой я получил от Анатолия Либермана папку ксерокопий этих писем, уцелевших через катастрофы и потрясения XX века, — именно по ним приводятся здесь все письма С. П. Либерману. Дальше все было как обычно — архивы, библиотеки, газетные фонды… Стало понятно, что папке этой в конце 1930-х пришлось похудеть — по мере того, как книги иных авторов писем исчезали с полок библиотек. Так, не стало в ней писем Замятина (а они были — это следует из писем Либермана к Замятину, хранящихся в ИМЛИ), не стало, возможно, и писем Бабеля, Пильняка…

I. Группа «4 + 1»

Семен Петрович (Соломон Пинхасович) Либерман родился в семье коммивояжера в 1901 году на Волыни, в городе Ковель (в XIV–XVIII веках он входил в Польско-Литовское королевство, а с конца XVIII века — в Российскую империю). После Первой мировой войны Волынь снова отошла к Польше, это же случилось и с семейством Либерманов. В 1920-м Семен Либерман, окончив гимназию, отправился учиться в Германию; он поступил в

Лейпцигский университет, а продолжил учебу в Берлинском… В Берлине, тогдашнем центре русской эмиграции, юный Либерман, сам писавший стихи, сблизился с молодыми русскими поэтами-эмигрантами. Единственным источником информации на сей счет являются берлинские страницы воспоминаний Вадима Андреева «Возвращение в жизнь» — они намечают легкие контуры литературной жизни Семена Либермана 1922–1924 годов. Относительно точная — по времени и содержанию — информация датируется 1923 годом, когда в Берлине начала складываться литературная группа четырех молодых поэтов-эмигрантов: Вадим Андреев, Георгий Венус, Анна Присманова и Семен Либерман. К концу 1923 года группа себя четко идентифицировала, хотя название ее возникло чуть позже, когда к четырем поэтам примкнул перебравшийся в Берлин из Болгарии прозаик и критик Бронислав (Владимир) Сосинский, название это — «4 + 1».

Политически группа прописалась на левом фланге берлинской эмиграции, имея откровенно просоветский оттенок. Сошлюсь не только на тогдашние стихи Вадима Андреева — о «десятилетии взметнувшейся волны» 1914-1924-х или о Ленине:

> Весь мир, как лист бумаги, наискось
> Это имя тяжелое — Ленин — прожгло… —

и на его поздние мемуары, но и на статью Семена Либермана «Мятежная муза»[57], посвященную молодой русской поэзии и ее связи с революцией (статью, опубликованную по-немецки в переводе, возможно, самого автора). В этой статье, свободной от каких-либо конкретностей (анализа, обзора, имен и строф) и содержавшей лишь патетические и метафорические декларации, утверждалось, что русская революция, с безжалостностью анатома обнажившая все противоречия бытия, не прошла мимо русской поэзии и стала судьбой ее музы. Революция, как писал Либерман, сняла печать условностей и заставила всех говорить своим языком, разрушив мнимую гармонию прежних лет, причем это коснулось в большей степени именно поэзии, где вместо естественно ожидавшегося разложения появились ростки цветения. Главное не то, что возникли легионы поэтов, а то, что поэзия, выстояв в ураганах событий, вдохнула жизнь и в прозу. Муза поэзии предоставила времени свои легкие, возвысив надежды и ожидания до гомеровского пафоса. Она не молчала, когда палили пушки, и стих стал таким же острым и жестким, как сама жизнь.

Идейно, как кажется, этот текст подпитывался берлинскими

статьями Ильи Эренбурга 1921 года из журнала «Русская книга», и пафос либермановского взгляда со стороны, похоже, тогда разделяли все участники группы, хотя в их стихах он существенно корректировался иным жизненным опытом и неромантической суровостью текста.

Говоря о группе «4 + 1», для ясности последующей картины приведем краткие биографические справки ее участников:

Анна Семеновна Присманова (1892, Либава — 1960, Париж), с 1918-го — в Москве, не позднее 1923-го переехала в Берлин, где в 1923-м вышла ее первая значимая поэтическая публикация в берлинском журнале А. Белого «Эпопея»; в 1924-м переехала в Париж, где в 1937-м вышла ее первая книга «Стихи»…

Георгий Давыдович Венус (1897, СПб. — 1939, умер в лагере) — участник мировой войны и белого движения; с 1920-го — в Константинополе, с 1922-го — в Берлине. В 1925-м вернулся в СССР, жил в Ленинграде, где выпустил 11 книг; в 1935-м сослан в Куйбышев, где в 1937-м вышла последняя его книга; в 1938-м арестован.

Бронислав (Владимир) Брониславович Сосинский (1900, Луганск — 1987, Москва) — с 1918-го служил у Деникина, был ранен, в 1920-м бежал из Крыма в Константинополь, затем Болгария, где закончил гимназию и получил университетскую стипендию, с чем и прибыл в Берлин. С 1924-го — в Париже; в 1960-м вернулся в СССР.

Сын Леонида Андреева Вадим Леонидович Андреев (1903, Москва — 1978, Женева) — с 1919-го волонтер Добровольческой армии, далее — Константинополь, Болгария, получение университетской стипендии и с 1922-го — Берлин, где в 1924-м напечатал первую книгу стихов «Свинцовый час»; с конца 1924-го — Париж, в 1928-м вышла вторая книга стихов «Недуг бытия»…

Итак, трое участников группы «4 + 1» учились в Берлинском университете; не исключено, что с Андреевым, приехавшим в Берлин в апреле 1922-го, Либерман познакомился именно там (в то время как с Г. Венусом Андреев, судя по тем же воспоминаниям, познакомился в кафе). Участники группы увлеченно посещали всевозможные литературные вечера, особенно поэтические — благо помимо живших тогда в Берлине А. Белого, М. Цветаевой, В. Ходасевича, И. Эренбурга, Саши Черного, Г. Иванова там читали и приезжавшие из Советской России В. Маяковский, Б. Пастернак, С. Есенин — их выступления в Доме Искусств и кафе собирали немало народу, знакомства и контакты заводились легко (в 1923-м участники группы, случалось, выступали уже и сами — так, скажем, 6 апреля 1923-го Георгий Венус, писавший не только стихи, читал в Доме Искусств

свой рассказ «Вши»).

Конец 1923-го — пора, когда русский Берлин уже заканчивался; пути литературной эмиграции расходились — кто в Париж, кто в Прагу, кто в Москву. Многочисленные русские издательства, расплодившиеся в 1921–1922 годах в Берлине, как грибы (их было 86, и ежегодно они выпускали 2100–2200 названий книг — больше, чем в Советской России), испытывали большие трудности. «Крайняя неустойчивость германской денежной единицы и вызываемая ею неопределенность фактических цен на книги нанесли существенный ущерб всему книжному делу», — говорилось в заявлении 27 основных русских книгоиздателей Берлина 1 июля 1923 года. Вопреки всему именно в конце 1923 года группе «4 + 1» удалось выпустить свой коллективный сборник («Было решено, — вспоминал Вадим Андреев, — издать сборник, объединяющий под одной обложкой четырех поэтов, к которому Сосинский написал вступительную статью „Улыбка на затылке“. Он характеризовал нашу группу так: „В нас много трагического, удушающего — вот почему я, говорящий об искусстве, радостно улыбаюсь. Пафос трагедии и комедии одинаково солнечен. Наш внутренний несгораемый двигатель, несмотря на сдавленное горло, запекшуюся гневом кровь и перекрученную голову — так, что затылок впереди, — все-таки улыбка“… Волнений с изданием сборника было много. Так как сборник был крошечный и на каждого участника приходилось всего по нескольку страничек, то отбор стихотворений был нелегким. Но конфликтов, неизбежных в коллективных изданиях, не имеющих твердого редакторского состава, у нас не получилось — мы все были связаны доброжелательством и искренним желанием помочь друг другу. Сборник вышел в конце 1923 года (на обложке стоит 1924, но это было мелким жульничеством). В пустеющем Берлине „Четыре плюс один“ уже не возбудили никакого интереса, и только заглавие вступительной статьи „Улыбка на затылке“ вызвало по адресу Володи несколько иронических замечаний…»).

Сборник назывался «Мост на ветру. 4 + 1»; на тридцати шести его страничках помещалось двадцать пять стихотворений четырех поэтов (семь стихотворений Венуса и по шесть — остальных авторов) и предисловие. Шесть стихотворений Либермана — такие: «Как будто бешенный прыжок», «В этих улицах снег странен…», «Шарманщик» («Шум толпы и музыка…»), «О, мы умрем — кидай венки…», «Посвящаю Любови» («Она не поймет, что струна заикалась…»), «Если в городе нет Эйфелевой башни…». Рассказывая о сборнике, В. Андреев привел строфу из стихотворения Семена Либермана «Шарманщик»:

Было холодно — и пели пули,
Пули в поле (голова в огне),
И в промерзлое дуло дули
Ветры — и падал снег… —

заметив: «Либерман писал стихи, характерные для той эпохи». Таких «характерных для той эпохи» стихов у Либермана немало:

Молы разбегов, моль пересудов,
Мель ожиданья, хмельные лучи.
Сердце, ты хочешь бессрочную ссуду,
Бессрочную ссуду — здесь — получить.

или:

Что руки целую… — прости эту шалость.
Она отдышалась и шаль не неслась.
Но только бежало, не жалость, а жало —
Серые взгляды непонятых глаз.

В стихах Либермана очевидны навыки письма, рифмовки, аллитерации. Новая русская поэзия была у него на слуху; как и другие участники «4 + 1», Либерман, конечно, посещал берлинские чтения стихов (Белый, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Есенин). Голоса этих поэтов в его стихах подчас отчетливы — скажем, голос Пастернака:

Поэзия! Ты! Узнаю и внимаю!
Расшаркаюсь чинно и брошусь к руке:
Ты помнишь ли утро, чуть синее, в мае —
Влюбленные взгляды, нескромный крикет?[58]

Его берлинский словарь рождает ощущение покинутости, бездомности, заброшенности, горечи, тоски, отчаяния:

Я не знаю — это солнце или метель,
О, страшно, становится страшно,
Когда звезды падают на постель.

Так возникают характерные для молодежи в этом состоянии

стихи о смерти:

О, мы умрем — кидай венок
И ленты в кучу сыпь!
Нам только петь и пить вино —
Что неживым часы?

О, мы умрем — не плачь, не плачь.
Запомни и забудь —
Развеет пепел ли палач, —
Схоронят где-нибудь.

Умрем — подслушали ответ.
Живем — превыше сил
Такого вихря в мире нет,
Чтоб нас он не носил.

В лирику Либермана естественно вплетались берлинские темы города-улья и неодушевленных масс, образы радио, антенн и прочих технических актуальностей.

В 1923–1924 годы поэты группы «4 + 1» печатались в приложении к сменовеховской газете «Накануне». Из воспоминаний В. Андреева: «Еженедельно „Накануне“ выпускало большое литературное приложение, в котором наряду с эмигрантскими печатались и советские писатели и поэты… Сначала редактором был Алексей Толстой, потом Роман Гуль, первопоходник (так назывались участники белого движения, возникшего на Дону под руководством Каледина), автор книжки „Ледяной поход“, заявивший публично, что теперь он „сторонник диктатуры пролетариата и мировой революции“… Гуль отнесся ко мне благожелательно, зачислил в „городские поэты“ и печатал охотно — и стихи, и рецензии. Я начал печататься в „Накануне“ не потому, что идеология сменовеховства, выросшая из нэпа, была мне близка, а потому, что это была единственная возможность занять определенную просоветскую позицию…» Гуль печатал в «Накануне» и Венуса, и Либермана — их стихи и рецензии. В известных мемуарах «Я унес Россию» Гуль вспоминал сотрудников «Литературного приложения» к «Накануне», которое редактировал с июля 1923-го по июнь 1924-го, когда газета закрылась. Прежде всего он перечислил 17 авторов из СССР (думаю, листал подшивки «Накануне», работая над мемуарами), а еще и пятерых эмигрантов — двух своих друзей Юлия Марголина и «поэта Георгия Венуса (вернувшегося с семьей в СССР и расстрелянного через несколько лет)», а также Вадима Андреева,

Анну Присманову и Владимира Корвин-Пиотровского, но вот, небось натолкнувшись в подшивке «Накануне» на Либермана, если его и припомнил, то, не зная дальнейшей судьбы, в мемуарах не упомянул.

С 2 января по 16 марта 1924 года в четырех номерах «Накануне» Гуль напечатал семь стихотворений Либермана: «Сегодня быть одному приказано…», «В этих улицах снег странен…», «О, мы умрем — кидай венок…», «Неясно и неопределенно…», «Струнный шторм» («Она не поймет…»), «Радио» («Как будто бешеный прыжок…»), хотя пять из них вошли в сборник «Мост на ветру. 4 + 1».

Тогда же, в январе-июне 1924 года, Гуль напечатал в «Накануне» и десять рецензий Либермана, из них девять — на русские стихи. Причем только три рецензии на стихи поэтов с тогда уже прочными именами (книги Ф. Сологуба и П. Соловьевой и берлинский сборник «Женская лирика» со стихами Ахматовой, Цветаевой, Шагинян, Шкапской), ну а среди прочего — на четыре книги авторов, вообще никакого следа не оставивших в русской поэзии, затем — на сборник Петра Орешина «Ржаное солнце» (Либерман отметил органичность этих стихов) и рецензия на «гладкие, грамотные, приятные, средние стихи» Ариадны Скрябиной (дочки композитора и будущей жены Довида Кнута) из ее парижского сборника «Стихи». Наивысшие похвалы достались «Великому Благовесту» Федора Сологуба («большой поэт, блестящий мастер, человек с настоящим сердцем»).

В 1924-м началось массовое бегство эмигрантов из Берлина — положение там стало налаживаться, и марка уже не падала, а что немцу хорошо — русскому смерть. Первым уехал Сосинский (его болгарскую стипендию перевели в Париж), затем Присманова. Группа фактически распалась. Вадим Андреев вспоминал: «Конечно, Сема Либерман часто забегал ко мне (мы даже собирались издать совместный сборник „Чет и нечет“ — название, придуманное Семой), я часто бывал у Венусов… но нас было уже слишком мало: берлинский фейерверк догорел весной 1924 года. Русские эмигранты, оставшиеся в Берлине, либо совершенно не интересовались литературой, либо политически остались по ту сторону баррикады, которую возвела между нами революция, — ее принятие или непринятие».

Коллективный сборник «Чет и нечет» не состоялся, но с брендом группы «4 + 1» вышел сборник тридцати двух стихотворений Вадима Андреева «Свинцовый час». Название «Чет и нечет» получил его третий раздел (где были стихи со строкой «Чет или нечет осекшихся слов?»), второй раздел носил название

сборника (одно его стихотворение было посвящено Сосинскому), а первый раздел назывался «Бикфордов шнур», одно его стихотворение посвящено Г. Венусу, державшему, вместе с автором, корректуру книги, но политически «ударным» стало стихотворение «Ленин», в котором автор признавал себя не «сыном», но «только пасынком» России. В целом пафос книги был мрачен:

> Уйду на дно — свинцовый час —
> Глотая едкий дым и пену.
> И кровь с разбитого плеча
> К обугленным прилипнет стенам.

Последним из группы в Париж в 1924-м уехал Вадим Андреев (вслед за переведенной туда из Берлина его болгарской стипендией), так что в Берлине от группы «4 + 1» остались Венус и Либерман. В начале 1925-го Венус решил возвращаться в Россию; перед отъездом ему удалось напечатать в Берлине книгу стихов «Полустанок» — чуть потолще «Свинцового часа».

Либерман остался в Берлине один.

II. «Russische Rundschau»

Печатать русские стихи в Берлине стало негде; Либерман попытался посылать свои сочинения знакомым авторам в Россию, но тамошней цензуры он себе не представлял, а немногие знакомые просвещать его не спешили. Скажем, 22 июня 1925 года Андрей Соболь писал так: «Со стихами теперь трудно. На отдельное издание почти нельзя рассчитывать, отдельные стихи кое-как можно устроить, и я с удовольствием Вам в этом помогу. Так что не стесняйтесь „затруднить“ меня»[59]. Либерман стихи посылал, но ничего напечатать не удавалось. Прочитав в «Новой русской книге» комплименты Романа Гуля книге Василия Казина «Рабочий май» («Сергей Есенин — лирик с надрывом… Василий Казин — лирик чистой воды. Светлый, очень нежный, любит майское солнце, вешний ветер, голубой небосклон. Своеобразная мягкость казинского лиризма отводит обладателю — особое место среди русских поэтов»), Либерман послал Казину свои стихи, а потом многократно разузнавал у Лидина: получил ли их Казин и как они ему показались? Но внятного ответа так и не последовало… Корреспонденты Либермана были любезны, но палец о палец не ударяли (Федин писал 26 декабря 1925 года: «Журнал „Ленинград“ с осени прекратил свое существование, так

что Ваши стихи мы узнаем, во всяком случае, не на его страницах. Почему Вы ничего до сих пор не печатали здесь? Ведь Вы знакомы, вероятно, с большинством журналов?»).

Со статьями повторялось все то же самое; только однажды, летом 1926 года, Либерман написал Лидину почти оптимистично: «Работаю в украинской прессе — пишу статьи о театре, с осени буду, возможно, работать в московских журналах. Могу присылать статьи, очерки и фото — для Москвы и провинции. Работа и деньги шибко нужны, так что трудом не гнушаемся»[60]. Отвечая, Лидин о статьях промолчал: «Фото и проч. присылайте, можно устроить в „Прожекторе“ и проч., но помните, что они снабжаются всеми новинками германским фото-бюро, т. ч. ищите оригинального сюжета. Помогу Вам всячески».

Конечно, главным капиталом Либермана в Германии — для эмигранта весьма существенным — было отменное знание немецкого языка. Это позволяло ему стать посредником между немецкими издательствами и русскими писателями, между немецким театром и русскими драматургами, а также переводить. Правда, первая такая работа оказалась разовой и была связана не с Германией, а с Голландией, где выпускались ежегодники современной литературы «Het Nederlandche Bockhuis». Похоже, что очередной номер в 1925 году предполагали посвятить новой русской литературе. Неизвестно, почему и как Либерман оказался причастным к этому проекту, но так или иначе он стал посредником между голландскими издателями и писателями Москвы и Ленинграда, вел переписку с Вс. Ивановым, Леоновым, Фединым, Соболем, Никитиным, Лидиным: пригласил их участвовать в ежегоднике, получал по почте их произведения, автобиографии, списки публикаций, фотографии… Правда, сборник так и не вышел (Лидин еще зимой 1927 года продолжал запрашивать Либермана: «Что с тем голландским сборником, для которого Вы брали у меня биографию?» — но ответа не получил).

Постоянную работу следовало искать в Берлине. До Первой мировой войны большой спрос в Германии на русскую литературу породил превосходных переводчиков с русского. Но тяжелое послевоенное положение страны резко сократило спрос на новые переводные книги, и в начале 1920-х в Берлине действовал «Союз русских переводчиков в Германии», при правлении которого организовали специальное бюро труда. Процветавшие, благодаря ослабевшей марке, русские книгоиздатели в Берлине начала 1920-х пытались наладить выпуск русских авторов и на немецком. Одна из десяти рецензий Либермана, напечатанных в «Накануне», — как раз о немецком переводе прозы А. Яковлева (Берлин, 1923, издательство Френкеля).

Примечательная судьба тогдашнего русского издательства «Книга» имеет к нашему сюжету прямое отношение. Его владелец Иван Павлович Ладыжников (1874–1945) впервые основал свое издательство в Берлине еще в 1905 году — это был довольно ловкий проект, осуществленный совместно с Горьким с целью финансовой помощи большевикам. В 1914 году Ладыжникову, естественно, пришлось из Германии убраться — он переехал в Петроград, где снова совместно с Горьким создал издательство «Парус» и журнал «Летопись»; точно так же он продолжал сотрудничать с Горьким и в его небольшевистскую пору газеты «Новая жизнь», а затем, с 1918-го, — в пору издательства «Всемирная литература». Наконец, с 1921-го по 1930-й Ладыжников — снова в Берлине, как глава акционерного издательства «Книга», более известного на Западе как Издательство И. П. Ладыжникова. Это издательство специализировалось преимущественно на выпуске собраний сочинений русских классиков — как по-русски, так и по-немецки; с 1921 года Ладыжников выпускал знаменитый журнал «Русская книга» (в 1922–1923-м — «Новая русская книга»).

Именно с этим издательством и начал в 1925-м сотрудничать С. П. Либерман. Одной из первых его работ стала подготовка книги избранных стихов Бориса Пастернака по-немецки — увы, так и не вышедшей. Готовил он и еврейский сборник, куда материалы ему обещали Андрей Соболь («Еврейские свои рассказы постараюсь скоренько прислать Вам, но в последние годы у меня их всего два, — один из них „Погреб“ в „Обломках“ найдете, а насчет старых — не думаю, чтоб они теперь подошли») и Илья Эренбург («Из „еврейских“ вещей у меня имеются: I „Шифс-Карта“ — в „6 повестях“ (переводили м<ежду> пр<очим> во франц<узском> „Revue Juive“ <Еврейское обозрение>. II — Трубка старьевщика из „13 трубок“. III — предисловие к еврейскому переводу „Хуренито“ — статья… Да, Вы спрашиваете о материале для еврейского сборника. Бабель. А еще?.. Затрудняюсь. Только с русского? Или с „идиш“ тоже?»).

Но главный проект Либермана, представленный Ладыжникову, — издание ежемесячного журнала «Russische Rundschau», который знакомил бы немецкую публику со всеми значимыми новинками современной русской литературы — образцами прозы и поэзии, с обзорами литературы, театра и кино.

Проект был принят; во главе его встали два соредактора: Семен Либерман, отвечающий за русскую часть работы (диалог с русскими писателями и отбор материала), и д-р Эрих Бёме (работа с немецкими авторами — переводчиками и литературоведами — и с переведенными на немецкий текстами).

Весной 1925 года С. П. Либерман разослал на бланке Издательства И. П. Ладыжникова официальное письмо многим российским авторам (поэтам, прозаикам, критикам) с уведомлением о затеваемом журнале и с приглашением в нем сотрудничать. Письма посылались, главным образом, на адрес Союза писателей (в Москве и Ленинграде); литераторам, уже имевшими дело с издательством Ладыжникова, и тем, с которыми Либерман познакомился в Берлине, он написал на их домашний адрес.

Сохранился вариант этого письма, отправленный в Москву писателю Ю.Л. Слезкину:

«Berlin, 14.5.1925

Многоуважаемый Юрий Львович, в сентябре начнет выходить в свет выпускаемый нами на немецком языке ежемесячный журнал Russische Rundschau. Monatschrift für russische Literatur <Русское обозрение. Ежемесячник русской литературы> под редакцией Семена Либермана и д-ра Эриха Бёме, посвященный новой русской литературе и искусству.

Целью журнала является систематическое ознакомление европейского читателя с новой русской литературой, разъяснение сдвигов, происшедших в ней за последние десятилетия, и освещение течений, ее составляющих. В этом направлении издательство намерено продолжать длящуюся десятилетиями работу ознакомления Запада с русской литературой. В последнее время издательством выпущено на немецком языке полное собрание сочинений Толстого и Достоевского и собрание сочинений Горького.

Согласие лучших переводчиков и знатоков русской литературы принять самое деятельное участие в обработке материала дает лучшие гарантии точности и художественности переводов.

Немецким редактором журнала является д-р Эрих Бёме, который в Германии известен как один из лучших знатоков русской литературы.

Приступая к собиранию литературного материала, обращаемся к Вам, многоуважаемый Юрий Львович, с просьбой систематически присылать нам материал для переводов и тем самым принять участие в новом культурном начинании.

Одновременно просили бы Вас высказаться относительно возможности использования уже

появившихся в периодической печати, либо вышедших отдельным изданием произведений. Очень обяжете, снабдив печатным материалом, не имеющимся здесь.

За право перевода и печатания в журнале и периодической печати издательством будет уплачен соответствующий гонорар. И, если издательство приступит к печатанию переводов Ваших произведений отдельным изданием, оно войдет по этому поводу с Вами в соглашение.

Смеем надеяться, что Ваш ответ последует в ближайшем будущем и заранее благодарим за ожидаемый материал.

Примите уверения в глубоком уважении

Семен Либерман».

Ответ от Слезкина пришел только в сентябре, и Либерман вынужден был ему написать:

«Берлин, 11-го сентября 1925.

Многоуважаемый Юрий Львович, Ваш ответ получен мною после составления первых трех номеров журнала, так что вряд ли удастся напечатать Вашу вещь до четвертого номера. В первую очередь будет печататься, думаю, „Бандит“. Если у Вас будут новые вещи небольших размеров, не откажите сообщить нам об этом».

Действительно, в сентябре три номера были уже сформированы; так, скажем, Серапионов брат Н. Никитин 26 сентября обсуждал с Либерманом включение в состав третьего номера своего рассказа: «Опубликуйте лучше „Пёс“. Этот рассказ и лучше, и цельнее — чем „Американское счастье“. Или уж два вместе». В Берлин для «Russische Rundschau» пришло много материалов, и еще до выхода из печати первого номера были составлены не меньше четырех номеров. Из писательских писем, сохранившихся у Семена Петровича, можно узнать о материалах, которые должны были пойти в невышедшие номера журнала. Скажем, о стихах Г. Петникова (3 сентября 1925-го: «В ответ на Вашу просьбу выслать Вам для журнала, ред<актируемого> Вами, посвященного русской литературе, послано было несколько вещей из моей книги стихов. Я не знаю ничего о судьбе рукописи и о том, вышел ли в свет журнал, хотя Вы обещали мне послать № 1-й. Если Вас это не затруднит, пошлите мне №№ журнала и

скажите, что сталось с рукописью»), или о рассказах Слонимского (12 декабря 1925-го: «Во втором номере, судя по прежним Вашим письмам, должен пройти один из моих рассказов („Чертово колесо“ или „Лопата Еремея“). Хотелось бы иметь его. Буду ждать и номер с „Актрисой“»), или о предложении Сергея Буданцева (20 декабря 1925-го: «Прозы у меня для Вас подходящей, по-моему, нет и до выхода книги рассказов я ничего не смогу Вам послать. Поэтому придется взять отрывок из „Мятежа“») и т. д.

Самым узким местом в планах журнала оказалась не проза, не стихи, а критика — советских критиков в Германии не знали, да и на приглашение критики реагировали неохотно. Особенно заинтересован Либерман был в сотрудничестве с маститыми Луначарским, Воронским, Полонским, Коганом. Даже если они не ответили на обращение издательства, редактор журнала после выхода первого номера обратился к ним снова. Такое его письмо сохранилось в архиве П. С. Когана — известного марксистского критика, историка литературы, президента Академии художественных наук:

> «2-го ноября 1925.
>
> Многоуважаемый Петр Семенович, настоящим сообщаем Вам о выходе в свет первого номера нашего журнала Russische Rundschau. Monatschrift für russische Literatur под редакцией Э. Бёме и С. Либермана.
>
> Несколько месяцев тому назад мы обратились к Вам с просьбою принять участие в журнале; к сожалению, мы не получили от Вас ответа. Будем Вам очень признательны, если Вы сочтете для себя возможным снабдить нас статьями о современной русской литературе, о пролетарском искусстве и о взаимоотношениях различных группировок СССР. Выбор темы и размеры статей мы всецело предоставляем Вам, многоуважаемый Петр Семенович. Наиболее подходят для нас по размеру статьи до 15000 знаков; для нас приемлемы и статьи, уже появившиеся в современной печати СССР.
>
> Гонорар мы не замедлим перевести Вам по напечатании статьи.
>
> Смеем надеяться, что Вы не откажетесь принять участие в новом культурном начинании и заранее благодарим за ожидаемые материалы.
>
> *Примите уверения в глубоком уважении*
>
> *Семен Либерман».*

На повторное предложение Коган тоже не откликнулся. 6 ноября Либерман, сообщив Лидину, что «завтра празднуем в „Grosses Schauspilehaus“ 8-ю годовщину», просил: «Если можете, поговорите с Луначарским, Воронским, Полонским и другими; очень нужны статьи. Это ведь в интересах наших общих снабжать меня статьями. Так и можно сказать». Эренбург на запрос лично к нему ответил 29 октября по-деловому: «Статью напечатать могу, хотя бы „Германия в новейшей русской литературе“, если эта тема занятна. Гонорар (то же, что от „Lit. Welt“) 60 марок (только для „L.W.“ — 200 строк, для Вашего журнала длиннее). Если условия приемлемы, то напишите желательную тему (лучше несколько на выбор) и предельный срок».

На аналогичный запрос откликнулся и Федин (26 декабря): «Груздеву о Вашем предложении дать статьи для „R.R.“ говорил. Он сейчас очень занят работой над „Горьким“ — целая монография — но работать у Вас будет охотно».

Материалы для нового журнала стали поступать к Либерману уже летом 1925-го и были хороши: авторы выбирали лучшее из напечатанного; из этого отбирал редактор и отправлял переводчикам. Объем номера был установлен лишь приблизительно, и материал отбирался с запасом — окончательный выбор сделали позже. Примерный план первого номера Либерман набросал в письме В. Г. Лидину (они познакомились в мае 1925-го в Берлине, тогда же Лидин получил аванс и обещал журнал в Москве рекламировать):

> «Berlin, 4.8.1925.
>
> Многоуважаемый Владимир Германович, только сейчас мы можем сообщить Вам приблизительное содержание первого номера:
>
> М.Горький Рассказ, Эренбург „Красный отдых“, Вл. Лидин „Инга“, А. Соболь „Мимоходом“, И. Бабель Рассказ, М. Зощенко Рассказ, Л. Леонов Рассказ, Л. Сейфуллина Рассказ, А. Блок, Пастернак, Есенин, Маяковский — стихи, Е. Замятин Статья (О революции, литературе, энтропии), П. Марков Статья о театре, Э. Бёме Статья о русской литературе в Германии, С. Либерман Статья о русской поэзии. Мы взяли Ваш рассказ „Инга“ потому, что он более других подходит по размеру для первого номера.
>
> Разрешите напомнить Вам о нашей беседе во время Вашего берлинского пребывания; если Вам удастся что-либо сделать, не откажите поставить нас об этом в известность и снабдить нас вырезками. О новых Ваших

работах Вы, вероятно, своевременно нам сообщите.

Примите уверения в сердечном уважении

Семен Либерман».

В тот же день, ничего не зная об этом письме, Лидин писал Либерману: «О журнале я дал заметки и упомянул о нем в статье, которая появится в „Журналисте“. Как выйдет — пришлю». Статья Лидина называлась «Литературная жизнь Запада» и была написана по итогам его летней поездки в Германию, Италию и Чехию; в ней был такой абзац: «В Берлине организуется журнал „Die Russische Rundschau“ (Русское обозрение). Идейные руководители: профессор Бёме, один из лучших переводчиков с русского — фон Вальтер, С. Либерман и др. За плечами, например, Вальтера переводы Достоевского, Толстого, Пушкина, всего Ключевского, Блока, Мережковского; музыку нашего ритма пытается он с большим вдохновением и трудолюбием переложить на немецкий язык. Тоже и Бёме, и Радецкий, работающий в Вене, и Руофф, работающий в Мюнхене, и Ширацкая, переводящая современных поэтов, — весь этот культурный оазис на бетоне и камне современной цивилизации». 11 сентября Лидину был послан уточненный состав первого номера для рассылки информации в газеты (среди поэтов уже не было Блока, но все еще значились Есенин и Пастернак).

Первый номер объемом 84 страницы вышел лишь в октябре 1925 года. Живший в Берлине писатель О. Г. Савич сообщал 27 октября Лидину: «Вышел № 1 Russische Rundschau — Горький, Вы (Инга), Эренбург, Соболь, Бабель, Леонов. Вы прекрасно переведены. Журнал чистенький, но тощий. Об успехе сообщу, когда он будет». Номер открывался краткой, на полстранички, заметкой составителя: сообщалось, что цель нового издания — показать многообразие новой русской литературы и отобрать для читателя наиболее значительные и важные вещи.

Новый журнал открывался прозой М. Горького — написанным летом 1923 года и опубликованным в июньском номере горьковской «Беседы» (1924, № 5) большим рассказом «Карамора» (в 1928 году его включили в берлинское собрание сочинений Горького, а в СССР напечатали лишь в 1973-м, когда интерес к Горькому зачах). В «Караморе» речь шла о русском революционере и одновременно провокаторе — загадки русской души писателя мучили и тогда. Вполне возможно, что контакт с Горьким осуществлялся через Ладыжникова, а выбор рассказа наверняка принадлежал самому автору. Это единственный рассказ, который печатался в двух номерах журнала.

Вторым шел рассказ Лидина «Инга» (о нем у нас еще пойдет речь), а третьим: рассказ о нэповской Москве «Пивная „Красный отдых“» — единственная новелла на русском материале из только что законченной и еще не напечатанной книги Ильи Эренбурга «Условные страдания завсегдатая кафе» (немецкий перевод двух других новелл, первоначально предложенный Эренбургом, был отвергнут, так как их действие происходило вне России, — дополнительные расходы на перевод редактора не остановили, и «Красный отдых» послали переводчику Артуру Лютеру). Затем шли рассказы: А. Соболя «Мимоходом» (написан в 1922 году, напечатан в 1923-м в его книге «Обломки»); И. Бабеля «Письмо» (напечатанный впервые в одесских «Известиях» в 1923-м под шапкой «Из книги „Конармия“» и в № 4 журнала «Леф» за 1924 год; с 1926-го — во всех изданиях «Конармии»); Л. Леонова «О безумном Калафате». А вот рассказы Зощенко и Сейфуллиной в первом номере напечатаны не были. Сейфуллину (из ее книги «Молодняк», 1924), правда, напечатали во втором, с Зощенко же произошел конфуз. Либерман выбрал для перевода довольно большой его рассказ «Коза» (1922), иногда именуемый повестью, и отправил его в Вену амбициозному переводчику Д. А. Уманскому. О дальнейшем Либерман писал Замятину еще до выхода первого номера: «С „Козой“ Зощенко произошла дичь — Уманский ее наполовину выбрил»[61]. Заказывать новый перевод не стали, или уже не было времени, а печатать перевод Уманского сочли невозможным. Это сейчас Зощенко — классик XX века, а тогда Уманский переводил неизвестного на Западе автора — как хотел…

Из запланированных поэтов в первом номере остались лишь В. Маяковский и Н. Тихонов.

Знаменитая статья Евгения Замятина «О литературе, революции, энтропии и о прочем», впервые напечатанная в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (М.; Л. 1924), привлекла Либермана сразу, и 28 июля 1925 года он обратился к автору с просьбой дать ее для своего журнала; 18 августа 1925 года Замятин из Кисловодска написал жене: «Разыщите у себя в архиве окончательный вариант статьи „О литературе, революции, энтропии и прочем“, дайте отстукать на машинке и пошлите поскорей: Ladyschnikow Verlag, Berlin № 50 Rankestrasse 33, Herrn S. Liberman… Если в рукописи статья не найдется, надо переписать ее из сборника „Писатели о себе“ — изд. „Круг“». Острое и парадоксальное эссе Замятина, направленное против всякого застоя и банальности в искусстве, открыло отдел публицистики первого номера, где было напечатано еще три статьи: Артур Лютер «Русская литература в Германии» (вместо

предполагавшегося опуса Г. Бёме), Павел Марков «Возрождение актера» (с завлитчастью МХТ Либерман познакомился в Берлине в июле 1925-го) и Семен Либерман «Мятежная муза» (об этой статье речь уже шла).

В Германии журнал был замечен сразу. Либерман сообщал Лидину 6 ноября: «„Russische Rundschau“, или, как мы ее называем сокращенно, „RR“, встречает самый теплый прием повсюду. У нас еще только часть, небольшая часть отзывов, но всюду они не только благожелательны, но иногда и восторженны… В общей сложности — пока отношение прессы превосходное. Имеются уже голландские и французские рецензии. Материал, надо сказать, весьма интересный. Но пока это только начало».

По выходе первого номера началась рассылка авторских экземпляров, а следом и гонораров. Легко все получил только Илья Эренбург, поскольку почта из Берлина достигала корреспондентов в Париже беспрепятственно. 29 октября Эренбург поделился с Либерманом впечатлениями от номера: «… Журнал мне показался интересным и хорошо составленным. Из выбора вещей, пожалуй, можно оспаривать только Соболя. Да вот стихи — малопоказательные, и у Маяковского и у Тихонова есть много лучше. Переводы, насколько я могу судить, очень хороши. Моего рассказа в частности», а 9 ноября подтвердил получение 50 причитавшихся ему марок.

Авторы, жившие в СССР, были не столь удачливы и жаловались непрестанно. Еще 22 октября Либерман сообщил Лидину: «…посылаю Вам 5 экземпляров журнала. Не откажите подтвердить получение»; о том, что журнал до него не дошел, Лидин смог сообщить Либерману, пользуясь оказией — Савичем, который уже 11 ноября Лидина успокоил: «Russische Rundschau Вам послана вторично. Кроме того, отправлю и со своими. Либерман процветает, но хронически сидит без денег, о чем выразительно сообщает миру, прекращая стрижку-брижку». Но и эта вторая посылка не дошла, и была послана третья; 19 декабря 1925 года Савич сообщал Лидину: «Либермана вижу часто, он 3 раза послал Вам „Russische Rund.“ — и убежден, что должна дойти, — вот почему я и не послал с С. Я. <Мазэ — брат жены Савича. — *Б. Ф.*>, у него новостей нет, все идет по-старому. Только трещит слегка — денег нет. Но обойдется». 29 ноября прозаик С. Семенов писал Либерману: «Во-первых приношу Вам благодарность за сообщение о напечатании рассказа „Убийца“ в номере третьем Russische Rundschau (о будущем напечатании), а во-вторых должен Вам сообщить, что номера первого Russische Rundschau я не получил, и объяснить это обстоятельство ничем не

могу. Мне остается лишь просить Вас о вторичной высылке этого номера, в чем — я уверен — Вы не откажете».

В декабре стонали уже и самые терпеливые авторы; вот несколько стонов: 8 декабря А. Соболь: «Я ничего не понимаю: в третий раз пишу Вам, а от Вас ни звука. Я Вам писал и вот снова повторяю, что до сегодняшнего дня я не получил ни одного № Вашего журнала, ни денег, хотя Вашему письму о том, что мне выслан гонорар и журнал, уже скоро два месяца. В чем же дело?»; 12 декабря М. Слонимский: «Я, к сожалению, не получил еще высланного мне (как Вы сообщаете) первого номера „Russische Rundschau“. Журналы идут из-за границы вообще медленно. Надеюсь, что первый номер все же дойдет до меня»; 20 декабря С. Буданцев: «Пришлите, пожалуйста, журнал» и Яковлев: «Журнал, к сожалению, я еще не получил: опытные люди говорят, что его задержала цензура и, может быть, я получу через несколько дней. Не будете ли Вы любезны послать следующий номер заказной бандеролью? Очень бы хотелось получить», 26 декабря К. Федин: «„Russische Rundschau“ я не получил. Не получили журнала и другие Ваши сотрудники. Прошу Вас выслать журнал по адресу Ленингр. отд. Госуд. Издательства». Последняя по времени жалоба послана 12 января 1926 года Л. Леоновым: «Ни денег, ни журнала, обещанных Вами, я не получил»…

Между тем 6 ноября Либерман сообщал Лидину: «Второй номер выходит 20-го ноября. В нем: „Карамора“ Горький (окончание), „Дитё“ Всев. Иванов, „Инструктор красного молодежа“ Сейфуллина, „Жених полунощный“ А. Яковлев, „Немой роман“ Зозуля, „Вдохновение“ Савич. Стихи Эренбурга и Ивнева. Проф. Браун „Академия наук“ и другие статьи».

Когда номер объемом в 80 страниц вышел, в нем не оказалось рассказа Ефима Зозули, как и статьи проф. Брауна, зато напечатали статьи Вл. Астрова «Борьба за новую литературу» и Э. Гурвича «К психологии немецкого и русского искусства»; стихи Эренбурга «Наши внуки будут удивляться…» перевел Вольфганг Грёгер, до того переводивший Пастернака. Номер завершался четырьмя страницами книжных объявлений.

С доставкой второго номера дело обстояло не лучше — кто-то получил, большинство — нет, мало кто журнал вообще видел. 23 декабря 1925 года А. Чапыгин писал в Германию Горькому: «… ныне же получил извещение, что один из <моих> рассказов напечатан в их <Ладыжникова> журнале „Руссише рундшау“, но №№ журнала где-то застряли, и я ни одного не получил. Возможно, что цензура его не пропускает в СССР».

Слухи о финансовых проблемах «Russische Rundschau» доходили до России, и писатели осторожно справлялись об этом у

Либермана, но он предпочитал от этого вопроса уходить.

И так продолжалось долго. На Либермана надеялись. 13 февраля 1926 года Леонов подтверждал ему, что посланного для третьего номера «Russische Rundschau» рассказа «„Гибель Егорушки“ покуда никуда не отдавал, ясное дело. Во всяком случае, ежели у Вас что-нибудь не наладится, пишите прямо».

А вот характерное письмо М. Слонимского уже 20 апреля 1926 года: «Многоуважаемый Семен Петрович, не откажите уведомить меня, в каком положении находятся дела с переводами моих рассказов. Вы писали о переводе „Чертова колеса“ и „Актрисы“. Журнала Вашего я, к сожалению, не получил, но я видел его (только второй номер). Ходят слухи, что он временно прекратился. Правда ли это? Если правда, то думаете ли Вы издать мои рассказы отдельной книжечкой?»

Дела у Либермана с издателем не клеились, и оставалась одна надежда — нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. Надежда была не абстрактная: Либерман проявлял живейший интерес к распространению пьес Луначарского в Германии (см. дальше), и Луначарский это знал. В мае 1926-го других козырей, видимо, не оставалось, и в ход пошел этот. Из Берлина широко известный в мире нарком просвещения казался всемогущим, и на его помощь была большая надежда. Возможно, это же советовали Либерману и Ладыжников с Горьким.

Ответ Луначарского датирован 9 июня 1926 года и не оставлял никаких надежд:

> «№ 1914
> Berlin, Pragerstr. 12 West. 50
> тов. Либерману.
>
> Дорогой товарищ, по наведенным мною справкам я убедился, что при всем желании помочь Вашему журналу сейчас о какой бы то ни было денежной ссуде с нашей стороны не может быть речи. О выписке 1.500 экземпляров тоже не приходится сейчас разговаривать. Нам некуда их будет раздать, и свободных сумм для этого мы не имеем. Надеюсь, что в скором времени времена сделаются мягче и тогда можно будет что-нибудь предпринять.
>
> *Нарком по просвещению*
>
> *А. Луначарский».*

Мягкие времена, разумеется, не наступили, и кончина «Russische Rundschau» стала непреложной.

III. Стезя театральная

В 1926-м Либерману пришлось зарабатывать на жизнь статьями, переводами (с немецкого и на немецкий) и посредничеством по части издания книг и театрального устройства русских пьес. Он пытался печататься в России и устраивать там издание немецких книг (скажем, прозы Я. Вассермана) и пьес. Театр был главным предметом его посреднических увлечений. Потому еще на адрес «Russische Rundschau» его информировали: Никитин о своей комедии «Безумный купец», Лидин об инсценировке «Хижины дяди Тома», а П. Марков о нуждах МХТ (просил «прислать 4 пьесы немецких авторов и Тирсо де Молина по-французски»). В свою очередь, Либерман запрашивал их о русских театновостях — например, Лидина: о пьесе Третьякова «Рычи, Китай», поставленной у Мейерхольда, перед тем сообщив ему о своих опытах: «Перевод пьесы моей на немецкий язык близится к благополучному концу; за это время я успел написать новую пьесу — остался ненаписанным четвертый и последний акт. Правда, все это в карандаше — тушь потребует времени. Одним словом, работаю».

О нескольких сюжетах — подробнее.

1. Драматург Луначарский

Письмо Луначарского с откликом на интерес Либермана к его драматургии адресовано в Берлин поэту-имажинисту Рюрику Ивневу, который еще в 1918 году служил у Луначарского секретарем (оценивший это нарком потом не раз помогал Ивневу устраивать коллективные литературные вечера, организовывать поездки по стране и за границу). Находясь в 1925-м в Берлине, Ивнев познакомился с Либерманом и рассказал ему о своей службе у Луначарского, чьи пьесы уже издавались и шли в Германии. Либерман решил стать посредником наркома, о чем Ивнев написал шефу. Анатолий Васильевич мило ответил бывшему секретарю, и тот подарил автограф наркома Либерману. Два итога сего известны точно: стихи Ивнева удержались во втором номере «Russische Rundschau», а письмо Луначарского, отпечатанное на машинке на бланке наркома по просвещению РСФСР, — в архиве берлинского редактора.

«22/X 1925
№ 3861
Берлин. Тов. Ивневу

Дорогой товарищ.

Я очень благодарен Либерману за его интерес к моим пьесам. Я должен сказать однако, что те из них, которые имеют наибольшие шансы, уже издаются в Volksbüchne <Народные подмостки>. „Освобожденный Дон Кихот“ пойдет в театре этого предприятия 1-го декабря с Кайслером. „Медвежья Свадьба“ переведена полностью и вероятно также пойдет в этом сезоне. „Поджигатели“ переведены другим переводчиком в Вене и также имеют шансы попасть на сцену. Ранее Зинаида Венгерова перевела моего „Кромвеля“, но я не знаю, напечатала ли она его, хотя самый перевод был мне прислан на отзыв и я одобрил его. Кроме того переведено на немецкий язык „Иван в раю“ (Руссом). С изданием этого перевода, впрочем, как будто произошла какая-то задержка. Конечно, остается не мало других пьес, но новая моя пьеса „Яд“ по всей вероятности будет использована той же Volksbüchne. Так как я вполне доволен моими отношениями с этим издательством, то не могу отдать „Яд“ никому, пока они не выскажутся в этом отношении. Из пьес, которые, как мне кажется, могли бы иметь шанс на успех в Германии, непереведенной остается „Слесарь и Канцлер“. Если гражданин Либерман хотел бы заняться этой пьесой, я мог бы выслать ему экземпляр. Другие пьесы, на мой взгляд, имеют чисто литературное значение и вряд ли могут заинтересовать театры в Германии.

Крепко жму Вашу руку.

Нарком по просвещению

А. Луначарский».

В этом письме речь идет о пьесах Луначарского, написанных с 1920-го по 1925-й; работа над пьесой «Яд» завершилась в 1926-м; ничего не известно о дальнейших *театральных* контактах Либермана с наркомом, который написал около 20 пьес (теперь на сцене вроде бы не появляющихся).

2. «Мандат» Эрдмана

В мае 1925 года Либерман решил списаться с Николаем Эрдманом, чья пьеса «Мандат» с большим успехом шла в Москве у Мейерхольда (премьера состоялась 20 апреля 1925-го; до того как

в 1930-м этот спектакль сняли с репертуара, он прошел в театре 350 раз). В мае Либерман попросил А. Соболя связать его с Эрдманом — в ответе Соболя 31 мая есть фраза: «Письмо для Эрдмана пока не получено. Как только получу — передам его». Неизвестно, было ли отправлено Эрдману письмо в июне, но в июле Либерман, несомненно, виделся с Эрдманом, когда того по распоряжению Луначарского вместе с завлитчастью МХТ П. А. Марковым отправили в Германию в творческую командировку. Надо полагать, что именно тогда Либерман договорился с Марковым о статье для «Russische Rundschau», а с Эрдманом — об издании «Мандата» у Ладыжникова. 26 июля Эрдман писал из Берлина родителям: «Что касается моих издательских дел, они выяснятся завтра, а то мой издатель сбежал от жары к морю. Смотря по тому, к каким результатам приведет наш окончательный разговор, мы будем делать покупки». То, что разговор привел к хорошим результатам, известно: в марте 1926 года издательство Ладыжникова выпустило «Мандат» в немецком переводе соредактора «Russische Rundschau» Эриха Бёме, и книгу эту Эрдман хранил, а теперь она находится в РГАЛИ. На этом, однако, отношения Либермана с Эрдманом не прекратились — речь шла о постановке «Мандата» в Германии. Сохранилось написанное уникальным печатным почерком Эрдмана его письмо Либерману от 15 января 1927 года, в котором сквозит некоторое недовольство тем, как складывается сценическая судьба «Мандата» в Германии. Похоже, перевод Бёме не казался Эрдману идеальным для сцены, и он предполагал заказать новый. Отметим попутно, что это единственное из писем, уцелевших у Либермана, где он именуется «господином»:

> «Уважаемый г-н Либерман, может быть, Вы будете так добры и пришлете мне текст доверенности, а то я совершенно не знаю как она пишется. Было бы интересно узнать, что это за театр, какой договор, кто будет переводить? Если Вас не затруднит — напишите что с Рубинштейном, почему „Мандат“ до сих пор не устроен в Германии? Дело в том, что я все время получаю очень выгодные предложения из Вены, но должен от них отказываться из-за договора с Ладыжниковым.
>
> Жду Вашего ответа.
>
> *Уважающий Вас Николай Эрдман».*

Никакого продолжения этой истории архив Либермана не сохранил — но в 1927 году «Мандат» был поставлен в Берлине. Дальнейшая драматургическая судьба Эрдмана сложилась, как

известно, трагически: его вторая и блистательная пьеса «Самоубийца» (1928) была запрещена, а сам он вскоре сослан («Самоубийцу» опубликовали и поставили уже после смерти автора — в перестроечные годы).

3. Пьесы Замятина

Первым переводить пьесы Евгения Замятина на немецкий начал живший в Вене Д. А. Уманский, который познакомился с писателем в апреле 1924 года в Питере (его переводы на немецкий замятинской прозы появились в печати в 1925-м). Либерман стал переводить на немецкий драматургию Замятина во второй половине 1926-го. Сначала — пьесу «Огни св. Доминика» (написана в 1920-м, издана в 1922-м), затем — написанную в 1924-м и изданную в 1926-м трагикомедию по мотивам повести «Островитяне» (она называлась «Общество Почетных Звонарей», и в ноябре 1925 года ее показал Михайловский театр в Ленинграде). «Звонарей» Замятин читал многим театрам Москвы, дважды ее брался репетировать МХТ, макет декораций для театра Корша сделал Борис Эрдман, старший брат драматурга, но в Москве спектакль так и не вышел[62]. Перевод «Звонарей» Либерман прислал Замятину. В письмах к жене из Москвы Евгений Иванович не раз этот перевод поминает. 7 сентября 1926 года он пишет: «Надо еще просмотреть перевод „Островитян“ и отправить Либерману. И ему же одновременно послать „Атиллу“ (рукопись отдал переписывать). Вечером иду к Лидину — он неплохо знает немецкий, поможет мне с „Островитянами“», а 10 сентября жалуется: «До сих пор не устроилось еще с редактурой перевода „Островитян“. Придется, кажется, нанять для этого человека: заплатить — пускай проверит и исправит».

В письме от 7 сентября упоминается совсем новая пьеса Замятина «Атилла», которую в Москве переписали (так тогда говорили) на машинке в пяти экземплярах — для: Всеволода Мейерхольда (14 марта 1927 года Замятин сообщал жене о реакции Мейерхольда, прочитавшего «Атиллу»: «Он считает, что пьеса построена очень хорошо, но ставить ее вообще нельзя: в костюмах, с мечами и прочим — выйдет неминуемая Вампука»); Третьей студии МХТ, актера МХТ Л. М. Леонидова — на его поддержку новой пьесы Замятин рассчитывал; и для Малого театра. Что же касается пятого экземпляра, то Замятин писал жене 17 сентября: «Пятый — посылаю сегодня Либерману в Берлин. Сколько было возни с исправлением переписки. И еще

больше — с переводом „Островитян“. Уйму времени убил на это. Сегодня их тоже посылаю Либерману»; на следующий день в письме Замятин жаловался снова: «Больше все сидел дома, правил перевод „Островитян“, копии „Атиллы“». Получив «Атиллу», Либерман начал ее переводить; об этой работе он вел переписку с автором в 1927-м. Последние два раза имя Либермана встречается в письмах Замятина жене в январе 1927 года. 22 января он пишет: «Пожалуйста, отправьте заказным прилагаемое письмо к Либерману…», а уже 24-го: «Сегодня от Либермана получил письмо — ему моего, значит, посылать не надо». При отъезде за границу в 1932 году Замятин оставил в СССР свой архив, включая адресованные ему письма — в том числе и письма Либермана; архив этот хранится в ИМЛИ.

4. Клабунд и Лидин

Этот сюжет связан с немецким писателем, в России теперь забытым, хотя в 1928-м его знаменитая пьеса «Меловой круг» шла в московском театре Корша. Потому начну со справки.

Альфред Геншке родился в 1891 году и принадлежал к поколению, сформированному мировой войной. Наша старая «Литературная энциклопедия», сообщая в 1931-м про его романы о великих реформаторах (например, о Магомете и Петре Великом), упомянула еще книгу «Небесный викинг», героем которой был Франсуа Вийон. В 1925-м написан «Меловой круг» — на основе сочинения китайского автора XIII века Ли Сынтао, а также классических библейских мотивов (царь Соломон, разрешающий тяжбу двух женщин из-за одного ребенка). Все это «Литературная энциклопедия» осуждала: «Смена тем и жанров, обусловленная уходом от современности и обращением к прошлому, достаточно ярко выявляет мелкобуржуазную психоидеологию автора с характерным для него тяготением к индивидуальному». В 1928-м писатель, не достигнув и сорока, умер от туберкулеза. Добавлю, что ни в одной энциклопедии писателя Геншке нет, так как всё написанное он печатал под псевдонимом Клабунд (без имени). И еще: начинал он как поэт, чем и обрел известность. Но о поэте Клабунде «Литэнциклопедия» даже не упоминает — не помогли и его пафосные выступления против Первой мировой войны, о которых в книге воспоминаний «На повороте» Клаус Манн написал: «Молодой поэт Клабунд, в лихорадке своего объемлющего мир энтузиазма и тяжелой туберкулезной инфекции, направил кайзеру Вильгельму страстный манифест, в котором требовал немедленного

окончания войны, а кстати, и отречения монарха».

Название «Меловой круг» может напомнить о знаменитой пьесе Брехта «Кавказский меловой круг». И правда, на Брехта пьеса его берлинского друга Клабунда произвела столь сильное впечатление, что он еще в 1920-е решил переделать ее на свой лад, но реализовал этот замысел лишь в 1940-х: в рассказе «Аугсбургский меловой круг», а затем в знаменитой пьесе, действие которой перенес в условную Грузию. Так что через Брехта мы косвенно общаемся с Клабундом.

Теперь — к делу. 23 августа 1926 года после долгого перерыва Семен Либерман написал из Krummhübel'я письмо в Москву писателю В. Г. Лидину, чей рассказ «Инга» напечатал в первом номере «Russische Rundschau»: «Дорогой Владимир Германович, все течет — потому оставляю в стороне народную мудрость (лучше поздно, чем никогда) и приступаю к делу. Собственно говоря, необходимо все же сказать несколько слов о том, почему я берусь за письмо лишь сегодня — собираюсь давно Вам написать. В Берлине все не удавалось (отсутствие не времени, а спокойствия), затем был поражен болезнью, от которой постепенно избавляюсь. Доводы — Вам нужны еще доводы, когда скрип сердца и хриплое горло торжественно подтверждают мои слова — но к делу, к делу. Я нашел в одном театральном журнале заметку о пьесе Клабунда (автор же); при чтении ее зрачки мои стали расширяться, дыхание сперло, руки задрожали, одним словом — паралич был не мечтой, а доступным делом: и Вы виновник всего этого, хоть и себя я вправе винить, ибо где, когда, при каких обстоятельствах Клабунд нашел бы немецкую „Ингу“ — если не в „Russische Rundschau“? Думаю, что Вас заинтересует работа Клабунда: если хотите, можно будет прислать Вам пьесу. Я ее не знаю еще, но собираюсь прочесть и при случае перевести на русский язык. Было бы очень интересно пьесу поставить в России — предварительно необходимо будет заинтересованным лицам ознакомиться с ней. Заметку при сем прилагаю — пьеса пойдет не только во Франкфурте н<а>/М<айне>, но и в Берлине у Saltenburg'а — об этом мне говорил приятель один режиссер».

Вырезка с заметкой о пьесе Клабунда Лидина позабавила.

Москва, 7 сентября. Лидин — Либерману:

> «Спасибо за память и за вырезку. Мне очень приятно наталкивать на темы других писателей, но еще было бы приятней, если бы они со мной делились гонораром. Пришлите мне, пожалуйста, эту пьесу: может быть он вдохновился в пределах германских законов о влияниях,

заимствованиях и проч. Но и кроме того — интересно и, если подходит, можно устроить и на русской сцене».

Этот сюжет не исчезал из переписки Либермана с Лидиным много месяцев. Получив ответ на свою сенсацию, Либерман позвонил Клабунду по телефону но писателя в Берлине не оказалось (он болел, а лечился за пределами столицы). Либерман переговорил с женой Клабунда актрисой Каролой Неер. Отчет о разговоре был послан в Москву.

Берлин, 26 сентября. Либерман — Лидину:

> «Сегодня говорил „телефонным образом“ с женой Клабунда — его нет в Берлине и не скоро сюда он вернется. Мне не хотелось говорить по телефону о предметах, способных задеть самолюбие супруги автора; надеюсь, что в ближайшие дни удастся нам с ней встретиться. При личном свидании, когда лирический вздох способен заменить десяток тяжелых аргументов, удобнее будет открыто говорить о предметах тщательно прикрываемых. Я не замедлю написать Вам обо всем».

И написал.

Берлин, 11 октября. Либерман — Лидину:

> «С супругой Клабунда беседовать не пришлось, ибо вернулся Клабунд. Вчера был у него — договорились. Клабунд утверждает, что пьеса его только в немногом походит на Ваш рассказ. Девица: хрупкая, пятнадцатилетняя (не Ваша краснощекая), она и ее „обольститель“ гибнут и т. д. Трудно судить мне об этом, ибо пьеса мне не знакома. Я не стал разубеждать Клабунда, не зная в чем дело; счел правильным приступить к конкретному разговору. Клабунд согласился выплачивать Вам некоторую часть доходов. После некоторого массажа (с моей стороны) выяснилось, что доходы Ваши будут составлять 25 % всех театральных отчислений. Пьеса шла во Франкфурте, пойдет в Берлине и Гамбурге. Пришлите немедленно доверенность на мое имя (лучше всего кем-нибудь заверенную) — немедля приступлю к расчету с Клабундом и вышлю Вам то, что покуда наберется. Если пьеса пойдет в СССР и Вам придется ее слегка изменить, Клабунд предоставит Вам 50 % доходов. В таком случае я просил бы предоставить мне перевод с немецкого, если

Вы лично не очень заинтересованы в переводе».

Ответ Лидина пришел не сразу.

Москва, 23 октября. Лидин — Либерману:

> «Спасибо за устройство моих дел с Клабундом. На самом деле, заинтересуйте его, что пьеса пойдет в СССР, и он будет получать 50 % (если будет мне заграницей оплачивать 25 % — только на этом условии). Высылаю Вам доверенность. Если наскребутся деньжата, не переводите, а передайте Савичу. Великое дружеское спасибо… Теперь пьесу Клабунда переводите; мы с Вами будем получать по 25 %, 50 — Клабунд, а пьесу я постараюсь пристроить, если только она вообще подходит для русской сцены… И напишите, пожалуйста, как все образуется с Клабундом».

Не имея отзыва Лидина о пьесе, Либерман осторожничал и за перевод не взялся.

Берлин, 9 ноября. Либерман — Лидину:

> «Дорогой Владимир Германович, только теперь в состоянии ответить Вам. Был не совсем здоров, кроме того хотел до конца выяснить клабундовское дело. Клабунд слово сдержал — деньги переданы мне. Покуда пьеса шла лишь во Франкфурте н<а> /М<айне> — Вам причитается Мк <марок. — *Б. Ф.*> 303, 25 % — деньги сегодня передам Овадию Герцовичу <Савичу>. Были некоторые расходы в связи с этим делом. Я веду запись — об этом потом. Скоро пьеса пойдет в Гамбурге, а в конце сезона и в Берлине. С Клабундом держу связь — чуть что — я готов расписаться в получении денег. Очень рад, что мне удалось Вам в этом помочь; надо, можно надеяться на определенно приличный гонорар. Одновременно посылаю в адрес Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (пл. Свердлова, 2-й Дом Советов) пьесу (для В. Г. Лидина). Мне хочется выяснить Ваше отношение к пьесе раньше, чем приступать к переводу. Надеюсь, что Вы по возможности немедленно сообщите мне „свой взгляд“ — тотчас же приступлю к переводу».

Берлин, 10 ноября. Савич — Лидину:

«Денег пока ниоткуда не получал, кроме как от Клабунда. Вчера Либерман перевел мне около 300 марок. Это по Франкфурту, маленькому городу. В Гамбурге должны дать — на самый крайний минимум — втрое больше. Там ведь идет в лучшем театре и там миллион жителей. Засим — Берлин. Одним словом, думаю, поездку Вы оправдаете».

Последнее соображение вдохновило Лидина на новое письмо.

Москва, 15 ноября. Лидин — Либерману:

«Дорогой Семен Петрович, спасибо Вам огромное, безмерное за Вашу дружбу и внимание. Все это явится залогом нашей встречи. Как Вы думаете, стоит ли мне лично написать приветственное письмо Клабунду? С завтрашнего дня начну поиски пьесы, Вы послали ее в О-во Культсвязи — адрес его иной, М. Никитская, 6, рядом со мной. Как только получу пьесу, сейчас же спишусь с Вами насчет перевода. Если в ней нет мистики, очень может быть, что подойдет для к<акого-> либо из наших театров, сейчас же дам Вам знать».

Пьеса попала в руки Лидина не скоро, и он ее прочитал по-немецки.

Москва, 7 января 1927 г. Лидин — Либерману:

«Дорогой Семен Петрович, я получил, наконец, и прочел „Die brennende Erde“ <Горящая земля. — *Б. Ф.*>. Но, голубчик, Вы ведь понимаете, что это ни в какой мере не подходит для русской сцены. Что делать с мертвецами, с Рюриком и проч. Это как раз тот сорт литературы, который нравится немцам и который безнадежен у нас, в России. А пьесы нам нужны зверски. Ищите, находите, сейчас же закажут перевод и проч. — но более или менее подходящие. Лучше всего комедию. Спасибо Вам за все заботы. Очень горюю, что никак не могу быть Вам полезным в Москве».

Ответ Лидина Либермана не удивил.

Берлин, 14 января 1927 г. Либерман — Лидину:

«Дорогой Владимир Германович, Ваше письмо

получил — благодарю сердечно. Знал заранее, что Клабунд не пойдет. Ну и попутал же человек. Звонил ему на прошлой неделе — нездоров. Кажется, пьеса в Гамбурге еще не шла. Во всяком случае, знайте: Ваше не пропадет; я внимательно слежу за этим… Что до пьес — то об этом необходимо подумать. Может и набежит новое, напишу Вам более подробно».

Имя Клабунда еще трижды встречается в этой переписке.

Берлин, 28 февраля 1927 г. Либерман — Лидину:

> «Дорогой Владимир Германович, Овадий Герцович передал мне Ваш привет и просьбу относительно Klabund'a. Я звонил Клабунду несколько раз — очень был нездоров, а затем уехал на время из Берлина. В начале марта он вернется, так что тогда можно будет с ним поговорить и выяснить подробности. В Берлине пьеса еще не шла; шла ли в Гамбурге — не знаю…».

Москва, 15 марта 1927 г. Лидин — Либерману:

> «Дорогой Семен Петрович, спасибо Вам за заботы о Клабунде!.. Относительно пьес думал я не раз, но все, что есть у нас, вряд ли подходит для запада…»

Берлин 30 марта 1927 г. Либерман — Лидину:

> «Дорогой Владимир Германович, Ваше открытое <письмо> получил. Благодарю. Простите — не сразу ответил. Но мне хотелось поговорить с Клабундом раньше, чем написать Вам. Клабунд вернулся лишь недавно, говорил с ним telefonisch. Покуда пьеса не шла еще ни в Гамбурге, ни в Берлине. Клабунд обещал немедленно извещать меня о событиях. Но и я буду у него время от времени справляться».

С этого дня о Клабунде — ни слова. Летом 1927-го Лидин был во Франции, но в Берлин не заехал, а в 1928-м Клабунд умер.

IV. Московский эпилог

В Берлине Либермана удерживало лишь свободное владение языком. Но жизненных перспектив — никаких; он раздумывал об отъезде и 28 февраля 1927 года впервые написал об этом Лидину:

«…Возможно, что я в ближайшее время уеду из Германии. Это выяснится недели через три. Покуда еще неизвестно. Новостей здесь, увы, нет. Прозябаем. Интересного мало. Работы мало. Одним словом, чуть ли не панихидное настроение». С отъездом, однако, что-то не клеилось; об этом глухие упоминания в письмах Лидину — 30 марта 1927-го: *«У* меня покуда — все „без перемен“. Может, к Пасхе кое-что наметится», 27 июля 1927-го: «О себе ничего нового сообщить не могу. Увы, но это все-таки так. А старое не очень отрадно».

Парижская жизнь друзей из группы «4 + 1» складывалась тоже не блестяще: Андреев выпустил книгу лишь в 1928-м, Присманова — в 1937-м, Сосинскому изредка светила лишь периодика. И только Венус в Ленинграде, где родился и вырос, демонстрировал удачу: в 1926-м вышла книга его прозы, в 1927-м — 3 книги (роман и рассказы), в 1928-м — новый роман… Было над чем задуматься.

О дальнейшей судьбе Либермана — из письма его сына: «В 1928 году мой отец приехал в Москву вместе со своей первой женой В. С. Матецкой…» Найти литературную работу в Москве оказалось не легче, чем в Берлине. Это подтверждают сохраненные Либерманом два письма Луначарского, который к тому времени реальной властью уже не обладал, и с его рекомендациями не очень-то считались, даже если они были напечатаны на бланках Наркомата просвещения.

> «2 августа 1928
> лично
> В редакцию „Красная нива“
> тов. Полонскому
> Дорогой Товарищ,
>
> Пользуюсь случаем чтобы поздравить себя и Вас с возвращением на прежнюю работу[63]. Посылаю Вам молодого писателя, тов. Либермана, недавно вернувшегося из Германии, долго жившего на Западе, прекрасного знатока языков, западной литературы, кино-вопросов, театра и многих других сторон европейской жизни.
>
> Мне кажется, он мог бы быть Вам чрезвычайно полезен.
>
> *Нарком по просвещению*
>
> *А. Луначарский».*

И через четыре пустых для Либермана месяца — вторая

записка: члену Коллегии Наркомпроса, председателю правления Госиздата Артемию Халатову:

> «7 декабря 1928
> Тов. Халатову.
> Дорогой товарищ.
> Мне хорошо известен молодой литературный работник Либерман. Он человек многосторонне одаренный, хорошо знает языки, западно-европейскую жизнь и западно-европейскую литературу. Он говорил мне, что предполагается пригласить его в качестве референта по западно-европейской литературе в отдел Иностранной литературы при ГИЗ'е. Я считаю, что выбор был бы сделан вполне удачно, тов. Либерман подходит к этому месту.
>
> *Нарком по просвещению Луначарский».*

И снова все сорвалось. Для писателей, почтительных к Либерману в Берлине, в Москве он был обуза. Чтобы прокормить семью, оставалось одно — пойти в учителя, преподавать немецкий. Наверное, такая жизнь в тени и спасла его в 1937-м, когда уцелевшие авторы «Russische Rundschau» о давнем немецком журнале надежно забыли. Еще в 1936-м умерла от туберкулеза жена Либермана…

Напоследок процитирую письмо его сына, родившегося от второго брака:

> «В 1940 г. мой отец вместе с 11-летней дочкой навестил своих родителей, живших в то время во Львове, что стало возможным после „братского воссоединения народов“ в 1939 г. Это был последний раз, когда он видел их, вся семья была уничтожена в годы фашистской оккупации. Мой отец преподавал немецкий язык и занимался переводами, когда получал такую работу. Перевел кое-что Ауэрбаха, Шницлера, Песталоцци с немецкого, Т. Ружевича с польского и некоторых восточных поэтов с подстрочников[64]. В 1952 г. мой отец потерял педагогическую работу и наша семья сильно бедствовала. Умер мой отец в Москве в 1975 г.»…

Когда в 1980-е годы я говорил с В. Б. Сосинским в его московской квартире на Ленинском проспекте, он был уже в неважной форме, но, рассказывая про Париж между двумя войнами, заметно оживлялся. Увы, о С. П. Либермане я ничего

тогда не знал и о Берлине 1923–1924 годов не расспрашивал…

Приложение
Три характерных письма из архива Либермана

Письма Либермана писателям — деловые, вежливые, официальные. И, как правило, без личного тона — он проскальзывал разве что в некоторых письмах легкому остроумцу Лидину; скажем, 23 августа 1926 года:

> «Сейчас отдыхаю — скоро вновь Берлин, унтергрунды, файфоклоки и прочая дрянь; здесь тихо, покойно, хорошо; с гор стремится в долину десяток ручьев. Журчит вода, и можно представить себе (надо закрыть непременно глаза): фонтаны, висячие сады и гурии. О, пыль воспоминаний. Что с Вами? где Вы — в Крыму, на Кавказе? Иль может быть Вы на полюсе — тревожите сон космоса и медведей или Тибет приглянулся Вам нынешним летом? Ведь Вы у нас оставили о себе впечатление — вечного странника, открывателя новых земель и новых возможностей. Так что напишите о себе, о Москве, о литературе российской — если есть — дайте нам анекдот, чтоб и над нами реяло знамя святой литературы».

Из той пачки писательских писем, которую Либерман сохранил и мы широко цитировали, приведем еще три письма, но и в них отражаются авторы и эпоха, характеры и стили.

Вот бесхитростный, непосредственный и нервный **Андрей Соболь** (до его самоубийства оставалось 8 месяцев).

> «Эртелево, 1 сент. 1925 г.
> Ст. Графская Воронежск. губ. Хутор Эртелево.
> Многоуважаемый Семен Петрович, я как раз пытаюсь, так сказать, найти Вас — снова пишу Вам. Очень меня огорчает Ваше молчание. Никак не могу понять, почему и за что Вы на меня рассердились, — иначе как объяснить Ваше молчание. Спрашивал Вас, как обстоит дело с моими рассказами, взяли ли Вы что-нибудь из моей книги для Вашего журнала, когда выходит первый номер. Спрашивал Вас также, готовить ли для Вас книжку моих еврейских рассказов, — и на все никакого ответа.

Это очень грустно. А к тому еще я болен и дела мои денежные неважны и работать не могу. Совсем я сдал. Здесь понемногу прихожу в себя, только с погодой не везет. Когда я уезжал — должна была выйти моя повесть „Рассказ о голубом покое“ — в 1 альманахе „Красной Нови“, — уезжая, я просил контору, чтоб один экземпляр послали Вам — мне хотелось, чтоб Вы эту вещь прочли. Получили? Прочли? Не годится она для перевода? Мне почему-то кажется, что она подходит, но, впрочем, я, быть может, ошибаюсь.

Кончаю. Мне все еще трудно долго сидеть за столом — припадки продолжают одолевать.

Ну, если и на это письмо не последует ответа, — значит, одно из двух: или письма мои не доходят, или почему-то Вы вконец рассердились на меня. И то и другое неприятно.

Сюда пишите мне только до 15-го: как мне не хочется, но через две недели придется возвращаться в Москву.

Всего Вам доброго

Ваш А. Соболь

P.S. Где же обещанные стихотворения? потом я просил у Вас проспект Вашего журнала для московской одной газеты. И еще просил Вас, не знаете ли Вы в каком № „Квершнит“ (кажется, так название этого журнала) была статейка обо мне.

Мне очень грустно, что так долго Вы молчите.

А.С.».

В Москву Соболь вернулся 21-го сентября, и там его ждали два письма Либермана с обещанием прислать журнал, как только выйдет.

А западная деловитость жившего в Париже на литературные заработки очень плодовитого **Ильи Эренбурга** включала работоспособность и обязательность; его новый роман «Рвач» был запрещен в СССР.

«21/X <1925>

64, av. du Maine. Paris 14 e

Дорогой Либерман, денег, о предстоящей высылке которых я писал Вам, я не получил, а дела мои весьма плохи. Поэтому прошу Вас вновь — похлопочите об их

высылке. Далее еще просьбы. У Ладыжникова работает Левитан. Он приобрел у некоей госпожи Розенталь (между нами, редкостной стервы!) „Рвача“. Я должен получать за эту книгу проценты. Он взял 700 экз. Мне следует за них 126 долл. Но Розенталь не платит, говоря, что Левитан не заплатил. Так вот, я, не входя в счеты Левитана с ней, прошу его (Левитана) о следующем — пусть он (с ее согласия, конечно) вышлет мне 126 долл. Объясните ему, что мне деньги чрезвычайно нужны, за „Рвача“ я еще не получил ни копейки и невозможно, чтобы от его расчетов с Розенталихой страдал бы автор. Будьте энергичны и красноречивы! Далее еще — некто Строк в Риге выпустил мою „Жанну“ <роман „Любовь Жанны Ней“> и мне не платит. Разузнайте, пожалуйста: кто этот Строк? Кто его контрагент? Правда ли, что Латвия не связана конвенциями не только с СССР, но и с европейскими странами?

За все заранее благодарю и шлю сердечный привет.

Ваш Эренбург».

Либерман рад был услужить популярному писателю, и первые 200 марок (меньше половины суммы) Розенталь, державшая книги Эренбурга на складе у Ладыжникова, автору заплатила; надо было выжимать остальные. «Бога ради не сердитесь на меня, что я докучаю Вам такими погаными просьбами!» — написал благодарный Эренбург Либерману, который довел дело до конца. В 1927-м Либерман передавал Эренбургу привет через путешествовавшего по Франции Лидина, а в 1961-м сердечно поздравил его с 70-летием.

Будущий нобелевский лауреат **Борис Пастернак** писал Либерману сразу о многом — о сборнике своих стихов, который Либерман готовил по-немецки (отец поэта прислал Либерману машинопись первой главы из «Спекторского» — она должна была войти в книгу), о «Russische Rundschau», где Пастернака собирались печатать в переводе Вольфганга Грёгера, с которым поэт познакомился в Берлине в 1922-м, о родителях и сестрах, которым удалось вырваться из СССР.

«19/VIII 25

Глубокоуважаемый Семен Петрович! Получил Ваше извещение о выборе стихов. Буду Вам очень признателен

за присылку журнала. Если набежит что-нибудь гонорарное сейчас или в дальнейшем, Вы известите меня о его размере и препроводите его родным, находящимся в Берлине. Я тогда попрошу сестру или кого-ниб. из своих купить на месте, что нужно будет. Сумма ведь наверное будет не велика, а до перевода прозы и совсем ничтожная. Простите, что не ответил вовремя на Ваше милое и обстоятельное письмо, и не сердитесь на промедленье.

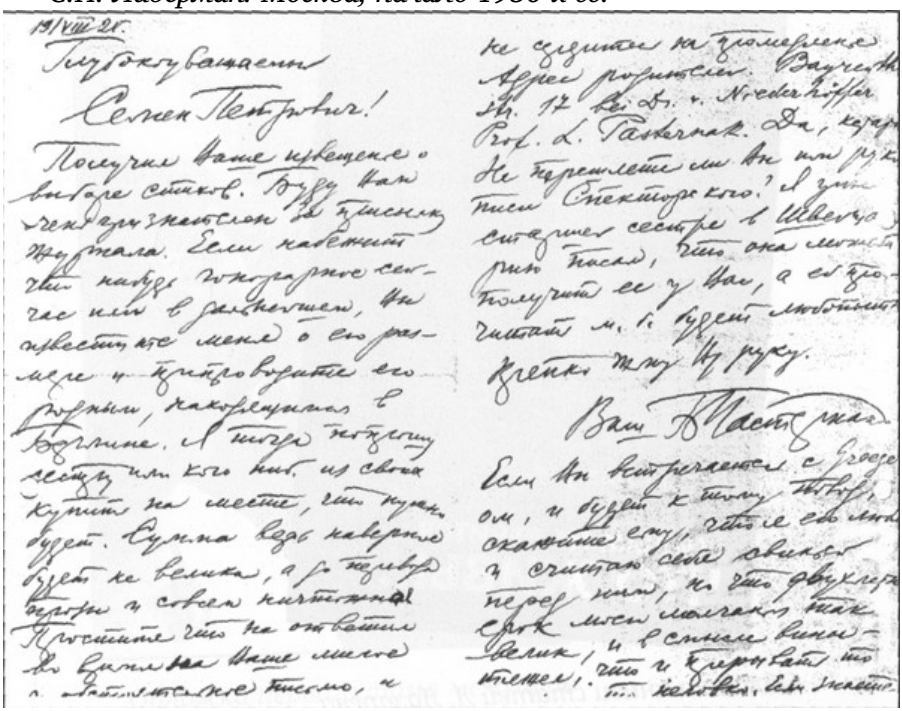
Адрес родителей. Bay<нрзб> Str. 17 bei Dr. v. Niederhoffer. Prof. L. Pasternak. Да, кстати. Не перешлете ли Вы им рукописи Спекторского? Я уже старшей сестре в Швейцарию писал, что она может получить ее у Вас, а ей прочитать м.б. будет любопытно[65].

Крепко жму В<ашу> руку Ваш Б. Пастернак.

Если Вы встречаетесь с Groeger'ом, и будет к тому повод, скажите ему, что я его люблю и считаю себя свиньей перед ним, но что двухлетний срок моего молчания так велик, и в смысле вины — тяжел, что и прерывать-то его как-то неловко. Если знаете что-нибудь о нем, сообщите. Издает ли он оригинальные (свои) книги?»

С. П. Либерман. Баварские Альпы, 1925 г.

С.П. Либерман. Москва, начало 1930-х гг.



19/VIII 25.

Глубокоуважаемый

Семен Петрович!

Получил ваше извещение о выборе стихов. Буду вам чрезвычайно признателен за присылку текстов. Если кабинет чтит память покойного сейчас или в ближайшем, вы известите же меня о его размере и приблизительно его стоимости, какую сумму я могу послать сестре или кто вы, из своих купить на месте, что нужно будет. Сумма ведь наверное будет не велика, а фотография и совсем копеечная! Простите что не отвечаю на ваши письма. Ваше милое и деловитое письмо, и не сердитое на промедление. Адрес прислан. Вероятно [illegible] Prof. L. Pasternak. Да, кстати. Не перепечатаете ли вы или руки писец Стеклянного? И еще сестре в Швейцарию [illegible] что она могла получить ее у вас, а не здесь. Читали м. б. будет любопытно.

Крепко жму вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Если вы встретитесь с Эфроном, и будет к тому повод, скажите ему, что я его люблю и считаю себя овцой перед ним, но что двухлетний срок моего молчания так велик, и в самом виновен, что я перестал что-нибудь [illegible]

Письмо Б. Л. Пастернака С. П. Либерману. 19 августа 1925 г.

Пять жизней Марселя Райх-Раницкого

Воспоминания Марселя Райх-Раницкого «Моя жизнь»[66], разошедшиеся в Германии, по сообщению радио «Свобода», в полутора миллионах экземпляров, начинаются с попытки национальной самоидентификации. Автор приводит давнюю беседу с Гюнтером Грассом, его лобовой вопрос: «Так кто же вы — поляк, немец или кто?» — и свой ответ, восхитивший собеседника: «Я наполовину поляк, наполовину немец и на все сто процентов еврей». Этой парадоксальной неаддитивностью процентного содержания самоидентификация вовсе не кончается — Райх-Раницкий продолжает: «Я никогда не был наполовину поляком, никогда наполовину немцем… Но никогда на всем протяжении моей жизни я не был целиком евреем, не являюсь им и сейчас». Прочитавшие его книгу могут посостязаться с автором в попытке ответить за него на вопрос Грасса, но вряд ли найдут ответ эффектный и одновременно точный.

Мемуары всегда располагают к разговору не столько о литературе, сколько об авторе, и они остаются самым популярным жанром — когда повествуют о захватывающих перипетиях жизни мемуариста или всего лишь — о встречах со знаменитостями. В книге Райх-Раницкого есть и то и другое, но три первые части — самые будоражащие, потому что нелегко найти другую сходную судьбу в XX веке (не фрагментарно, а воедино). Она, вопреки теории вероятностей, — цепь драматических (временами — трагических) событий, прерываемых перманентными чудесами, а рассказывает Райх-Раницкий о пережитом рационально, без надрыва, без пафоса и почти без горькой иронии.

Пять жизней Марселя Райх-Раницкого описаны в пяти частях его книги «Моя жизнь». Первая — 1920-1938-й. Он родился в польской провинции; мать была настолько страстной поклонницей германской культуры, что еврейская вера и польское слово остались вне его детства. В пору экономического кризиса разорившаяся семья Райх перебралась к родственникам в Германию, не имея немецкого гражданства. В 1938-м их всех депортировали назад, в Польшу. Вторая жизнь — самая тяжкая — 1938-1944-й. Гетто, ведущее в Треблинку, гибель всех близких; в последний миг побег и несладкое чудо выживания. Третья — советская Польша, 1944—1958-й. Немецкий язык дал работу (так возникла и вторая фамилия — Раницкий), затем выгнали отовсюду, и — очередное чудо — неожиданно открылась возможность заняться любимой немецкой литературой в

польском издательстве. Четвертая — 1958—1973-й. Бегство (снова удавшееся!) в ФРГ и попытка как-то утвердиться на литературно-критическом поприще. Наконец, пятая — с 1973-го. Обретение себя, широкая известность ведущего критика (газеты, журналы, книги, радио, телевидение), можно сказать: слава.

Неизменным и едва ли не главным предметом внутренних переживаний автора всю жизнь оставалась немецкая культура — литература, музыка, театр. Это возникло в детстве и не проходило — даже в гетто, где выстрелы не отменяли концерты, на которые писались рецензии, даже в малонадежном укрытии на окраине Варшавы, где они с женой просуществовали полтора года, — даже там выискивался в номерах гитлеровских газет литературный раздел. В этом смысле пример Райх-Раницкого — из редких. Он пишет, как в начале 1950-х годов польский поэт, которому Раницкий поклонялся, Юлиан Тувим (его мать тоже убили в гетто), мягко, но непреклонно ушел от какого-либо разговора с ним о немецкой литературе… По сути, вся книга Райх-Раницкого — гимн этой страсти, хотя фигуральное исполнение этого гимна долгое время звучало на столь мрачном фоне, что только редкая смесь инфантильности и решительности и чудо удачи в безнадежных положениях позволили автору не прерваться.

Рассказывая о первых берлинских впечатлениях (в 9 лет один приехал из Польши и остановился у состоятельного брата матери; «я — берлинец» — из наиболее точных его самоидентификаций), мемуарист говорит о бросившемся в глаза сочетании культуры и варварства немцев, и это впечатление лишь усиливалось последующими катаклизмами (1933 года ждать оставалось недолго). Но трезвое осознание грозящей гибели неизменно демпфировалось — жизнью в благополучном квартале (пусть и без какой-либо роскоши), среди благополучной публики, учебой в благополучной же гимназии, — словом, окружавший мир был социально дозированным, не разделявшим «крайностей» национал-социализма. Более того, когда положение немецких евреев стало немыслимым, Марсель Райх, как гражданин другого государства, продолжал учебу в гимназии имени Фихте и даже закончил ее в 1938-м. Самым горестным для него оставались не нацистские придирки учителей, не равнодушие гимназистов и даже не судьба евреев в Германии, а угрозы запретов — лишиться возможности посещать библиотеки, театры, концерты.

Формула жизни гимназиста Райха в гитлеровском рейхе: страх и счастье; счастье — от классических литературы, музыки, театра и страх — этого лишиться.

Понимание, что в рабочих районах Берлина и в провинции

все было куда страшнее, пришло только потом, но и по гимназии имени Фихте послевоенной ностальгии не возникало. В описании Райх-Раницким состоявшейся под старость встречи с бывшими согимназистами ощущается легкая тень недоумения, горечи, иронии в адрес их толстокожести, хотя он вполне политкорректно старался напоминаниями об «окончательном решении еврейского вопроса» в Третьем рейхе настроение одноклассникам не портить.

Его юношеская закрытость (отчасти вынужденная) в литературно-музыкальной скорлупе напрочь лишила бы мемуары хоть какого-то фона берлинской жизни 1930-х годов, когда бы не рассказ о театральном Берлине. Информативный и сам по себе, он интересен для нас еще и аллюзиями на СССР, правда, не сталинского (не знаю случая в 1930–1953 годах какой-либо публичной антисталинской демонстрации), а брежневского времени. Конечно, вожди Третьего рейха идеологически были не столь уперты, как наша геронтократия: не всегда выжигая фронду, они исходили из того, что если уж цензура ее пропустила, то зритель тем паче не заметит ничего. Тут-то и упивался спектаклем отдельно взятый умный и оппозиционный зритель…

Центральной темой музыкальных сюжетов книги Райх-Раницкого, пожалуй, является боготворимый им Вагнер, махровый антисемитизм которого, вызывая досаду автора, никак не сказывается на восторгах в адрес его музыки. Мемуарист не без удовольствия обнаруживает следы тайной любви к великому маэстро у политических анти-вагнерианцев (скажем, в случае с Куртом Вайлем, пылко обличавшим Вагнера и завещавшим положить партитуру «Тристана и Изольды» себе на гроб). Если для творцов литературы по-немецки у Райх-Раницкого не существует государственных границ, то в оценке музыки он исключительно берлинец (никак не венец, — скажем, имя Малера вообще не упоминается в «Моей жизни»).

Вообще же по итогам века Германию XX столетия, по Райх-Раницкому, символизируют Адольф Гитлер и Томас Манн…

После войны немецкая литература наконец-то стала для автора «Моей жизни» предметом профессиональной деятельности, и с современными ее творцами он знакомился не только по их книгам, но и лично. Сначала лишь с гэдээровскими: с лукавым Брехтом, не слишком понимающей свои книги Анной Зегерс или простодушным Фридрихом Вольфом. Это пока безвылазно сидел в Польше, а когда сбежал в ФРГ, все западные ограничения отпали. Повторюсь: для Райх-Раницкого немецкая литература — это всегда написанное по-немецки (наряду с Маннами и Брехтом — Кафка, Музиль, Рильке, Рот,

Дюрренматт…). Литературные встречи автора — его беседы и споры — не раз превращались в дружбы, но в критической продукции Райх-Раницкого меткий анализ исключал пустую комплиментарность и самую возможность неискренности; он, что называется, всегда строг, но справедлив.

Писательские портреты, представленные в книге «Моя жизнь» на основе описания этих встреч и долгих бесед, подчас ироничны (общее правило, сформулированное посмеивающимся критиком: о чем ни спрашивай писателя, он будет говорить только о себе). Главы и сюжеты, посвященные «Группе 47», поэтам Ингеборг Бахман и Эриху Кестнеру, прозаикам Генриху Беллю и Максу Фришу, романисту и эссеисту Элиасу Канетти, философу и критику Теодору Адорно, — чтение содержательное и живое.

Ну а что же «на 50 % поляк»?

Спешно депортированный в 1938 году в Польшу Марсель Райх смог вывезти с собой единственный капитал — немецкий язык, и делать ему с этим капиталом оказалось нечего, жить пришлось на иждивении брата-дантиста. Детские воспоминания к тому времени давно стерлись, и даже изъяснялся по-польски он поначалу с трудом.

Оккупировав Польшу, гитлеровцы в отношении ее огромного по численности еврейского населения могли творить что хотели, и Марсель Райх немецкое варварство увидел воочию. Однако даже это не охладило его пылкой любви к немецкой культуре. Что же касается отношения к Польше, то оно определялось не польской культурой. Конечно, он любил Шопена и за 20 лет (1938–1958) смог оценить польскую поэзию — в книге «Моя жизнь» с пониманием и любовью говорится о значении Тувима, упоминается и Броневский. Первый же польский офицер в составе Красной армии, с которым столкнулся 24-летний и выглядевший на все пятьдесят Марсель Райх, — был старший лейтенант Станислав Ежи Лец, чьи стихи и блистательные афоризмы он по достоинству оценил. Но польская культура никак не потеснила немецкую, и отношение к Польше определялось главным образом пережитым за время войны.

С приходом немцев польская молодежь принялась азартно охотиться на евреев — поначалу их сразу передавали гитлеровцам, но быстро поняли, что тут есть чем поживиться, и только уже до нитки обобранные лишались всех шансов уцелеть…

Когда неубитых евреев загнали в Варшавское гетто, знание немецкого Марселю Райху пригодилось: он вел всю корреспонденцию юденрата с оккупантами (продолжалось это до

мужественного самоубийства старосты юденрата Адама Чернякова, когда немцы попытались ликвидировать гетто его руками).

Безысходность этих страниц книги «Моя жизнь» просветляется разве что рассказами о высокопрофессиональных музыкальных концертах в гетто (при перманентных запретах: сначала на польскую, затем на немецкую музыку, а когда остались Мендельсон и Оффенбах, запретили их тоже — теперь тайком собирались слушать пластинки). И конечно — историей любви, которая не выбирает внешних условий и которую герой мемуаров пронес через всю жизнь, — может быть, это из самых редких чудес, случившихся в его жизни.

Следующим чудом был удавшийся побег, когда молодоженов уже ждали тесно набитые вагоны в Треблинку. Опасная цепочка сомнительных людей вывела на странную чету, жившую на краю города: наборщик и алкоголик Болек и жена его Геня. Днем прятались, а ночью работали на своих спасителей — тысячи набитых ими сигарет обеспечивали хозяина выпивкой. Был своего рода кураж в рассуждениях вечно пьяного Болека: «Самый могучий человек в Европе, Адольф Гитлер, решил, что эти двое должны умереть. Ну, а я, маленький наборщик из Варшавы, решил: они должны жить. Посмотрим, чья возьмет». Взяла его. Когда пришла Красная армия и вместе с ней пора прощаться, Болек сказал фразу, запомнившуюся его «жильцам» навсегда: «Прошу вас, не говорите никому, что вы были у нас. Уж я-то знаю этот народ. Они нам никогда не простят, что мы спасли двух евреев». Для описания тревожной полуторалетней жизни у Болека автор достойно ограничился употреблением слов одного цвета: сострадание, доброта, сочувствие.

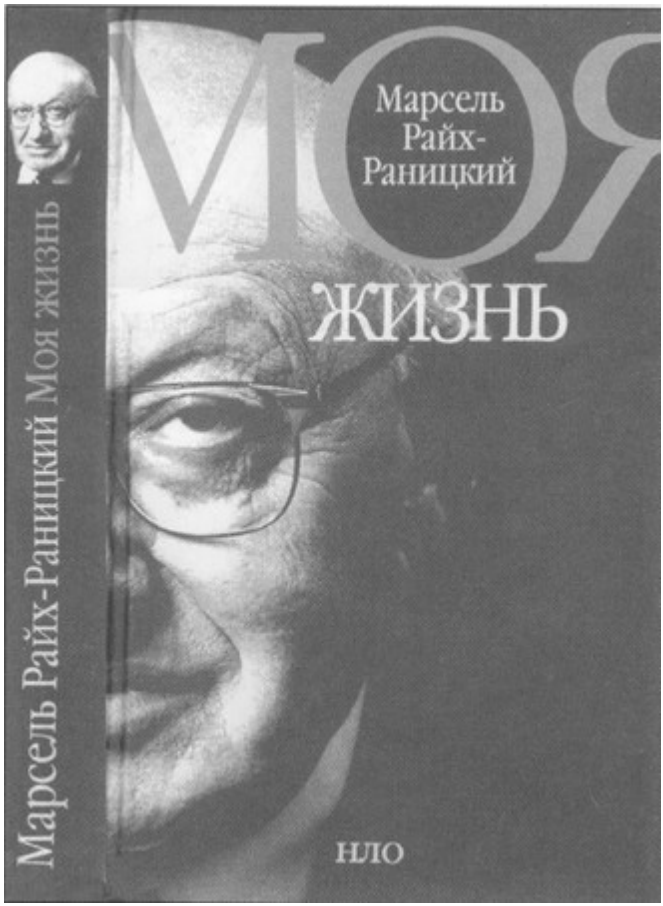
С изгнанием из Польши гитлеровцев польские страницы жизни мемуариста не закрылись, они переворачивались еще 14 лет — третью жизнь. Война продолжалась, и единственные люди, к которым освобожденные узники могли прислониться, — пришедшее с красноармейцами Войско польское, а единственным уцелевшим капиталом, который мог пригодиться, был все тот же немецкий язык. Так началась нереализованная попытка работы военного контрпропагандиста, потом военного цензора, потом одновременная служба в ГБ и в МИДе (в 28 лет Райх, ставший Раницким, уже служил консулом в Лондоне). Путь к литературной критике был непростым, он лежал через арест 1950 года (Польша, как и СССР, боролась с «космополитизмом»), изгнание со службы и внутреннее прощание со сталинским коммунизмом.

14 августа 2002 года полуподвальный материал «Известий»

проинформировал читателей, что именно эта, третья, жизнь Марселя Райх-Раницкого стала сейчас предметом политического «скандала» в Германии. Не берусь говорить о состоятельности компромата, охотно подброшенного польскими спецслужбами и раскрученного немецкими умельцами-журналистами (судя по заинтересованной в фактах корреспонденции «Известий», он очень сомнителен). Но то, что не России судить о подобных вещах, в данном случае неотрывных от конкретных обстоятельств Марселя Райха в Польше осени 1944 года, очевидно. Миллионы наших поныне засекреченных стукачей продолжают ощущать себя идущими вместе патриотами отечества. Их прежние и нынешние работодатели упоенно правят страной. А потому сенсационный заголовок пропрезидентских «Известий»: «Немецкий критик руководил одной из структур польской госбезопасности», мягко говоря, фальшив; он свидетельствует всего лишь о неизменно двойном российском этическом стандарте.

Что же до берлинского скандала, то через две недели после описанных «Известиями» разоблачений — 28 августа 2002 года, в день рождения своего великого поэта, Германия присудила Марселю Райх-Раницкому высшую литературную награду — премию имени Гете (в свое время ею был увенчан Томас Манн). «Известиям» об этой награде бывшему сотруднику польской ГБ сообщать почему-то не захотелось…

Уже после того, как эти заметки напечатал питерский журнал «Новая русская книга», мне пришлось услышать диаметрально противоположные отзывы о Райх-Раницком — от восторгов до негодования. Не берусь судить, поскольку знаком только с его мемуарами. Прочел их с захватывающим интересом, но желание написать о книге Райх-Раницкого возникло, лишь когда на глаза мне попалась описанная здесь статья «Известий». Надо ли говорить, что именно пассаж об этой статье редактор журнала из моих заметок изъял…



Обложка книги воспоминаний М. Райх-Раницкого (Москва, 2002)

Лазарь Лазарев — критик, редактор, мемуарист

В некогда роскошном подъезде знаменитого московского дома по Большому Гнездниковскому устало двигаются три лифта (один из них в известные времена был закреплен лично за А. Я. Вышинским, чье наводящее ужас имя значилось в списке жильцов подъезда). Поднявшись на верхотуру, вы окажетесь в редакции журнала «Вопросы литературы» — она помещается здесь не одно уже десятилетие, деля теперь просторные прежде апартаменты с не интересующейся вопросами литературы офисной молодежью. Но число кабинетов, оказывается, не влияет на работу журнала: он продолжает выходить и, как бы ни уменьшился его тираж со времен легендарных перестроечных подписок, усилиями спонсоров попадает на полки российских библиотек. В пик своей славы — 1970-1980-е годы — это был журнал широкого читателя, поскольку наряду с теоретическими статьями ему позволялось печатать интересные архивные материалы — Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Цветаеву, Булгакова, Бабеля (в других толстых журналах они появлялись только в порядке редкого исключения).

Лазаря Ильича Лазарева коллектив «Вопросов литературы» единодушно избрал главным редактором, как только это стало прерогативой редакции, а не Старой площади (он работает в журнале с 1961 года, когда по жесткому требованию той же Старой площади покинул любимую советской интеллигенцией «Литературную газету», где руководил самым живым — литературным — отделом).

Однако взрослая биография Лазарева началась двадцатью годами раньше — закончив среднюю школу в Харькове в 1941 году, он тем же летом ушел добровольцем на фронт; воевал на Ленинградском, Сталинградском и Южном фронтах, командовал взводом, ротой; был тяжело ранен. Поколение его сверстников почти все полегло на той войне. Лазареву повезло: все годы на передовой и все же остался жив.

Из его сверстников, вернувшихся с войны живыми, вышло несколько известных писателей. Перетерпев суесловие послевоенных черных лет, это поколение сказало свое слово правды. Говоря о писателях, обычно подразумевают прозаиков и поэтов — о критиках вспоминать не принято, хотя по прошествии лет судить об их работе нетрудно: перечитай, что хвалил и что ругал, — время ведь все расставляет по полкам. Лазареву

написанного за пятьдесят лет стыдиться не приходится — случай, думаю, редкий.

Он закончил филфак МГУ в 1950-м (не в лучшее для литературной деятельности время), и сегодня можно говорить о трех ипостасях его работы — литературный критик, редактор и мемуарист.

Главная и, по существу, единственная тема его критических статей определилась еще со студенческих лет: литература о войне. Девиз этой работы, четко сформулированный в воспоминаниях Лазарева: «Во времена, когда был попран здравый смысл, мы жаждали гамбургского счета», выполнялся им неукоснительно. Работа Лазарева-критика неотделима от профессии редактора: ему важна победа, а не демонстрация собственного героизма, причем победа не любой ценой, поэтому его дипломатия свободна от лукавства и демагогии. С его именем не связаны сенсационные литературно-политические скандалы, но его последовательность и упорство в отстаивании гамбургского счета не раз «доставали» Старую площадь. Его легальное сопротивление тоталитарному режиму было нерефлексивным, продуманным и действенным.

Конечно, меру и сектор этого сопротивления каждый устанавливал для себя сам. Когда в разгар афганской войны Виктор Некрасов напечатал в Париже статью, где упрекал своих друзей писателей-фронтовиков (среди них и Лазарева), что, продолжая писать об Отечественной войне, они глухо молчат об афганской, Лазарев, как он вспоминает, испытал чувство горечи: «Я не пытался искать себе оправдание: мол, хорошо ему писать в Париже, у нас все равно никто бы этого не напечатал. У него было право упрекать нас, он бы на нашем месте, если бы не напечатали, все равно не промолчал бы, где-нибудь да выступил»…

Но и литература об Отечественной войне была полем острой борьбы с властью за правду. Лазарев не менял художественных и политических критериев, борясь за книги В. Некрасова, Бакланова, Слуцкого, Быкова, Окуджавы, анализируя опыт Симонова, Эренбурга, Гроссмана, поэтов военных лет — и в «оттепельные», и в застойные, и в перестроечные годы, как и сегодня он не меняет их, противостоя беспардонной вседозволенности и антиисторизму.

Опыт предыдущих поколений не передается на блюдечке, овладение им требует работы ума и сердца. Проблема исторической памяти народа — глобальная для России; в отсутствии этой памяти — корень главных наших бед. Лазарев-мемуарист это хорошо понимает, и горечь, с которой он пишет о

том, как выросшие в условиях гласности судят о его поколении «с презрительным высокомерием, с легко давшимся, ничем не оплаченным превосходством», не останавливает, слава Богу, его пера. Воспоминания Лазарева о друзьях и событиях литературной жизни печатаются в разных изданиях; они интересны, поучительны и, что так редко сегодня, — достоверны. Лазарев пишет для интеллигентного читателя и потому в значительной мере — для будущего. Его воспоминания окажутся неоценимыми для всякого, кто захочет понять жизнь нашей литературы послесталинского времени — а это в определенной степени жизнь страны.

Как всякие мемуары, они немало скажут об их авторе — человеке умном и предельно честном, любящем литературу, а не себя в ней. А ведь сила военного опыта сама по себе еще не защищала от искушений — посмотрите, куда пришли иные из товарищей Лазарева, начинавшие под общим с ним знаменем…

Нельзя не вспомнить и книгу веселых и точных пародий Лазарева, Рассадина и Сарнова «Липовые аллеи», и редакторскую работу Л. И. в кино (он был редактором «Андрея Рублева», «Соляриса» и «Зеркала» — редактором, который многим помог Тарковскому)…

Есть в воспоминаниях Лазарева такой эпизод. Умер Твардовский, и Лазарева вызвали в секретариат Союза писателей срочно написать некролог от имени ЦК. Он написал его быстро, но одна загвоздка возникла — поэма «Теркин на том свете» запрещена, упоминать ее бессмысленно: все равно вычеркнут, нужно найти такой способ напомнить о ней, чтобы цековские идеологи проглядели, а внимательные читатели — нет. Лазарев бился долго и придумал: он написал, что Твардовский создал образ *бессмертного* Теркина. Некролог напечатали, но этого слова в нем не оказалось — аппаратчики замысел раскусили. Сколько таких мучительных боев было проиграно, у многих опускались руки, воздадим должное тем, кто продолжал сопротивление…

В конце 1999 года вышла книга Л. Лазарева «Шестой этаж». В ней три раздела: собственно «Шестой этаж» — воспоминания о работе в «Литературной газете» в 1950-е годы; «Время и судьбы» (воспоминания о В. Некрасове, К. Симонове, А. Аграновском, Б. Слуцком, Б. Балтере, А. Адамовиче, А. Тарковском и М. Галлае — сам перечень героев этого раздела говорит об авторе мемуаров) и «Записки пожилого человека» (точнее, начало этих записок, над которыми автор продолжает работать). На фронтисписе книги крупно набраны слова: «Мемуаристы склонны героизировать себя и свое время. Постараюсь не впасть в этот грех». У всех знающих

Лазаря Ильича эти его слова должны были вызвать одну и ту же мысль: стараться и не надо, ибо если кому сей грех и не свойственен органически, так это именно Л. И. Лазареву — точному, справедливому, обаятельному и одновременно сдержанному человеку.

В нынешнее, переходное неизвестно куда, время не книги определяют жизнь общества; невозможно, однако, представить себе разумное будущее страны без читателей, ибо именно книги помогают не распасться «связи времен». Подъем на «Шестой этаж» Лазарева — полезная и поучительная работа души. Во всяком случае, для всех, кто понимает: честно описанный опыт того, как в душных условиях тоталитаризма можно было оставаться порядочными людьми, даже служа на «идеологическом фронте», для России был и будет важен. Этот опыт именно потому поучителен, что, независимо от качества политического фона, жизнь неизменно ставит перед человеком нравственные проблемы и списывать со счетов опыт предшественников неразумно. Для будущих историков книга Лазарева незаменима — в ней всё правда, и это не столько даже свойство его памяти, сколько природа характера: скажем, уже написав о работе в «Литературке», Л. И. скрупулезно проверял себя, пролистывая и подшивки газеты, и архивные документы редакции. Не знаю сегодня другого писателя, чьим воспоминаниям так безоговорочно можно было бы доверять.

Писать о человеке, который продолжает активную жизнь в литературе, и писать так, чтобы написанное сразу же не требовало дополнений, — дело едва ли не безнадежное.

Лазарю Ильичу Лазареву — за восемьдесят. И он по-прежнему бессменный, замечательный главный редактор «Вопросов литературы» (несколько поколений авторов журнала не представляют себе «Воплей» без него) и постоянный автор «Знамени» (не случайно его «Знаменские» заметки к шестидесятилетию Победы были, можно сказать, единственными честными и единственными всерьез в многоголосом и, признаемся, в общем-то пустословном хоре того мая).

Самое последнее время принесло нам две книги Лазаря Ильича, которые можно назвать *главными*.

Одна — давно ожидавшаяся читателями книга работ о литературе об Отечественной войне. Она названа симоновской строчкой «Живым не верится, что живы», и на обложке ее выписаны столбцом имена героев: Эренбург, Твардовский, Симонов, Гудзенко, Некрасов, Слуцкий, Бакланов, Окуджава, Адамович, Гранин, Богомолов, Кондратьев, Быков, Гроссман. Здесь нет ни одного случайного, незаслуженного имени. Это

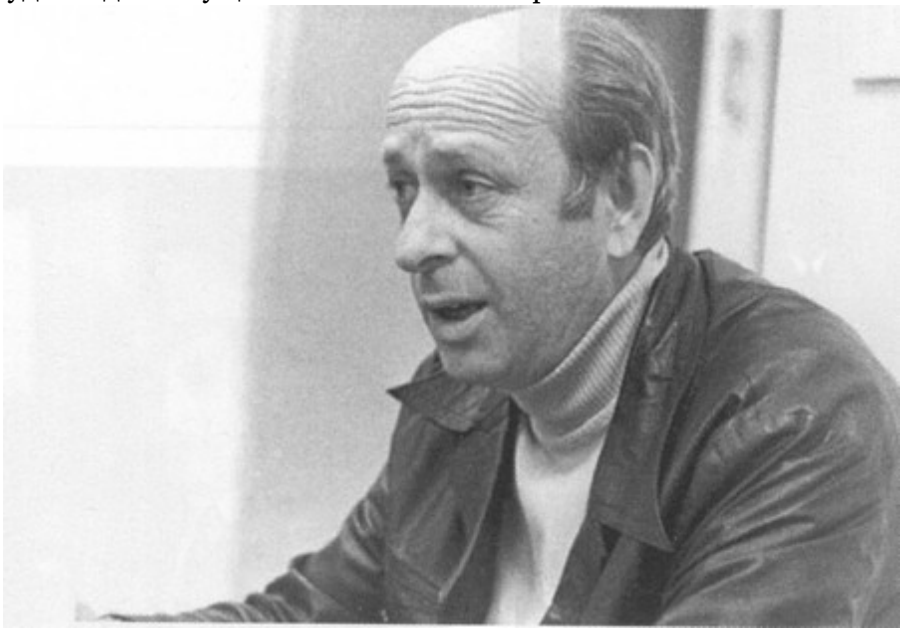
честные страницы истории нашей литературы об Отечественной войне (вернее, той ее части, которая достойна темы). «Живым не верится, что живы» читается не как *сборник* отдельных статей, а именно как *книга*. Причем книга — современная (не в смысле безответственности и беспардонности словес, характерных для теперешних писаний по истории, а в смысле современного знания о войне, оснащенного не только личным опытом автора, прошедшего войну с первых дней, но и пониманием новых исторических документов о той войне, крайне медленно, но неминуемо выходящих на волю из архивных казематов).

Вторая книга — расширенное и дополненное издание воспоминаний «Записки пожилого человека». В ней две части. Первая названа строчкой из Галича: «Уходят, уходят, уходят друзья» (портреты друзей и товарищей, где к печатавшимся прежде добавлены Окуджава, Ортенберг, Василь Быков и очерк о встречах «По заданию редакции» — встречах с Ахматовой, Эренбургом, Гроссманом и Твардовским). Вторая часть, названная давними словами Пастернака «Это было при нас», — мозаика мемуарных сюжетов и эпизодов о событиях давнего и недавнего прошлого, сюжетов живых и емких…

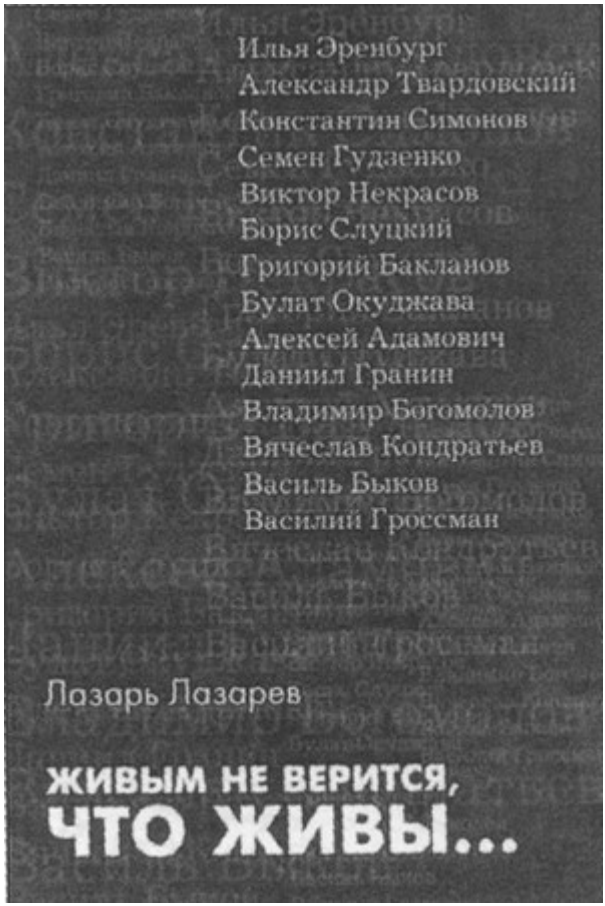
Человек, верный долгу и памяти, Лазарь Ильич Лазарев продолжает свою работу. В самое последнее время им были написаны воспоминания о Фридрихе Горенштейне — большом писателе и очень нелегком человеке, в литературной судьбе которого Лазарев сыграл, без преувеличения, исключительную роль. Я прочел их, не отрываясь; это не просто рассказ о знакомстве и встречах с героем и о его честных и серьезных книгах. Это емкий и многокрасочный портрет, написанный внимательным и понимающим человеком. Признаемся, не часто попадаются увлекательные мемуары, вызывающие полное доверие к их достоверности. Спрашивается: а могут ли вообще мемуары быть абсолютно правдивыми и в то же время увлекательными? Может ли мемуарист, безусловно симпатизируя своему герою, в то же время не замалчивать его откровенно непривлекательные черты? Мемуары Лазарева отвечают на эти вопросы утвердительно. Более того, его страницы о Фридрихе Горенштейне хочется назвать образцовыми — они предельно честны, не приукрашивают героя и не упрощают его и притом вызывают несомненную к нему симпатию и внимание, интерес к его книгам. И, заметим попутно, мемуарист нисколечко не выпячивает себя, свое присутствие, свою роль; в его тексте не найти того красного словца, ради которого иным авторам никак не избежать соблазна приврать, сместить акценты…

Планы Лазаря Ильича, слава Богу, перманентно пополняются.

Будем ждать осуществления его новых работ…



Л. И. Лазарев



Обложка книги статей Л. Лазарева (Москва, 2007)

Случай Бенедикта Сарнова

4 января 1927 года в Москве произошло много разных событий. Неожиданно отступила зима, и ударила полная оттепель с дождями.

Ю. Ларин веселил читателей «Правды» догадками о том, что было бы, победи оппозиция («Сталина, — писал он, — отправили бы послом в Персию»…). В Доме ученых кремлевский медик профессор Левин читал лекцию «О судебной ответственности врачей за профессиональные ошибки» (через 11 лет его расстреляли за «отравление» Горького). У Мейерхольда играли «Ревизора». Алиса Коонен потрясала зрителей в «Любви под вязами», а Михоэлс — в «Траудеке». В Колонном зале Дома Союзов демонстрировали чудо из Германии — «говорящий фильм». Три писательских союза объединились в федерацию, а пестователь советской литературы А. К. Воронский в клубе рабкоров прочел доклад «Как учиться писать художественные произведения».

О том, что в этот день в Москве родился Бенедикт Сарнов, газеты, понятно, не сообщили, хотя сегодняшние читатели его книг понимают: не случись этого, палитра нашей литературы лишилась бы яркой и сильной краски.

Как критик Сарнов раскрылся в годы «оттепели». Его работа в «Литературной газете» не была скрыта от читателей: острыми статьями она выходила на газетные полосы. Занявшие два номера «ЛГ» заметки Сарнова «Если забыть о часовой стрелке» (о стихах Евтушенко и Вознесенского) имели очевидный резонанс. Не отрицая дара молодых кумиров публики, Сарнов говорил: «Их словесная игра не обеспечена реальностью переживания и подобна деньгам без золотого запаса». В ответ А. Дымшиц, всю жизнь плясавший на чужой свадьбе, сигнализировал: «Порочный критик, игнорирующий марксистско-ленинские критерии, куда опаснее незрелых поэтов».

В 1966 году читатели узнали Сарнова-пародиста (сборник «Липовые аллеи», созданным им вместе с Л. Лазаревым и С. Рассадиным, оказался смешным, острым, интеллигентным), а в 1988-м Сарнову удалось выпустить двухтомную антологию советской литературной пародии, а его статья «Плоды изнурения», кажется, остановила бурный поток «сочинений» пародиста Александра Иванова, который издевался над неудачными строчками, и это позволяло ему «пародировать» любых стихоплетов. Много лет Б. Сарнов был гостем питерского литературного конкурса «Золотой Остап»; с девяностых годов он

ведет отдел «И в шутку и всерьез» в «Вопросах литературы», сделав его интереснейшим чтением.

Год, когда советские танки раздавили Пражскую весну, размежевал творческую интеллигенцию: одни спились, другие скурвились, третьи пытались сочетать несочетаемое — мало кто сохранил лицо. В годы застоя имя Б. Сарнова почти исчезло со страниц журналов и газет, разве что прелестные радиопередачи для юношества «Путешествие в Страну литературных героев» напоминали о его существовании. Между тем Сарнов много работал. В 1969 году он написал книгу «Заложник вечности. Случай Мандельштама» — первую из цикла «случаев»: книг о гибели русских писателей в тоталитарную эпоху. Эти книги писались «в стол»; дожить до времени, когда их можно будет напечатать, автор не надеялся. Такая работа требовала не только таланта и совести, она требовала мужества и воли.

Бенедикт Сарнов победил: он не дал себя раздавить, и, когда после длительного заточения его книги вышли в свет, ему нечего было стыдиться — это были интересные, умные, честные книги. И все-таки есть привкус горечи у этой победы — страны, ценившей и ждавшей слова писателя, уже нет…

В 1959 году Виктор Шкловский, прочитав книгу Сарнова о писателе Л. Пантелееве, проницательно угадал главную цель автора — «показать писателя в развитии и через это показать жизнь». Все книги Б. Сарнова посвящены русским писателям XX века, и все книги Б. Сарнова говорят о жизни России. Сарнов позволяет себе смелость доводить мысль до конца, и представление о том, что жизнь существует не для интеллигента, рождающееся из его книг, требует от читателя адекватного мужества.

Размышляя над трагическими судьбами русских писателей XX века, Сарнов пришел к выводу: «Расстрелянный Гумилев. Повесившиеся Есенин и Цветаева. Замученные и убитые — Бабель, Мандельштам, Пильняк. Замордованный Платонов. Затравленные Ахматова, Зощенко, Пастернак. Испуганно замолчавший Олеша. Превратившийся в жалкого графомана так ярко и талантливо начинавший Николай Тихонов… Каждый случай неповторимо индивидуален. Но в основе каждого — своя драма. Иными словами, каждая из этих судеб представляет свой вариант, свой случай преждевременной и противоестественной гибели художника».

Это стало темой нескольких книг Сарнова. Цикл был начат в 1969 году написанным «в стол» и напечатанным через 20 лет «Случаем Мандельштама», продолжен «случаями» Зощенко, Эренбурга, Маяковского. (Из всех четырех «Случай Зощенко» мне

кажется наибольшей удачей Бенедикта Михайловича.)

«Случай Маяковского» — в этом ряду последний по времени написания. При том что Маяковский для Сарнова с давних пор был и остается лучшим, любимейшим поэтом, и потому его «случай» (одетый в выразительную черную обложку и завлекательно озаглавленный «Маяковский. Самоубийство») сочинен отнюдь не прокурором. Скорее наоборот. Сарнов здесь — изощренный и скрупулезный адвокат, не упускающий ни единой хорошей строчки своего подзащитного, чтобы его поддержать. Что ж, слишком много псов сорвалось сегодня с цепей, норовя не только облаять, но и кусануть покончившего с собой большого трагического поэта, без которого наш XX век себе не представишь. Защита в этом случае вынужденно необходима…

Десять лет назад Сарнов избрал другую форму защиты, замечательно составив книгу Маяковского «Люблю» — антологию текстов поэта и высказываний о нем. В ней было не только «люблю» Маяковского, но и «люблю» Сарнова, и она лучше и легче всего просвещала по части Маяковского желающих просвещаться.

Плодовитость Бенедикта Сарнова в последнее десятилетие — несомненный феномен.

Воистину, как некогда написал поэт Николай Ушаков: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь…» Количество книг на полке Бенедикта Сарнова стремительно растет, и процесс этот — незатухающий. Конечно, и в советскую пору, практически лишенный возможности общаться с читателем, Сарнов продолжал много работать. Но то была работа «в стол». Трудно сказать, однако, сколького он не написал, не сделал — вообще, сколького лишилась наша литература в последние советские десятилетия из-за противоестественности системы, некомпетентности, бездарности держиморд, опекающих культуру.

Даже перечислить все книги Бенедикта Сарнова последних лет — нелегко.

Вспомним «Наш советский новояз» (2002), «маленькую энциклопедию реального социализма», как определил ее автор. Будучи энциклопедией, она выстраивает материал в алфавитном порядке и состоит из едких, веселых и содержательных заметок, подчас мемуарного свойства, о главных политических и литературных штампах советской эпохи. Людям, хорошо знающим ту эпоху, читать ее — несомненное удовольствие; для читателей, сложившихся в новых условиях России, сочинение Сарнова — информативный исторический учебник, он одновременно увлекает и просвещает.

По поводу своей книги непридуманных историй «Перестаньте удивляться» автор в свое время написал: «Эту книгу можно было бы продолжать еще долго. Но я решил поставить точку. Похоже, что это будет точка с запятой». И действительно, прошло восемь лет, и в 2006-м вышло второе, исправленное и дополненное, издание этого свода емких и, как всегда у Сарнова, смешных и одновременно грустных историй (иногда баек), свидетелем, а то и участником которых он был либо узнал их от своих друзей и знакомых. В известном смысле это тоже справочник по советской эпохе.

Нетривиальные и нередко полемические литературные статьи Сарнова продолжают выходить из-под его пера, их написано много. В нынешние времена у автора появилась возможность собирать свои статьи в книги, и книги эти, как принято говорить в таких случаях, на прилавках не залеживаются (и это в наше-то время, когда книжное «предложение» устойчиво опережает «спрос»!). Как тут не признать литературную успешность Сарнова-критика; в самом деле, вот его книги статей: «Если бы Пушкин» (1998), «Пушкин и мы» (2006), «И где опустишь ты копыта?» (статьи, очерки, фельетоны 1980—1990-х.; 2007) и, конечно, огромный том «Бесконечный лабиринт» (2005) — любимая моя книга Сарнова из этого ряда. В ней — 23 писательских портрета: от Александра Блока до Сергея Довлатова.

В начале прошлого века жанр литературных портретов был очень популярен. Знаменитая, главная книга Юлия Айхенвальда, которую много переиздавали, много читали и о которой много спорили, — «Силуэты русских писателей» (в ней более шестидесяти портретов) — писалась едва ли не всю жизнь автора и дала панораму русской литературы от Батюшкова и Крылова до Ахматовой и Шагинян.

«Бесконечный лабиринт» Сарнова — совсем иная книга, увлекательная и живая. Она не претендует на то, чтобы дать полную картину всего лучшего в нашей литературе XX века. Более того, трудно представить, чтобы Сарнов поставил перед собой задачу создать полную писательскую панораму. Он пишет только о тех и о том, кто и что его интересует (правда, интересует его многое). Я как-то назвал Бенедикту Михайловичу нескольких писателей, которых мне очень не хватает в его превосходном «Лабиринте». Но не убежден, что «Лабиринт» будет пополняться, поскольку новые планы перманентно рождаются в голове Сарнова и неуклонно реализуются им.

Особенно впечатляют два последних по времени его капитальных проекта.

В 1967 году Александр Твардовский написал в связи с

мемуарами «Люди, годы, жизнь»: «Писательскую судьбу Ильи Эренбурга можно смело назвать счастливой. Это очень редко бывает, когда художник уже на склоне лет создает свою самую значительную книгу, как бы итог всей своей творческой жизни».

Эренбургу было 68, когда он начал писать знаменитые мемуары, и 75, когда свой первоначальный план он осуществил.

Бенедикт Сарнов рекорд Эренбурга побил. Он приступил к работе над мемуарами «Скуки не было» в 70 и тоже осуществил свой проект; так на наши книжные полки встал двухтомный труд в тысячу четыреста страниц текста.

Не знаю, самая ли значительная книга автора «Скуки не было». И в мемуарах, как и в критике, Бенедикт Сарнов пишет главным образом о литературе и писателях. Слова «пиетет» в его словаре нет. Это, конечно, не значит, что среди героев его книг нет людей, которых он всерьез уважает. Просто симпатии не мешают Сарнову думать и писать свободно, остро, иногда даже лихо. И всегда его цель — понять главное.

Всех героев мемуаров Сарнова перечислить непросто; назову тех, кто особенно запомнился: Шкловский, Маршак, Солженицын, Белинков, Слуцкий, Солоухин, астрофизик Иосиф Шкловский, А. Воронель, Борис Хазанов, Корней и Лидия Чуковские, Липкин, Коржавин (Мандель), Фазиль Искандер, Войнович, Сахаров… Из этого длинного перечня выделил бы портреты Маршака, Шкловского, Коржавина и — особо — Солженицына (глава «Огонь с неба» — написана без обиняков, строго доказательно, убедительно и, похоже, исчерпывающе).

Конечно, «Скуки не было» — мемуары, потому автор — постоянно действующее в ней лицо. Рассказывает он о себе не только интересно и обстоятельно, он к себе строг не меньше, чем к другим персонажам книги; строг и ироничен. Всякий раз, вспоминая прошлое, Сарнов пытается восстановить собственное поведение и собственные мысли прежних лет. Надо думать, это не беллетристика и не подмена пережитого прошлого современными представлениями о нем.

Общеизвестна исключительная эрудированность Сарнова — короля цитаты; его память ничего, кроме зависти, не вызывает. Понятно, что он многое помнит и про себя и при этом себя не щадит, как и других своих героев.

Здесь уместно сказать и о большой, содержательной главе «Я был евреем». Ее название взято из эпиграфа — строк едва ли не забытого теперь поэта Константина Левина, с которым автор учился в Литинституте:

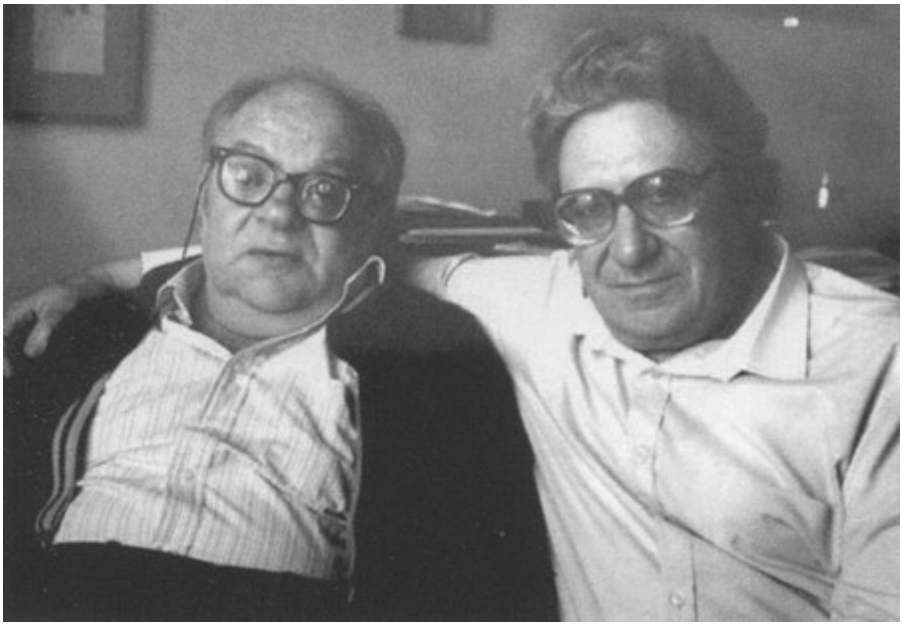
Мы потихонечку стареем,

Мы приближаемся к золе.
Что вам сказать: Я был евреем
В такое время на земле.

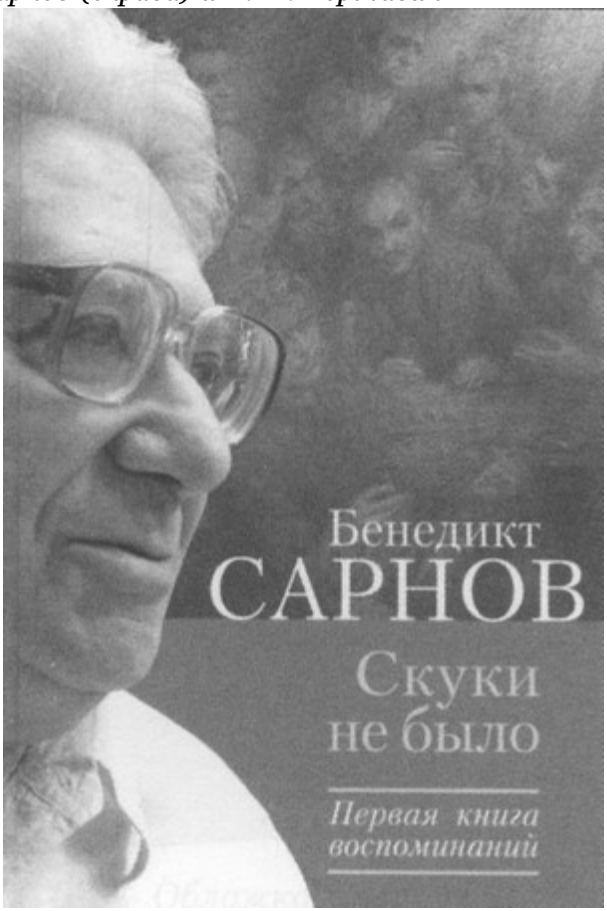
Счастливчик по жизни, Сарнов, как он сам признается, поздно, уже взрослым, столкнулся с антисемитизмом (образы иных носителей этой инфекции появляются в мемуарах) и потому не имел националистических комплексов. Не иудей, опять же по собственному замечанию, не христианин, не коммунист, а просто Бенедикт Михайлович Сарнов, автор книги «Скуки не было», не ограничивает себя в подробностях повествования (потому текст бывает многословен), но эта манера служит тому, чтобы представить прошлое объемнее, многоцветнее. Пусть себе повествование сплошь и рядом уходит в сторону, но вспомнившиеся вдруг встречи, разговоры, высказывания, иногда байки (даже если мы их уже встречали у Сарнова) не только оживляют текст, они служат все той же его объемности.

Бенедикту Сарнову перевалило за восемьдесят, когда он приступил к осуществлению нового своего капитального труда — к трехтомному сочинению «Сталин и писатели». Первый том (шесть глав: о Сталине и — о Горьком, Маяковском, Пастернаке, Мандельштаме, Эренбурге, Демьяне Бедном) — уже вышел из печати. Пока мы читаем первый том и размышляем о нем, Сарнов закончил работу над вторым… Нетрудно посулить этому его труду большой успех; очевидно, что с его выходом в свет читательская аудитория Сарнова, и без того не маленькая, заметно расширится.

Рекордсмены — всегда редкость, поэтому пожелаем Бенедикту Михайловичу сил для осуществления всего задуманного.



Б. М. Сарнов (справа) и Н. М. Коржавин



Обложка первого тома мемуаров Б. Сарнова (Москва, 2004)

Судьба Бориса Чернякова

В отошедшую эпоху обширное пространство перед семижды орденоносным Кировским заводом украшалось полусотней халтурных живописных изображений передовиков производства. Прохожие струились мимо унылой галереи, не замечая ее, а мне всякий раз, когда случалось оказаться в тех краях, интересно было узнать, сохранился ли в казенном ряду портрет путиловского рабочего Б. В. Чернякова.

Неарийское лицо знатного разметчика свидетельствовало о подозрительном притуплении бдительности заводского парткома (царская двухпроцентная норма для иудеев давно уже считалась непростительным либерализмом). Портрет, однако, не убирали, спасала его, надо думать, вполне славянская фамилия передовика.

Разметчик Черняков был единственным из моих друзей, чье изображение украшало колыбель трех революций, и, созерцая его портрет, я испытывал тогда понятное, а теперь забытое чувство гордости. Между тем Б. В. Черняков был не только высококлассным разметчиком, но и журналистом, окончившим ЛГУ и поработавшим в ленинградской прессе (поняв, что служба эта вынуждает писать что требуется, а не то, что интересно, он вскоре вернулся на завод). Материалы, подписанные им, иногда появлялись в городских изданиях, и тогда рядом с фамилией автора, как охранная грамота, указывалось: «Рабочий Кировского завода». Черняков, наверное, привык к такой подписи; иногда она приводила к неожиданным эффектам.

Если не ошибаюсь, в начале 80-х годов в «Нашем современнике» появилась очередная, но уж очень оголтелая антисемитская публикация. В списке редколлегии журнала значился и В. Распутин, писатель, которого Черняков тогда уважал, и он решил спросить уважаемого писателя, как же тот может скреплять своим именем подобные материалы. Ответа пришлось ждать долго, но однажды домой к Чернякову заявился некий человек, предъявивший удостоверение «Нашего современника» и пожелавший удостовериться, что автор письма Распутину действительно является рабочим. Боря возмутился: он писал не редакции, а лично Распутину, но все же соответствующие документы показал. Агент был убит: он так надеялся обнаружить по указанному в письме адресу директора гастронома в интерьере, украшенном атрибутами тогдашней сверхзажиточности, а тут — коммуналка, более чем скромная обстановка и вполне нормальный разметчик. Пришлось-таки

Распутину прислать постное письмо — он-де тут ни при чем и за крамольную публикацию не отвечает…

Я помню устные рассказы Бориса Чернякова, грустные и смешные. Он родился в Белоруссии, в местечке Лиозно, откуда был родом Марк Шагал, вырос у дедушки с бабушкой и с детства запомнил массу народных баек, но героями его рассказов были и люди Кировского завода, простые и легендарные, в частности директор завода предвоенной и военной поры Зальцман (помню его впечатляющий мемуар о посещении завода Берией), а в последние годы застоя популярным персонажем баек стал главный партийный идеолог Суслов, посещавший Кировский завод в каждый свой наезд в колыбель Октября, — он ходил по цехам застегнутый на все пуговицы и в неизменных галошах, а работяги забивали в обеденный перерыв «козла», и им дела не было ни до идеолога, ни до его галош.

Летом 1991 года в Киеве издали «Черную книгу» — подготовленный в годы войны под редакцией Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана сборник документов об уничтожении гитлеровцами еврейского населения на территории СССР. Книгу эту в СССР запретили в 1947 году, так и не издав, и впервые она вышла на русском языке в Иерусалиме в 1980-м. То издание я видел мельком, а киевское мне прислали, и прочел я его от корки до корки. В главе «Белоруссия» увидел заметку «Лиозно», подписанную Б. Черняковым и подготовленную к печати Всеволодом Ивановым. В заметке, явно отредактированной писателем, тринадцатилетний Боря Черняков рассказывал о том, что произошло в Лиозно, после того как 16 июля 1941 года туда вошли немцы, — все еврейское население местечка было расстреляно. Боря уцелел только потому, что за несколько часов до расстрела ушел из дома в поисках еды. Его спасла русская женщина Феодосия Семеновна Дехтерева (теперь ее имя вписано в Книгу Праведников, хранящуюся в Иерусалиме) — полтора месяца она прятала мальчика, а потом он смог перейти линию фронта…

Когда я привез ему «Черную книгу», Боря рассказал, как он написал обо всем пережитом Маршаку, единственному детскому писателю, которого знал. Дальнейшее реконструировалось легко: Маршак передал письмо Эренбургу, готовившему «Черную книгу», а от него оно уже попало к Вс. Иванову.

Дочь Ильи Эренбурга в начале девяностых подготовила на основе найденной ею верстки 1946 года и архивных документов исправленное и дополненное издание «Черной книги»; оно вышло во Франции, Германии, Италии, готовятся издания и в других странах. На русском языке его выпустили в Вильнюсе в 1993-м.

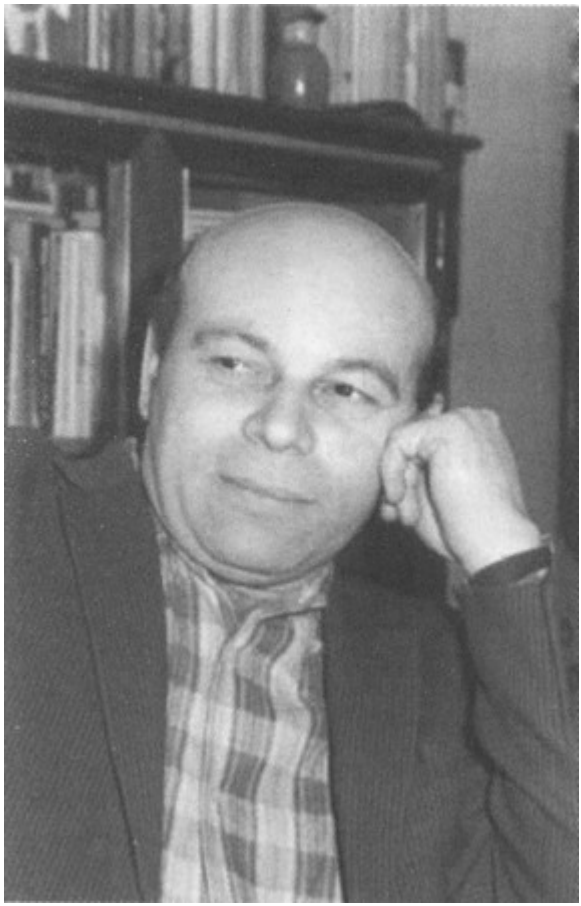
Ни в России, ни в Белоруссии полная «Черная книга» издателей не интересовала. Благодаря «Черной книге» трагедия, пережитая мальчиком из белорусского местечка Лиозно, стала известна в тех странах, население которых считает фашизм позором и не допускает его реанимации. В пору перестройки, ослепленные возможностью демократизации, мы не придавали должного значения национал-социалистической опасности, и я помню, как отчаивался Черняков, говоря об открытых выступлениях коричневых в Питере и о полном безразличии к этому городских властей. Он не мог не думать о судьбе двух своих маленьких внуков. В ноябре 1991 года Черняков уехал в Израиль.

Летом 1996 года в Тель-Авиве вышла книжка Бориса Чернякова «Маленькие еврейские истории», иллюстрированная известными гравюрами С. Б. Юдовина; на эту книжку доброй статьей отозвался писатель Григорий Канович (не в Вильнюсе и не в Москве, а в Нью-Йорке). Истории, рассказанные в этой книжке, мне хорошо знакомы: перед отъездом Черняков подарил мне свою рукопись. Выпустить книгу здесь он и не мечтал, но все же записал печальные и веселые истории, которые слышал от земляков, закопанных во рву под Лиозно, — это все, что он мог для них сделать.

17 декабря 1996 года Борис Черняков умер в Тель-Авиве.

Я листаю маленькую книжку, думаю о горестной судьбе ее героев, вспоминаю мудрого Чернякова и тех, кто, как и он, не хотел уезжать из своей страны и кого вынудили это сделать, и неумолимый вопрос вертится у меня на языке. Вопрос не к молодчикам, щеголяющим свастикой на Невском, вопрос к их тайным и явным покровителям, к тем, кто пестовал их первые группы еще в застойные времена, к чинам из высоких корпусов Литейной части — чего вы этим добились? Вы прибавили России доброты, ума, совести, авторитета? Вы решили ее вековечные проблемы? Вы уберегли ее от невзгод и междоусобиц? Вы обеспечили ее спокойное счастливое будущее?

И еще вопросы, их задаю себе: кто будет следующим? и когда и чем сие кончится?



Б. В. Черняков. Фото М. Балцвиника

Обложка книги Б. Чернякова (Тель-Авив, 1996) с гравюрой С. Б. Юдовина

Михаил Балцвиник — его стихи и его собрание

Михаил Абрамович Балцвиник родился в 1931 году в Питере в семье врачей, полностью принимавших советскую действительность и при этом неизлечимо ею напуганных. Годы войны он провел в эвакуации, в Ташкенте. На вечере, посвященном Мише, в Музее Ахматовой в Фонтанном доме его старшая сестра рассказывала об их жизни в эвакуации, о том, как однажды, придя в школу, Миша услышал, как ему сказали «жид», и, убежав домой, заявил, что больше в школу не пойдет, — и не ходил… Семейные ортодоксальность и страх лишь способствовали критическому восприятию окружающего мира лжи и жестокости, но не сделали Мишу безнадежным скептиком (и хрущевская «оттепель», и потом — пражская весна вселяли в него вполне радужные надежды).

В 1954-м по окончании филфака ЛГУ вместе с женой уехал журналистом сначала в Киргизию, затем в Чувашию и проработал там года четыре — пока не ушла в песок антисталинская волна, порожденная XX съездом. Он был прирожденный журналист — с легким даром четких формулировок и превосходным стилем, но критическое отношение к советской системе и отсутствие политического цинизма, необходимого, чтобы достичь положения в печати с его происхождением и талантом, закрыли для него дорогу в большую прессу.

Вернувшись в Питер, Миша работал в многотиражке «Красного треугольника», не придавая отныне службе душевного значения — просто для зарплаты, для семьи. Как и многие, он резко осуждал Хрущева за шараханья и антиинтеллигентскую направленность его политики в последние годы, но переворот 1964 года безошибочно оценил как победу сталинистов. Последствия этого переворота не замедлили сказаться, и в 1965 году Миша — среди первых ленинградцев — пережил обыск, допросы на Литейном, судебный процесс над друзьями, где он защищал их мужественно и безоглядно. Ему лично было поставлено в вину лишь «недонесение», но и этого хватило, чтобы он и его жена были исключены из КПСС. В те времена партийный билет заменялся только волчьим, и в силу тогдашнего негласного запрета на профессии с того дня работа в любых органах печати (на идеологическом фронте, как тогда выражались) была ему запрещена. Так прирожденный журналист, владевший легким и блестящим слогом, был выброшен на улицу и всю оставшуюся

жизнь прослужил экономистом в фабричном отделе труда (добрые люди не дали ему остаться без куска хлеба, но унылая эта служба была для него как бессрочное заключение).

Миша время от времени писал стихи, разумеется не печатая их (несколько стихотворений удалось опубликовать в питерской молодежной газете «Смена» уже посмертно, в перестройку). Эти стихи не предназначались им для печати — они писались для себя и со временем стали единственной отдушиной, спасавшей от, казалось бы, кромешной безысходности. Его стихотворный дневник читается как документ отошедшей эпохи, запечатлевший ее тогдашнее, неподцензурное восприятие, мысли и чувства, пережитые, надо думать, многими…

А в городе господствует весна,
И млеют легкие в предчувствье ледохода,
Уныло верховодит суета,
В контрасте с ней задумчива природа,
Жизнь продолжается, не ведая невроза,
Пушистым облачком взрывается мимоза,
И ясно, что бессмысленны слова,
Когда вот-вот появится трава,
Что истиннее фраз полуживых,
Где куча прегрешений против вкуса,
Где нет императива Иисуса
И даже боли, диктовавшей их,
И где хозяйствуют, приличия отбросив,
Отчаянье, безвыходность, Иосиф.

Русская поэзия давала Мише силы жить; его последней литературной любовью были стихи Иосифа Бродского — и те, что широко ходили в Питере до изгнания поэта, и те, что потом долетали до нас из Америки. Последнее, что Миша прочел, — «Письма династии Минь»; он все повторял сокрушенно:

Сила, жившая в теле, ушла на трение тени
О сухие колосья дикого ячменя…

Занятие «писать в стол» не соответствовало его натуре и не могло стать спасением. Неожиданно в конце 1960-х им овладело новое увлечение, связанное с любовью и к поэзии, и к фотоискусству: он начал собирать фотографии любимых поэтов Серебряного века (тогда это выражение еще не было в ходу) и снимать почитаемых им поэтов-современников. Так начало

складываться его впоследствии знаменитое собрание иконографии русских писателей XX века. За короткое время благодаря пылкому интересу и фанатичному труду у Миши собралась уникальная коллекция фотопортретов.

Тут следует сказать, что Миша не был коллекционером в традиционном смысле — его вовсе не привлекало стать монополистом («Эта фотография есть только у меня!»). Раздобыв новый и неизвестный снимок, он охотно печатал несколько его копий и с удовольствием дарил друзьям. Именно благодаря ему возник своего рода иконографический самиздат, которым неслучайно вскоре заинтересовались «органы» — инакомыслие не допускалось ни в чем.

Главными объектами собирательства стали изображения любимых Мишей и тогда мало, куце издаваемых поэтов нашего века — Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой… Он разыскивал их у друзей и знакомых, у родственников писателей, у старых фотографов (помню его знакомство с писателем и фотографом А. Л. Лессом и массу отпечатков, которые он охотно сделал, — не только Пастернака, Эренбурга, Твардовского, но и особо опасного тогда Солженицына). Мишино обаяние, юмор, эрудиция, тонкое знание литературы и абсолютное бессребреничество открывали перед ним все двери — не только частных домов, но даже некоторых государственных собраний, с которыми он легко делился своими находками. Однажды он позвонил мне из Москвы и сказал, что завтра будет у Любови Михайловны Эренбург переснимать фотографии несметного эренбурговского архива — не стоило труда уговорить его взять меня с собой, и, бросив все дела, я примчался в Москву. Мы целый день провели в волшебном доме недавно умершего Эренбурга… У С. А. Ермолинского он переснимал фотографии Булгакова, у В. Д. Авдеева и Л. В. Горнунга — Пастернака, у И. Н. Луниной — Ахматовой; ему всегда был открыт архив негативов у И. М. Наппельбаум… Миша и сам тогда много фотографировал. Известны его портреты Н. Я. Мандельштам, Б. Окуджавы, А. Кушнера, В. Сосноры…

Техническое качество его работ исключительно высоко — не один день я провел с ним в затемненной комнатке и видел, как он колдует, печатая снимки: ни одному профессионалу не достичь такого чуда в пересъемке (Мишины отпечатки подчас оказывались лучше оригиналов).

Советская литературная политика не соответствовала Мишиному вкусу — снимки из его собрания появлялись в советских изданиях крайне редко; спецслужбы интересовались его увлечением больше, чем литературные учреждения.

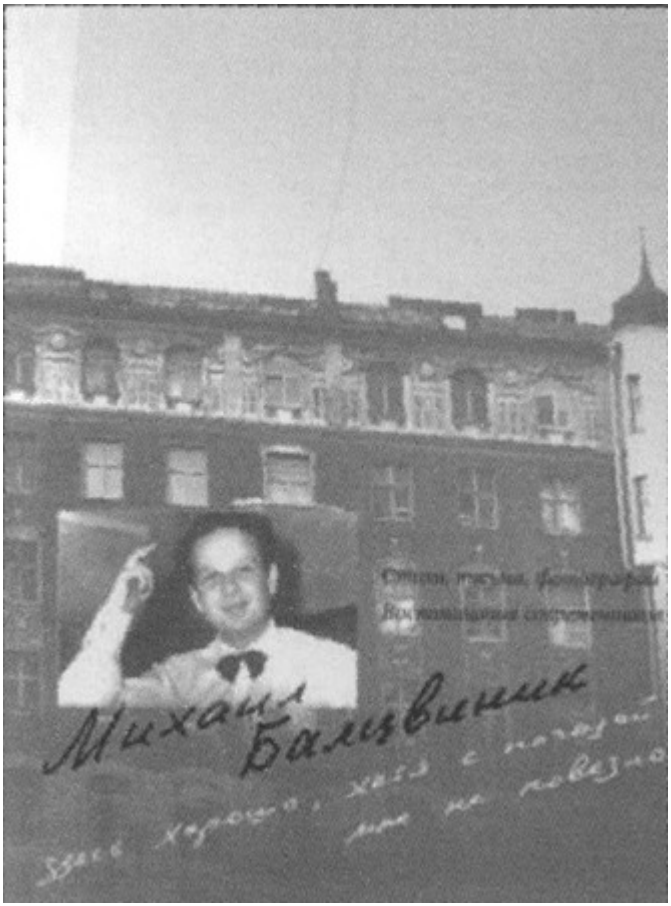
Американского издания альбома цветаевских фотографий из своего собрания Миша, увы, не дождался (его авторство в этом издании обозначено литерами МБ; он был лично знаком с издателем К. Проффером и о подготовке альбома знал). Были у него и другие проекты, связанные с «тамиздатом»…

Люблю я вечер. После десяти
Ты можешь быть собою до рассвета.
Глазком зеленым угол освети
И только рукоятку покрути —
Как будто клетки вроде бы и нету.
Земля, остановись! Не наступай
Холодное погибельное утро!
Пей чай или коньяк, стихи кропай,
Остановив будильник, засыпай,
И если навсегда, то это — мудро.

Жить Мише оставалось совсем немного; теперь известно, что продержаться надо было ровно пять лет, и все начнет меняться. Но тогда мы слабо верили в возможность реальных перемен, казалось, что империя несокрушима, а жизнь Миши и внешними, и трагическими личными обстоятельствами была измотана до предела. 14 апреля 1980 года он покончил с собой…

Благодарная память о Мише жива среди его многочисленных друзей. Еще не изданы его стихи, но замечательное собрание фотографий уже обрело новую жизнь. Было в советские годы в ходу такое клише: «Коллекция служит людям» (применялось оно чаще всего к маразматическим ленинианам, но все же не только к ним). В данном случае это клише работает всерьез — в 1999 году Музей Ахматовой смог приобрести собрание М. А. Балцвиника (после его смерти оно находилась у К. М. Азадовского), и две с половиной тысячи фотографий, составивших потрясающую иконографическую летопись нашей литературы от Блока до Бродского и материализующих страсть души, дар собирателя и мастерство фотографа, — начинают новую жизнь, служа нашей культуре.

М. А. Балцвиник



Обложка книги М. Балцвиника (Санкт-Петербург, 2006)

Он дышал воздухом истории (А. И. Добкин)

Что негодовать на тупую жестокость толпы или власти, если жестокость Природы им не уступает. После тяжелой болезни молодым, не достигшим и пятидесяти, умер питерский историк и литератор Александр Иосифович Добкин, один из создателей и редакторов свободных исторических альманахов современной России.

Александр Иосифович, как и многие в его поколении, несмотря на отчетливые гуманитарные интересы, получил серьезное естественно-научное образование; однако главным в его жизни стала история. Основательные исторические публикации, составление и редактирование исторических сборников и книг — вот материальные следы его работы; следы духовные, может быть, еще весомее. Об объеме этой работы можно судить уже по перечню его псевдонимов, напечатанном в 25-м «Минувшем».

В забытых теперь условиях тоталитарного режима, вопреки очевидным и неминуемым опасностям, со своими товарищами и единомышленниками он подпольно готовил исторические сборники «Память», чтобы делом противостоять традиционной государственной политике исторической лжи. С 1978 года эти сборники начали выходить по-русски за рубежом, а затем, в 1986-м, породили альманах «Минувшее», который вскоре начал издаваться в Питере и стал широко известен знатокам и любителям исторических штудий.

Редактор и публикатор «Минувшего», томов «Невского архива» и сборников «In memoriam», Александр Иосифович меньше всего был ловцом сенсаций. «Чтобы адекватно воспринять былое, — писал он, — нужно подышать его воздухом: узнать жизнь незнаменитых людей, вникнуть в подробности их быта, переболеть иллюзиями и страстями ушедших поколений. Иначе самые блестящие обобщения обесцениваются, а раскрепощенность в анализе прошлого не дает желаемого результата». Это из его предисловия к воспоминаниям Н. П. Анциферова, тщательно им подготовленных и обстоятельно прокомментированных.

Эти же качества отличали его и как редактора; обаяние, интеллигентность и доброжелательность не мешали ему быть абсолютно твердым там, где речь шла о вещах принципиальных.

Это горькая потеря для нашей исторической литературы; про потерю друзей и близких так просто не скажешь.

С А. И. Добкиным я познакомился довольно поздно. В 1994

году мне позвонил незнакомый человек и, сославшись на знакомого мне московского историка и литератора Д. И. Зубарева, предложил сотрудничать в историческом альманахе «Минувшее». Это был А. И. Добкин. Альманах я знал, а его — нет. Так началось личное знакомство. Внешне, за вычетом подтянутости и роста, А.И. напоминал некоего классического предреволюционных лет интеллигентного столичного редактора-еврея; его поседевшие длинные волосы и большие усы тоже с сединой, его мягкая сдержанность мешали правильно определить возраст — он казался старше своих лет. Уже потом я имел возможность видеть, как его пылкость и нежность открыто проявлялись в отношениях с друзьями, но поначалу это никак не было мною в нем угадано (как и неофициальная и очень гостеприимная обстановка в редакции, открытая своим, — чаепития и проч.).

Летом 1996 года выяснилось, что у нас есть общий и давний знакомый, уже долгое время живший далеко от Питера; именно этот сюжет связал нас некими оставленными им поручениями безотносительно к делам историко-литературным. Попутно возобновились и литдела — я пообещал сделать для альманаха публикацию по итогам двухлетних киевских штудий. Вот с этой поры встречи и отношения с А. И. Добкиным приобрели характер не официальный, а личный. В 1997-м мы подружились, перешли на «ты», и хотя встречались не часто, но зато подолгу — в Питере у меня, и в Москве у Саши. Всё лето я неожиданно был прикован к дому костылями, и Саша меня несколько раз навещал — с неизменной снедью и последующими застольями. В Москве мы однажды оказались одновременно, и я был его гостем в квартире, где он останавливался и, к моему удивлению, весьма умело вел хозяйство — очень аппетитно тушил в лотке говядину с овощами. Каждое из этих многочасовых застолий с ним вдвоем я подробно помню.

Немало чего нас должно было объединять — хотя бы Ленинградский университет (он в свое время учился на химфаке, а я — на физфаке), отношение к советскому режиму, интерес к истории, политике и литературе, вообще — гуманитарные устремления (у него они очень быстро взяли верх над полученной специальностью, у меня долгие годы сочетались с нею). Меня удивило, что он принял православие — не только в душе, но и на церковном, обрядовом уровне, и однажды я прямо спросил его об этом: зачем? (Признаться, ни тогда, ни потом я не верил в церковную веру, если речь не шла о людях темных, больных и убитых страданиями и страхом смерти; для людей же образованных я понимаю естественное приятие моральных норм

христианства, но не веры в «чудеса», включая воскрешение.) Его ответ был предельно искренним и к вере не относящимся, и я его принял: этот сюжет больше никогда не обсуждался.

Поразительно, что мы не сошлись в другом, еще недавно мне показалось бы — в главном. Выяснилось: ему были далеки мои литературные интересы, как и, в меньшей, правда, мере, мне — его. Еще до того, как я это понял, очарованный дружеским общением (мы свободно обсуждали наши личные обстоятельства, он — проблемы своего дома, причем, что до меня, то, будучи по этой части человеком закрытым, я едва ли не впервые испытывал легкое и полное доверие к собеседнику), так вот в таком, разнеженном состоянии я подарил ему вышедший в 1990-м с моими комментариями трехтомник эренбурговских воспоминаний (высшая награда, правом вручения которой я обладал; текст книги «Люди, годы, жизнь» впервые был восстановлен по рукописям и напечатан без цензурных изъятий, а примечания содержали массу неизвестных прежде документов и дополнений к основному тексту, всем этим я, понятно, гордился). Через какое-то время Саша прямо и даже как-то жестко сказал мне, что начал перечитывать Эренбурга и бросил: «Не могу всей этой неправды…» Странным образом я не обиделся, но и переубеждать его не стал (то обстоятельство, что Эренбург писал книгу не «в стол», а стало быть, не имел возможности сказать всей правды, было очевидно, но и сверх того — мемуары, на мой взгляд, отличает немало исключительных достоинств, и уже одно только то, что всё поколение шестидесятников выросло на этой книге, — неоспоримый аргумент в потенциально возможном споре). Я понимал, что не только возрастной разрыв (сталинской эпохи он фактически не зацепил), но прежде всего годы работы над историческими свидетельствами незнаменитых людей, свидетельствами, оставленными для далеких потомков, расположили его к совсем иным, нежели эренбурговский текст, мемуарам. Это стало твердой позицией, со всей определенностью высказанной им в уже цитированном предисловии к книге Н. П. Анциферова «Из дум о былом». Этот том (главная работа Саши) был мне, к слову сказать, подарен, как бы в ответ, с тронувшей меня надписью: «Милому Борису Фрезинскому с любовью в память об одной из *последних* встреч. 11.08.97 г. А. Добкин» (слово «последних» меня, помню, озадачило и даже насторожило — я, понятно, не знал того, что знал или предчувствовал он — а жить ему оставалось год).

Книгу Анциферова я прочел не целиком, а лишь выбирая в ней заинтересовавшие меня куски… Я с самого раннего детства интересовался историей именно XX века, свидетели которой

окружали меня всюду. То, что Саша называл жизнью незнаменитых людей и воздухом времени, так уж сложилось, я впитывал с малолетства из рассказов в ответ на свои прилипчивые расспросы и матери, и дядьев, и всех немолодых знакомых нашего дома, переживших события века (некоторые помнили еще и русско-японскую войну)… Поэтому на бытовом уровне воздух первых четырех десятилетий века, прошедших без меня, мне не надо было потом выуживать из воспоминаний и документов, и мой, уже рабочий, интерес к людям известным и знаменитым не противоречил Сашиной программе, хотя в нее и не укладывался…

Саша Добкин был одновременно и мягкий, и жесткий редактор. О том, что считал несущественным, не спорил, позволял автору высказываться, как угодно. Но там, где разговор касался вещей и высказываний, для него серьезных, при несогласии произносил: «Ну, уж нет», и спорить было бесполезно.

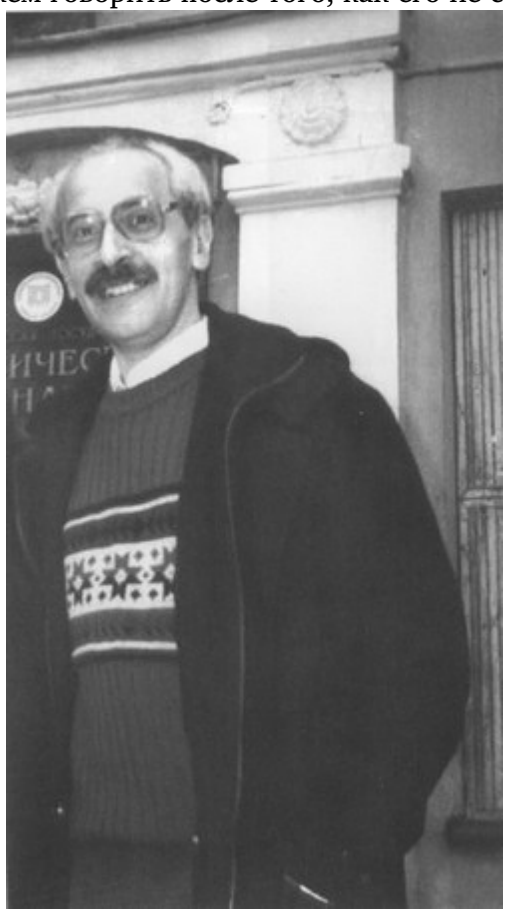
У него не было обостренных авторских амбиций. Думаю, он многим авторам альманаха помогал в работе; во всяком случае, знаю, что, когда сильно задержалось поступление одного объемного материала и это срывало выпуск очередного номера альманаха, Саша поехал в Москву к автору, сел с ним за стол и начал работу — материал, разумеется, был напечатан без упоминания о его участии; наверное, таких примеров в его жизни немало…

Поначалу в общении нам помогала ирония, которая не всегда только дешевый способ казаться умным, как утверждал Шкловский; потом обходились без нее. Однажды Саша заговорил о предстоящем закрытии альманаха и на мой глупый вопрос: что же ты будешь делать? — без маломальского энтузиазма ответил: придется возвращаться в школу — преподавать химию. Мне показалось, что это невозможно… Альманах закрылся, когда Саши уже не было в живых…

Его нестандартная смесь мягкости и жесткости проявлялась и в отношении к давним друзьям. Бывало, резко высказываясь о тех или иных их поступках, линии поведения, он не имел силы, а может быть, и желания, ставить точки над i. Иногда пылкость его натуры проявлялась до того, как он успевал остыть. Как-то он сказал мне, что на одну из прежних моих статей в «Невском времени» откликнулся письмом протеста в редакцию — написал его, но не перепечатал, не отправил, а на мои расспросы о подробностях — отдал черновик… Повторюсь: это был единственный в моей жизни случай идеологических и подчас этических разногласий, не мешавших дружбе…

Когда Саша свалился, я не сразу понял безнадежную силу

опасности. Мне он не говорил о ней. Когда стало хуже, все равно выражал оптимизм. С его слов я знаю, как много делал для его лечения издатель «Минувшего» Владимир Аллой. После тяжелых процедур Саша вернулся домой — это было в мае 1998 года. Он выглядел неплохо, пополнел, но не мог долго сидеть в одной позе из-за болей, пока я нес какую-то ерунду об Испании, откуда только что вернулся; он даже пошел меня проводить на Сенную, к метро — шли мы не быстро, но и не так, как ходят с тяжело больными… На мои комплименты его виду улыбнулся и согласился: правда, и аппетит появился, и вообще лучше. Вскоре я узнал о резком ухудшении его состояния и только по телефону еще слышал его голос. Мужество, с которым он переносил нечеловеческие мучения, достойно того, чтобы снять шапку… О многом и, может быть, о весьма существенном в жизни — мне, пожалуй, не с кем говорить после того, как его не стало.



А. И. Добкин

Аннотированный именной указатель

Абакумов Виктор Семенович
(1908–1954, расстрелян) — министр государственной безопасности СССР; за руководство убийством С. М. Михоэлса награжден орденом Красного Знамени 17–19, 249

Абенсур Жерар
французский славист 312

Авдеев Валерий Дмитриевич
геронтолог, знакомый Б. Л. Пастернака 406

Агранов Яков Саулович
(Сорендзон; 1893–1939, расстрелян) — первый заместитель наркома внутренних дел 104

Аграновский Анатолий Абрамович
(1922–1984) — публицист, прозаик, кинодраматург 382

Адамович Георгий Викторович
(1892–1972) — поэт, критик, с 1923 г. в эмиграции 163, 295

Адамович Александр (Алесь) Михайлович
(1927–1994) — белорусский писатель, публицист, сценарист, литературовед 382, 384

Адорно Теодор Людвиг Визенгрунд
(1903–1969) — немецкий философ, критик, социолог леворадикальной ориентации 373

Азадовский Константин Маркович
(р. 1941) — историк литературы 408

Айхенвальд Юлий Исаевич
(1872–1928, выслан, умер за границей) — критик 393

Аксенов (Оксенов) Иннокентий Александрович
(1897–1942) — поэт, критик, переводчик 201, 205, 210

Акимов Николай Павлович
(1901–1968) — театральный режиссер и художник 8, 188, 191

Алданов Марк Александрович
(Ландау; 1886–1957) — писатель, с 1919 г. в эмиграции 182

Алешковский Иосиф (Юз) Ефимович
(р. 1929) — писатель, поэт и бард; эмигрировал в США в 1979 г. 257

Аллой Владимир Ефимович
(1945–2001, покончил с собой) — издатель, создатель исторических альманахов «Минувшее» и «Диаспора», мемуарист 416

Альтман Александр
(1885–1950) — художник; работал в Париже 51

Альтман Иоганн Львович
(1900–1955) — критик, журналист 252

Альтман Натан Исаевич
(1889–1970) — художник 47–62, 66–70, 197

Андерсен Ханс Кристиан
(1805–1875) — датский сказочник 186

Андреев Вадим Леонидович
(1903–1978) — поэт, прозаик, мемуарист, сын Л. Н. Андреева 295, 313, 314, 316, 317, 318, 320–323, 359

Андреев Леонид Николаевич
(1871–1919) — писатель 181, 295, 316

Андроникова Саломея Николаевна
(Гальперн; 1888–1982) — адресат стихов и писем Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама 301-303

Анненков Юрий Павлович
(1889–1974) — художник, в эмиграции с 1924 г. 54–57, 69, 141

Анненский Иннокентий Федорович
(1855–1909) — поэт 181, 211

Антонов Александр Степанович
(1888–1922, убит при аресте) — эсер, руководитель

крестьянского восстания в Тамбовской губ. в 1920–1921 гг. 200

Анциферов Николай Павлович
(1889–1958) — историк, краевед, литературовед 410, 413, 414

Аполлинер Гийом
(Аполлинарий Костровицкий; 1880–1918) — французский поэт 49, 74

Арагон Луи
(1897–1982) — французский поэт, прозаик, эссеист, член ФКП 125, 183

Арончик Юдифь Самойловна
(1908–1993) — актриса Белорусского еврейского театра, заслуженная артистка БССР 31, 32

Архипенко Александр Порфирьевич
(1887–1964) — скульптор, жил и работал в Париже 50

Асадов Эдуард Аркадьевич
(1923–2004) — поэт, участник Великой Отечественной войны 47

Асеев Николай Николаевич
(1889–1963) — поэт 182, 205

Аскольдов Александр Яковлевич
(р. 1935) — кинорежиссер 245

Астров Вл.
автор статьи «Борьба за новую литературу» 341

Астье де ла Вижери д'Эммануэль
(1900–1969) — французский литератор и политический деятель 74

Ауэрбах Бертольд
(1812–1882) — немецкий писатель 362

Афиногенов Александр Николаевич
(1904–1941, погиб) — драматург 241

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

(1889–1966) — поэт 8, 26, 48, 53, 132, 148, 181, 211, 224, 237, 277, 279, 293, 294, 322, 378, 385, 390, 393, 402, 405, 406, 408

Бабель Исаак Эммануилович
(1894–1940, расстрелян) — писатель 169, 181, 220, 240, 242, 304, 313, 328, 334, 335, 337,378, 390

Бакланов Григорий Яковлевич
(Фридман; р. 1928) — писатель 99, 381, 384

Балтер Борис Исаакович
(1919–1974) — писатель 382

Балцвиник Михаил Абрамович
(1931–1980) — журналист, фотограф 402-408

Бальмонт Константин Дмитриевич
(1867–1942) — поэт 211

Барашко Илларион Матвеевич
(1905–1968) — белорусский писатель 31

Барбюс Анри
(1873–1935) — французский писатель 68, 69, 233

Барт Виктор Сергеевич
(1887–1954) — художник; в 1919–1936 гг. работал в Париже, в 1936 г. вернулся в Москву 68

Басалаев Иннокентий Мемнонович
(1897–1964) — литератор, мемуарист 224

Батюшков Константин Николаевич
(1787–1855) — поэт 393

Бахман Ингебор
(1926–1973) — австрийская писательница 373

Бедный Демьян
(Придворов Ефим Алексеевич; 1883–1945) — пролетарский поэт, большевик 182, 396

Безыменский Александр Ильич
(1898–1973) — поэт 47

Белинков Аркадий Викторович
(1921–1970) — писатель, эмигрировал в 1968 г. 240, 247, 394

Белый Андрей
(Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) — поэт, прозаик, антропософ 138, 179, 316, 317

Белль Генрих
(1917–1985) — немецкий писатель, лауреат нобелевской премии 373

Бёме Эрих
(1879–1945, погиб) — профессор, специалист по русской литературе, соредактор журнала «Russische Rundschau» 328, 329, 332, 334, 335, 346, 347

Бенедиктов Владимир Григорьевич
(1807–1873) — поэт 47

Бенуа Александр Николаевич
(1870–1960) — художник, в эмиграции с 1920-х гг. 52

Берберова Нина Николаевна
(1901–1993) — писательница, мемуаристка 227

Берггольц Ольга Федоровна
(1910–1975) — поэтесса 191

Бергельсон Давид Рафаилович
(1884–1952, расстрелян) — еврейский писатель 250

Берия Лаврентий Павлович
(1899–1953, расстрелян) — член сталинского Политбюро, министр внутренних дел и государственной безопасности СССР 14, 15, 17, 42, 89, 104, 253, 399

Бианки Виталий Валентинович
(1894–1959) — детский писатель 190

Билье Жозеф
владелец галереи в Париже 67

Блок Александр Александрович

(1880–1921) — поэт 55, 159, 160, 164, 166, 176, 181, 283, 285, 287–291, 334, 335, 393, 408

Блок Жан Ришар
(1884–1947) — французский писатель, член коммунистической партии Франции 183

Блюмкин Яков Григорьевич
(1898–1929, расстрелян) — левый эсер, сотрудник ВЧК, ГПУ 57

Бобров Сергей Павлович
(1889–1971) — писатель; использовал псевдоним Э. П. Бик 201, 203–205, 209, 210, 226

Богомолов Владимир Осипович
(1926–2003) — писатель 384

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович
(Ян Игнацы Нечислав; 1845–1929) — русский и польский лингвист 116

Большинцова Любовь Давыдовна
(урожд. Файнберг; 1907–1983) — жена В. О. Стенича 132

Боннер Елена Георгиевна
(р. 1923) — правозащитница, жена А. Д. Сахарова 243

Бородаевский Валериан Валерианович
(1874–1923) — поэт 211

Борщаговский Александр Михайлович
(1913–2006) — писатель 21, 35–37, 40

Брак Жорж
(1882–1963) — художник, один из основателей кубизма 50

Браун Максимилиан
(1903–1984) — немецкий славист, родившийся в Петербурге, профессор Геттингенского университета 341

Брентано Клеменс
(1778–1842) — немецкий писатель-романтик 206–208, 210

Брехт Бертольт
(1898–1956) — немецкий поэт и драматург 351, 373

Брик Лиля Юрьевна
(урожд. Каган; 1891–1978, покончила самоубийством) — художница, литератор, близкий друг В. В. Маяковского 125

Бродский Иосиф Александрович
(1940–1996) — поэт, лауреат Нобелевской премии 47, 277, 404, 408

Бродский
химик, муж Л. М. Сегаль 290

Броневский Владислав
(1897–1962) — польский поэт 374

Бруни Лев Александрович
(1894–1948) — художник 54

Брюсов Валерий Яковлевич
(1873–1924) — поэт 181, 200, 206, 209, 214, 216

Бубеннов Михаил Семенович
(1909–1983) — писатель 247, 249–251, 256

Буданцев Сергей Федорович
(1896–1938, расстрелян) — писатель 331, 340

Булгаков Михаил Афанасьевич
(1891–1940) — писатель 81, 137, 182, 240, 378, 406

Бунин Иван Алексеевич
(1870–1953) — писатель, лауреат Нобелевской премии 138, 181

Бурлюки, братья:
Давид Давидович (1882–1967) — поэт и художник;
Владимир Давидович (1886–1917) — художник;
Николай Давидович (1890–1920) — поэт, прозаик 52

Бутовский Яков Леонидович
(р. 1927) — киновед 196

Бухарин Николай Иванович
(1888–1938, расстрелян) — член Политбюро в 1920-е гг., лидер правой оппозиции, академик 8, 71, 94, 96-100, 102, 103, 105-111

Буше Альфред
(1850–1934) — французский живописец и скульптор, приобретший в Париже здание, ставшее известным под именем «Ля рюш» 49

Быков Василь Владимирович
(1924–2003) — белорусский писатель 381, 384, 385

Вагнер Рихард
(1813–1883) — немецкий композитор 372

Вайль Курт
(1900–1950) — немецкий композитор 372

Ваксберг Аркадий Иосифович
(р. 1933) — литератор 31, 36, 40

Валленберг Рауль
(1912–1947? убит на Лубянке) — шведский дипломат-антифашист, спасавший евреев в Будапеште и арестованный там СМЕРШем 273

Вальтер Рейнгольд фон
(1882–1965) — переводчик русской литературы на немецкий язык 335

Вассерман Якоб
(1873–1934) — немецкий писатель 343

Васильева Мария Михайловна
(1884–1957) — художница, организатор русской академии в Париже 50

Венгеров Семен Афанасьевич
(1855–1920) — историк литературы, критик, библиограф 144

Венгерова Зинаида Афанасьевна
(1867–1941) — историк западноевропейской литературы, переводчица, с 1921 г. жила в Берлине, сохраняя советский

паспорт 345

Венус Георгий Давыдович
(1897–1939, умер в лагере) — писатель 314, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 359

Вересаев Викентий Викентьевич
(1867–1945) — писатель, врач по профессии 308

Верно Жанина
французский художественный критик 50

Виардо Луи
(1800–1883) — французский писатель, журналист, критик, муж Полины Виардо 308

Вийон Франсуа
(1431—?) — французский поэт 350

Винокур Григорий Осипович
(1896–1947) — языковед, литературовед 124

Вламинк Морис де
(1876–1958) — французский художник 50

Вовси-Михоэлс Наталья Соломоновна
(р. 1922) — дочь С. М. Михоэлса 20, 21, 28, 42

Вожель Люсьен
(1886–1954) — французский издатель 306, 311

Вознесенский Андрей Андреевич
(р. 1933) — поэт 174,388

Войнович Владимир Николаевич
(р. 1932) — писатель 243, 394

Воловик Лазарь
(1902–1977) — художник, с 1921 г. — в эмиграции, жил и работал в Париже 57, 58

Волошин Максимилиан Александрович
(1877–1932) — поэт, критик, художник 8, 230

Вольф Фридрих
(1888–1953) — немецкий драматург, жил в Москве 373

Воронель Александр Владимирович
(р. 1932) — публицист, с 1970-х гг. живет в Израиле 394

Воронский Александр Константинович
(1884–1937, расстрелян) — критик, редактор, издатель 147, 167, 332, 333, 387

Вышинский Андрей Януарьевич
(1883–1955) — бывший меньшевик; прокурор СССР в годы террора, министр иностранных дел СССР, постоянный представитель СССР при ООН 86, 377

Габрилович Евгений Иосифович
(1899–1993) — кинодраматург 201, 202, 204–207, 210, 211, 216

Галич Александр Аркадьевич
(Гинзбург; 1918–1977) — драматург, поэт, бард 385

Галлай Марк Лазаревич
(1914–1998) — летчик-испытатель, доктор технических наук, писатель 382

Галушкин Александр Юрьевич
(р. 1960) — историк литературы 121

Гандельсман Владимир Аркадьевич
(р. 1948) — поэт 279

Гейзер Матвей Моисеевич
(р. 1940) — литератор, журналист, педагог, автор книг о еврейской культуре и судьбе русского еврейства 36

Гейм Георг
(1887–1912) — немецкий поэт и прозаик, экспрессионист 206

Гёльдерлин Фридрих
(1770–1843) — немецкий поэт-романтик 362

Герасимов Александр Михайлович
(1881–1963) — художник, президент академии художеств

Герман Юрий Павлович
(1910–1967) — писатель 187, 191

Герштейн Эмма Григорьевна
(1903–2002) — литературовед и мемуаристка 221, 223, 288

Гиль Рене
(1862–1925) — французский поэт 308

Гильен Николас
(1902–1989) — кубинский поэт 237

Гинзбург Лидия Яковлевна
(1902–1990) — литературовед 133

Гитлер Адольф
(Шикльгрубер; 1889–1945, покончил с собой) — фюрер Германии, военный преступник 72, 88–90, 246, 263, 309, 310, 372, 375

Глазунов Илья Сергеевич
(р. 1930) — художник 47

Глуховский Семен
(Самуил Давидович) — белорусский писатель 21, 22, 35–37, 44

Глущенко Николай Петрович
(1901–1977) — художник 69

Гнедин Евгений Александрович
(Парвус; псевдоним Е. Четвергов; 1898–1983) — публицист, зав. отделом печати Наркоминдела, в 1939 г. арестован и осужден 97, 104

Годис Якоб Ван (Ганс Давидсон)
(1887–1942, умер в концлагере) — немецкий поэт-экспрессионист 206

Головащенко Юрий Александрович
(1910—после 1975) — театровед 12

Голубов-Потапов Владимир Ильич
(1908–1948) — театровед, театральный критик, заместитель редактора журнала «Театр» 13, 17, 19

Гольдштейн (Гольстейн или Гольштейн) Александра Васильевна
(псевдоним А. Баулер; 1849–1937) — литератор, переводчица русской литературы на французский язык 308

Гончарова Наталия Сергеевна
(1881–1962) — художница, жена М. Ф. Ларионова. 67

Горбачев Михаил Сергеевич
(р. 1931) — первый и последний президент СССР 95, 97

Горенштейн Фридрих Наумович
(1932–2002) — прозаик, сценарист 384, 386

Горнунг Лев Владимирович
(1902–1983) — поэт, переводчик, фотограф 406

Горький Максим
(Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) — писатель 120–123, 126, 127, 140, 144–148, 151. 152, 179–181, 245, 265, 327, 329, 333–336, 340–342, 387, 396

Гофман Эрнст Теодор Амадей
(1776–1822) — немецкий писатель 139, 152

Гофштейн Давид Наумович
(1889–1952, расстрелян) — еврейский поэт 250

Гранин Даниил Александрович
(Герман; р. 1919) — писатель 384

Грановский Алексей Михайлович
(Абрахам Азарх; 1880–1937) — основатель и режиссер еврейской театральной студии в Петербурге, а затем Еврейского театра в Москве; с конца 1920-х — в эмиграции 55, 56

Грасс Гюнтер
(р. 1927) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии 368

Грёгер Вольфганг
(1882–1950) — немецкий поэт и переводчик русской поэзии и прозы 341, 366

Громыко Андрей Андреевич
(1909–1989) — министр иностранных дел СССР в 1957–1985 гг. 85, 86

Гросс Георг
(1893–1959) — немецкий живописец и график 69

Гроссман Василий Семенович
(1905–1964) — писатель 243–257, 273, 381, 384, 389, 399

Груздев Илья Александрович
(1892–1960) — критик, Серапионов брат 119, 121, 123, 144, 169, 333

Гудзенко Семен Петрович
(1922–1953) — поэт 258–262, 384

Гуль Роман Борисович
(1896–1986) — писатель, критик, с 1920-х гг. в эмиграции 321, 322

Гумилев Николай Степанович
(1886–1921, расстрелян) — поэт 53, 159, 160, 177, 211, 390

Гурвич Э.
автор статьи «К психологии немецкого и русского искусства» 340

Даладье Эдуард
(1884–1970) — французский государственный деятель, премьер-министр Франции в 1933–1934 и в 1938–1940 гг. 310, 311

Дановский Лев
(Лев Абрамович Айзенштадт; 1947–2004) — поэт 276-279

Данте Алигьери
(1265–1321) — итальянский поэт 225

Дар Давид Яковлевич

(Рывкин; 1910–1980) — писатель, муж В. Ф. Пановой 190

Дега Ирина Петровна
(Рачек, затем Животовская) — вторая жена Н. И. Альтмана 56

Дейнека Александр Александрович
(1899–1969) — художник 69

Деникин Антон Иванович
(1872–1947) — генерал, один из организаторов белой армии 316

Дерен Андре
(1880–1954) — французский художник 50, 69

Десанти Доминик
(р. 1921) — французская писательница 199

Десницкий Василий Алексеевич
(1878–1958) — литературовед 308

Дехтерева Феодосия Семеновна
жительница Лиозно, внесенная в Книгу Праведников в Иерусалиме 400

Джакометти Альберто
(1901–1966) — швейцарский скульптор, живописец 187

Дзержинский Феликс Эдмундович
(1877–1927) — первый председатель ВЧК 57

Добкин Александр Иосифович
(1950–1998) — историк, редактор исторических альманахов 409-416

Добролюбов Александр Михайлович
(1876–1945) — поэт 139, 211

Довженко Александр Петрович
(1894–1956) — украинский кинорежиссер, сценарист, писатель 60

Довлатов Сергей Донатович
(1941–1990) — писатель, с 1978 г. жил в США 393

Достоевский Федор Михайлович
(1821–1881) — ПИСАТЕЛЬ 138, 232, 329, 335

Дымшиц Александр Львович
(1910–1975) — критик, редактор 388

Дю Белле Жоашен
(1522–1560) — французский поэт 65

Дюма Александр
(1802–1870) — французский писатель 139

Дюрренматт Фридрих
(1921–1990) — швейцарский писатель 373

Дюфи Рауль
(1877–1953) — французский художник 69

Евтушенко Евгений Александрович
(р. 1933) — поэт 98,174,388

Ежов Николай Иванович
(1895–1940, расстрелян) — нарком внутренних дел в пик массовых репрессий 1936–1938 гг., член сталинского Политбюро 104

Ермолинский Сергей Александрович
(1900–1984) — литератор, сценарист, драматург, мемуарист 406

Есенин Сергей Александрович
(1895–1925, покончил самоубийством) — поэт 181, 291, 295, 317, 319, 324, 334, 335, 390

Жакоб Макс
(1876–1944) — французский поэт 49

Жданов Андрей Александрович
(1896–1948) — соратник Сталина, член Политбюро 89, 152

Жид Андре
(1869–1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии 308

Жорж Вольдемар
(Жорж Яросинский; 1893–1970) — французский художественный критик 58

Заболоцкий Николай Алексеевич
(1903–1958) — поэт 60, 187,192

Заболоцкая Екатерина Васильевна
(урожд. Клыкова; 1906-?) — жена Н. А. Заболоцкого 192

Завадский Юрий Александрович
(1894–1977) — театральный режиссер 193

Зак Леон
(1892–1980) — владелец галереи в Париже 56

Замятин Евгений Иванович
(1884–1937) — прозаик, драматург; с 1931 г. в эмиграции 8, 138, 142, 144, 181, 313, 325, 334, 337, 347–349,

Збарский Борис Ильич
(1885–1954) — биохимик, академик АМН, бальзамировал тело Ленина 15

Зегерс Анна
(1900–1983) — немецкая писательница 373

Землячка Розалия Самойловна
(урожд. Залкинд; 1876–1947) — деятель большевистской партии, член РСДРП с 1896 г.; в 1926–1933 гг. одна из руководительниц Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, с 1934 г. член Комиссии советского контроля 156

Зильбер Лев Александрович
(1894–1966) — микробиолог и иммунолог, один из создателей вирусной теории рака; брат В. А. Каверина 150

Зиновьев Григорий Евсеевич
(Овсей-Герш Аронович Радомысльский; 1883–1936, расстрелян) — деятель большевистской партии, глава Коминтерна, член Политбюро до 1926 г., ближайший сподвижник Ленина 146, 156, 157

Зощенко Михаил Михайлович
(1894–1958) — писатель, Серапионов брат 8, 120, 122, 129, 132, 145, 148, 171, 173, 181, 184, 192, 240, 334, 336, 337, 390

Зубарев Дмитрий Исаевич
(р. 1946) — историк 410

Зускин Вениамин Львович
(1899–1952, расстрелян) — актер еврейского театра в Москве, деятель Еврейского антифашистского комитета 250

Иванов Александр Александрович
(1936–1996) — поэт-пародист 388

Иванов Антон Давидович
(р. 1950) — внук Вс. Иванова 132

Иванов Всеволод Вячеславович
(1895–1963) — писатель, Серапионов брат 8, 29, 122, 130, 132, 139,
172, 181, 184, 326, 340, 399, 400

Иванов Вячеслав Иванович
(1866–1949) — поэт 181, 201

Иванов Георгий Владимирович
(1894–1958) — поэт, с 1920-х гг. в эмиграции 162, 317

Ивнев Рюрик
(Михаил Александрович Ковалев; 1891–1981) — поэт 291, 295, 340, 344

Игнатьев Сергей Дмитриевич
(1904–1983) — министр госбезопасности в 1951–1953 гг., секретарь ЦК КПСС 250

Издебский Владимир Алексеевич
(1882–1965) — скульптор, после 1917 г. в эмиграции 51

Икрамов Акмаль Икрамович
(1898–1938, расстрелян) — в 1925–1937 гг. первый секретарь ЦК компартии Узбекистана 98

Икрамов Камил Акмалевич

(1927–1989) — писатель, сын А. Икрамова 98

Ильф Илья Арнольдович
(Иехиель Файнзильберг; 1897–1937) — писатель 238-242

Иовчук Михаил Трифонович
(1908–1990) — большевистский философ, партийный работник; секретарь ЦК КП(б) Белоруссии в 1948 г. 32

Иоффе Анатолий Яковлевич
книжник, собиратель 314

Ирецкий Виктор Яковлевич
(Гликман; 1882–1936) — прозаик, журналист; в 1922 г. выслан из РСФСР 290

Искандер Фазиль Абдулович
(р. 1929) — писатель 394

Исмагулова Т. Д.
литературовед 348

Иссерсон
врач, лечивший И. А. Ильфа 239

Йонайтис Генрикас
(1913–1993) — литовский преподаватель, праведник мира 272

Каверин Вениамин Александрович
(Зильбер; 1903–1989) — писатель, Серапионов брат 75, 118, 119, 122, 126, 132, 136, 145, 148–154, 169, 170, 174, 175, 181, 184, 235

Каверины
В. А. Каверин и Л. Н. Тынянова 75

Каган Евгения Григорьевна
(1883–1965) — сестра И.Г. Эренбурга 75

Кадочников Павел Петрович
(1915–1988) — киноактер 191

Каду Рене

(1920–1951) — французский поэт 230

Казин Василий Васильевич
(1898–1981) — поэт 324,325

Кайслер Фридрих
(1874–1945) — немецкий актер и режиссер 344

Каледин Алексей Максимович
(1861–1918, покончил с собой) — генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска 321

Каменев Лев Борисович
(Розенфельд; 1883–1936, расстрелян) — деятель большевистской партии, ближайший сподвижник Ленина, председатель Моссовета, член Политбюро до 1926 г. 109, 110, 151, 156, 157

Камо Симон Аршакович
(Тер-Петросян; 1882–1922, погиб) — кавказский революционер-подпольщик, большевик, организатор операций по ограблениям в пользу партийной кассы 86

Кампесино
(Валентино Гонсалес; 1904–1983) — один из военных руководителей Испанской республики 236

Канегиссер Леонид Иоакимович
(1896–1918, расстрелян за убийство М. С. Урицкого) — поэт 295

Кандинский Василий Васильевич
(1866–1944) — художник, работал главным образом в Германии 54

Канетти Элиас
(1905–1994) — австрийский романист, драматург, эссеист; лауреат Нобелевской премии 373

Канович Григорий
(Яков Семенович; р. 1929) — русский и литовский писатель, живет в Израиле 401

Кант Иммануил

(1724–1804) — родоначальник немецкой классической философии 208, 209

Караваева Анна Александровна
(1893–1979) — писательница 70

Катаев Валентин Петрович
(1897–1986) — писатель 239

Кафка Франц
(1883–1924) — австрийский писатель 25, 26, 79, 80–82, 373

Квитко Лев Моисеевич
(1890–1952, расстрелян) — еврейский детский поэт 250

Кент Рокуэлл
(1882–1971) — американский живописец и график 69

Кестлер Артур
(1905–1983) — английский писатель и философ 105

Кестнер Эрих
(1899–1974) — немецкий поэт 373

Кетлинская Вера Казимировна
(1906–1976) — писательница 191

Кибрик Евгений Адольфович
(1906–1978) — график и живописец 69

Киплинг Редьярд
(1865–1936) — английский писатель, лауреат Нобелевской премии 170, 218, 261

Кириковы Матвей и Федор
петербургские домовладельцы 53

Кириленко Ксения Николаевна
литературовед, архивист 190

Киршон Владимир Михайлович
(1902–1938, расстрелян) — драматург 241

Клабунд

(Альфред Геншке; 1891–1928) — немецкий драматург 350–358

Клейст Генрих фон
(1777–1811) — немецкий писатель 208, 211

Клепинин Николай Андреевич
(1899–1941, расстрелян) — агент НКВД, завербованный во Франции 295

Клепинина Нина (Антонина) Николаевна
(урожд. Аносова, по первому мужу Сеземан; 1894–1941, расстреляна) — жена Н. А. Клепинина 297, 298

Ключевский Василий Осипович
(1841–1911) — историк 335

Кнут Довид
(Давид Миронович Фиксман; 1900–1955) — поэт, с 1920 г. — в эмиграции 322

Коган Павел Давыдович
(1918–1942, погиб) — поэт 258

Коган Петр Семенович
(1872–1932) — критик, литературовед, профессор 322, 333

Коган
командир полка 1-й гвардейской дивизии 246

Кожевников Вадим Михайлович
(1909–1984) — писатель, редактор 254

Козинцев Григорий Михайлович
(1905–1973) — кинорежиссер 61, 62, 187, 191, 194-198

Козинцева Валентина Георгиевна
(р. 1914) — жена Г. М. Козинцева 194

Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна
(1899/1900-1970) — художница, жена И. Г. Эренбурга, сестра Г. М. Козинцева 57, 67, 71, 75, 78, 231, 299, 303, 306, 308, 310

Колесов Лев Константинович

(1910-?) — актер Театра комедии 191

Кольцов Михаил Ефимович
(Фридлянд; 1898–1940, расстрелян) — журналист, член редколлегии «Правды», редактор 130, 238

Комаровский Василий Алексеевич
(1881–1914) — ПОЭТ 211

Кондратьев Вячеслав Леонидович
(1920–1993) — писатель, автор повести «Сашка» 384

Коневской Иван
(Иван Иванович Ореус; 1877–1901) — поэт 211

Коонен Алиса Георгиевна
(1889–1974) — актриса Камерного театра, жена А. Я. Таирова 387

Корвин-Пиотровский Владимир Львович
(1891–1966) — поэт, драматург, с 1920 г. — в эмиграции 230, 231

Корди-Шкловская Василиса Георгиевна
(1890–1977) — первая жена В.Б. Шкловского 122,130

Коркина Елена Баурджановна
филолог, автор научного описания архива М. И. Цветаевой и публикации ее рукописей 296

Корнилов Лавр Георгиевич
(1870–1918, погиб в бою) — генерал от инфантерии, в 1917 г. верховный главнокомандующий, поднявший мятеж против Временного правительства 118

Корш Федор Адамович
(1852–1923) — театральный деятель, антрепренер, создатель частного театра драмы в Москве, переводчик 348, 350

Костырченко Геннадий Васильевич
историк 36

Кошеверова Надежда Николаевна
(1902–1990) — кинорежиссер, первая жена Н. П. Акимова 190

Кошелев Александр Иванович
(р. 1927) — математик, профессор Санкт-Петербургского университета 24

Кошелева Галина Даниловна
(урожд. Маркова; р. 1927) — специалист по французской литературе 23, 24, 39

Коэн Стив
(Стивен; р. 1938) — американский историк и политолог, профессор, биограф Н.И. Бухарина 97, 99

Кремень Пинхус
(1890–1981) — художник, работал в Париже 50

Кропоткин Петр Алексеевич
(1842–1921) — князь, революционер, теоретик анархизма, географ и геолог 170

Круглов Борис Алексеевич
старший лейтенант ГБ, соучастник убийства С. М. Михоэлса, награжденный за это орденом Отечественной войны I степени 18, 19

Крылов Иван Андреевич
(1769–1844) — баснописец 393

Кудрова Ирма Викторовна
литератор, биограф М. И. Цветаевой 295

Кузин Борис Сергеевич
(1903–1975) — биолог, друг О. Э. Мандельштама 222, 226

Кузмин Михаил Алексеевич
(1875–1936) — поэт 159, 160, 181, 230, 295

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна
(урожд. Пиленко; 1891–1945, погибла) — поэтесса, с 1919 г. в эмиграции; в 1932 г. постриглась в монахини и приняла имя мать Мария; в 1943 г. арестована за укрывательство евреев и отправлена в концлагерь Равенсбрюк 286, 287

Кульбин Николай Иванович

(1868–1917) — врач-психиатр, художник 117

Кульчицкий Михаил Валентинович
(1919–1943, погиб) — поэт 258

Кунин Иосиф Филиппович
(1904–1996) — историк музыки, литератор, мемуарист, друг Б. М. Лапина 200, 206, 213, 214, 218

Купала Янка (Луцевич Иван Доминикович)
(1882–1942, покончил самоубийством, бросившись в пролет лестницы) — белорусский поэт 33

Кусиков Александр Борисович
(1896–1977) — поэт, с 1920-х гг. в эмиграции 210

Кустодиев Борис Михайлович
(1878–1927) — художник 55

Кушнер Александр Семенович
(р. 1936) — поэт, эссеист 277, 406

Лаваль Пьер
(1883–1945, казнен) — премьер-министр Франции в 1930-е гг. 306

Ладыжников Иван Павлович
(1874–1945) — книгоиздатель 327–329, 336, 341, 342, 346, 347, 365, 367

Лазарев Лазарь Ильич
(Шиндель; р. 1924) — критик, редактор, мемуарист 256, 378–386, 388

Лазебникова-Маркиш Эстер Ефимовна
(р. 1912) — жена П. Д. Маркиша 21, 22, 29, 34–36, 41, 44

Лапин Борис Матвеевич
(1905–1941, погиб) — писатель, муж И. И. Эренбург 199-226

Лапин Матвей Осипович
врач, отец Б. М. Лапина 199

Ларина-Бухарина Анна Михайловна
(1914–1996) — жена Н. И. Бухарина, мемуаристка 93, 95, 96,

Ларин Ю.
(Михаил Зальманович Лурье; 1882–1932) — экономист, член ВЦИК 101, 387

Ларин Юрий Николаевич
(литературный псевдоним Ю. Четвергов; р. 1936) — художник, сын Н. И. Бухарина и А. М. Лариной 97

Ларионов Михаил Федорович
(1881–1964) — художник, муж Н. С. Гончаровой 67, 69

Лебедев Владимир Васильевич
(1891–1967) — художник 54, 60

Лебедев Жан
(Иван Константинович; 1884–1972) — художник, с 1909 г. работал во Франции 68, 69

Лебедев Василий Евгеньевич
полковник ГБ, соучастник убийства С. М. Михоэлса, награжден за это орденом Отечественной войны I степени 19

Левин Константин Львович
(1924–1984) — поэт 395

Левин Лев Григорьевич
(1870–1938, расстрелян) — терапевт, профессор, доктор медицинских наук, консультант Лечсанупра Кремля 387

Левитан
сотрудник издательства Ладыжникова в Берлине 365

Левитанский Юрий Давидович
(1922–1996) — поэт 259

Леже Фернан
(1881–1955) — французский художник 69

Лежнев Исай Григорьевич
(Альтшуллер; 1891–1955) — критик, публицист 242

Ленин Владимир Ильич

(Ульянов; 1870–1924) — вождь большевиков, председатель Совета народных комиссаров. 13, 62, 86, 100, 103, 104, 147, 156, 157, 214, 314, 323

Леонидов Иван Ильич
(1902–1959) — архитектор 60

Леонидов Леонид Миронович
(Вольфензон;1873–1941) — актер-трагик МХАТ, педагог, доктор искусствоведения 340

Леонов Леонид Максимович
(1899–1994) — писатель 181, 247, 326, 334–336, 340, 341

Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814–1841, погиб на дуэли) — поэт 116, 155, 208

Лесс Александр Лазаревич
фотограф и писатель 406

Летичевская Мириам Израилевна
мать Л. С. Эйдус 26

Лец Станислав Ежи
(1909–1966) — польский поэт, классик мировой афористики 374

Либерман Анатолий Семенович
виолончелист, сын С. П. Либермана 312, 313, 319

Либерман Семен Петрович
(Соломон Пинхусович; 1901–1975) — литератор, переводчик, преподаватель 312-367

Лидин Владимир Германович
(Громберг; 1894–1979) — писатель 68, 71, 76–78, 230, 233, 234, 304,
306, 325, 326, 333–336, 338–340, 343, 348, 350–359, 362, 366

Лидина Елена Владимировна
(р. 1923) — дочь В. Г. Лидина 68

Липкин Семен Израилевич
(1911–2003) — поэт, переводчик, мемуарист 243, 245, 252,

255, 256

Липшиц Жак
(1891–1973) — французский скульптор 50

Ли Сынтао
китайский автор XIII в. 350

Литвинов Максим Максимович
(Меер Валлах; 1876–1951) — нарком иностранных дел СССР с 1930 по 1939 г. 85-92

Литвинов Михаил Максимович
(1917–2006) — инженер, сын М. М. Литвинова 92

Литвинова Айви Вальтеровна
(урожд. Фейви Лоу; 1890–1977) — жена М. М. Литвинова 92

Литвинова Татьяна Максимовна
(р. 1918) — дочь М. М.Литвинова, художница 91, 92

Лозина-Лозинский Алексей Константинович
(1886–1916) — поэт 211

Лозинский Михаил Леонидович
(1886–1955) — поэт, переводчик 159

Лорка Федерико Гарсиа
(1898–1936, расстрелян) — испанский поэт 257

Лосская Вероника
французский филолог, исследователь творчества М. Цветаевой и переводчица ее произведений 296

Лот Андре
(1885–1962) — французский художник, теоретик искусства 69

Лотман Юрий Михайлович
(1922–1993) — литературовед 173

Луначарский Анатолий Васильевич
(1875–1933) — народный комиссар просвещения 87, 137, 141, 157, 322, 333, 342–345, 360, 361

Лунц Лев Натанович
(1901–1924) — прозаик, драматург, Серапионов брат 119, 121–123,
132, 136–143, 145, 151. 167, 169, 177, 178, 181, 184

Лунц Натан Яковлевич
отец Л. Н. Лунца 136

Любимова Марина Юрьевна
литературовед 337

Люрса Жан
(1892–1966) — французский живописец, мастер гобеленов, коммунист 69

Лютер Артур
(1876–1955) — Немецкий славист, переводчик русской литературы, библиограф; родился и учился в России, окончил Московский университет, после научной командировки в Германию (1910–1911) приехал туда снова в 1914 г. и там остался 336, 338

Мазерель Франс
(1889–1972) — бельгийский график 69

Мазэ Сади Яковлевич
юрист, брат А. Я. Савич; с конца 1920-х гг. в эмиграции 339

Майоров Николай Петрович
(1919–1942, погиб) — поэт 258

Макогоненко Георгий Пантелеймонович
(1912–1986) — филолог, профессор Ленинградского университета 24, 39

Макогоненко Людмила Семеновна
(урожд. Пайкина) — жена Г. П. Макогоненко 24, 39

Максимов Владимир Емельянович
(1932–1995) — писатель 243

Малевич Казимир Северинович
(1878–1935) — художник, основоположник супрематизма 52

Маленков Георгий Максимилианович
(1902–1988) — член сталинского Политбюро, председатель Совета министров СССР в 1953–1955 гг. 92, 249, 250, 253

Малер Густав
(1860–1911) — австрийский композитор и дирижер 372

Малларме Стефан
(1842–1898) — французский поэт 209

Мандельштам Надежда Яковлевна
(урожд. Хазина; 1899–1980) — жена О. Э. Мандельштама, мемуаристка 126, 129, 130, 211, 214, 221, 222, 226, 405, 406

Мандельштам Осип Эмильевич
(1891–1938, умер в лагере) — поэт, эссеист, критик 47, 54, 103, 130, 162, 176, 181, 199, 200, 203, 204, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 221–226, 295, 303, 378, 389, 390, 396, 405

Манн Клаус
(1906–1949, покончил самоубийством) — немецкий писатель, сын Т. Манна 351, 373

Манн Томас
(1875–1955) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии 372, 373, 377

Марголин Самуил Акимович
(1893–1953) — театральный критик, журналист 67

Марголин Юлий Борисович
(1900–1971) — литератор, живший в начале 1920-х гг. в Берлине; впоследствии автор знаменитой книги «Путешествие в страну зека» 321

Маргулис (Моргулис) Александр Осипович
(1898–1938, расстрелян) — литератор, переводчик 224

Марке Альбер
(1875–1947) — французский художник 69

Маркиш Перец Давидович
(1895–1952, расстрелян) — еврейский поэт, член Еврейского антифашистского комитета 14,15, 21, 29, 34, 250

Марков Даниил Александрович
(1995–1976) — профессор-невропатолог, академик Белорусской академии наук 24

Марков Павел Александрович
(1897–1980) — театровед, доктор искусствоведения 334, 338, 343, 346

Маркс Карл
(1818–1883) — философ, экономист, основоположник научного коммунизма 156

Маршак Самуил Яковлевич
(1887–1964) — поэт, переводчик, мемуарист 185, 394, 400

Марлинский Александр Александрович
(наст, фамилия Бестужев; 1797–1837, убит на Кавказе, куда был сослан как участник восстания декабристов) — писатель 208

Матецкая В. С.
первая жена С. П. Либермана 359

Матисс Анри
(1869–1954) — французский художник 50, 69

Мачадо Антонио
(1875–1939) — испанский поэт 237

Маяковский Владимир Владимирович
(1893–1930, застрелился) — поэт 54, 59, 117, 127, 176, 181, 317, 319, 334, 337, 339, 390, 391

Мейерхольд Всеволод Эмильевич
(1874–1940, расстрелян) — режиссер 60, 260, 289, 312, 343, 345, 349, 387

Мельников Константин Степанович
(1890–1974) — архитектор 60

Мендельсон Феликс
(1809–1847) — немецкий композитор, дирижер, пианист и органист 375

Мережковский Дмитрий Сергеевич
(1866–1941) — писатель, в эмиграции с начала 1920-х гг. 181, 335

Мережковские
Дмитрий Сергеевич (1865–1941) и его жена Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) 292

Мехов С.
минский литератор 31

Микеланджело Буонарроти
(1475–1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт 60

Милашевский Владимир Алексеевич
(1893–1976) — график 121

Мирбах Вильгельм
(1871–1918, убит в Москве Я. Блюмкиным) — посол Германии в России 57

Мистраль Габриэла
(Лусила Годой Алькаяга; 1889–1957) — чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 237

Митрохин Дмитрий Исидорович
(1883–1973) — художник 68

Михаил
(Михаил Александрович Романов; 1878–1918, расстрелян) — великий князь, брат Николая II; отказался от престола, переданного ему Николаем II в 1917 г. 66

Михоэлс Соломон Михайлович
(Вовси; 1890–1948, убит по распоряжению Сталина) — актер и режиссер Еврейского театра в Москве 8, 11-44

Мишель Луиза
(1830–1905) — французский литератор, участница Парижской коммуны 171

Мнухин Лев Абрамович
(р. 1938) — историк литературы 300

Мовшенсон Александр Григорьевич
(Шура; 1895–1965) — театровед, переводчик, брат Е. Г. Полонской 156, 293

Мовшенсон Григорий Львович
(1861–1916) — инженер, отец Е. Г. Полонской 155, 156, 293

Мовшенсон Шарлотта Ильинична
(урожд. Мейлах; 1861–1946) — мать Е. Г. Полонской 156, 284, 289

Модильяни Амедео
(1884–1920) — итальянский художник, работавший в Париже 49

Молотов Вячеслав Михайлович
(Скрябин; 1890–1986) — член сталинского Политбюро, в 1930–1941 гг. председатель Совнаркома, в 1939–1949 и 1953–1956 гг. — нарком и министр иностранных дел СССР 86, 88-90

Москвин Андрей Николаевич
(1901–1961) — кинооператор, муж Н.Н. Кошеверовой 190

Музиль Роберт
(1880–1942) — австрийский писатель 373

Мурер Франц
штандартенфюрер СС, уполномоченный по еврейскому вопросу в гебитскомиссариате Вильнюса, военный преступник 273, 274

Набоков Владимир Владимирович
(псевдоним Сирин; 1899–1977) — русско-американский писатель, с начала 1920-х гг. в эмиграции 182, 308

Надсон Семен Яковлевич
(1862–1887) — поэт 155

Найдич Владимир
(1903–1980) — парижский художник, эмигрировал из России в 1919 г. 58

Наппельбаум Ида Моисеевна

(1900–1992) — поэтесса 406

Неер Карола
(1900–1942, погибла в советском лагере) — немецкая актриса, жена Клабунда; в 1932 г. вышла замуж за инженера-коммуниста А. Бекера и переехала в СССР 353

Некрасов Виктор Платонович
(1911–1987) — писатель, с 1974 г. в эмиграции 259, 380–382, 384

Некрасов Николай Алексеевич
(1821–1878) — поэт 155

Неруда Пабло
(1904–1973) — чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии 228, 235, 237

Нива Жорж
(р. 1935) — французский профессор-славист 312

Никитин Николай Николаевич
(1895–1963) — писатель, Серапионов брат 122, 130, 148, 177, 326, 331, 343

Николаевский Борис Иванович
(1887–1966) — историк, архивист, с 1922 г. в эмиграции 109, 110

Николай II
(Романов Николай Александрович; 1868–1918, расстрелян) — последний русский император 65

Новалис
(Фридрих фон Харденберг; 1772–1801) — немецкий поэт, философ 210, 239

Огольцов Сергей Иванович
(1900–1977) — в 1945–1952 гг. первый заместитель наркома госбезопасности СССР; за руководство убийством С. М. Михоэлса награжден орденом Красного Знамени, а в апреле 1953 г. арестован, но в августе 1953 г. освобожден 18, 19

Окуджава Булат Шалвович

(1924–1997) — поэт, бард, прозаик 8, 381, 384, 385, 406

Олейников Николай Макарович
(1898–1938, расстрелян) — поэт 187

Олеша Юрий Карлович
(1899–1960) — писатель 147, 390

Орджоникидзе Георгий Константинович
(1886–1937, убит или застрелился) — член сталинского Политбюро, нарком тяжелой промышленности 104

Орешин Петр Васильевич
(1887–1938, расстрелян) — поэт 322

Орлова Хана
(1888–1968) — скульптор, уроженка Украины 68

Ортенберг Давид Иосифович
(псевдоним генерал Вадимов; 1904–1998) — военный журналист, генерал, главный редактор «Красной звезды» до 1943 г. 385

Осповат Лев Самойлович
(р. 1922) — испанист, критик и литературовед 228

Оффенбах Жак
(Якоб Эбершт; 1819–1880) — французский композитор 375

Оцуп Николай Авдеевич
(1894–1958) — поэт, с 1920-х гг. в эмиграции 203, 295, 312

Павленко Петр Андреевич
(1899–1951) — писатель 8,146,147

Палецкис Юстас Игнович
(1899–1980) — литовский писатель, в 1940–1967 гг. — председатель Президиума Верховного совета Литвы 265, 268

Панова Вера Федоровна
(1905–1973) — писательница 190

Пантелеев Леонид
(псевд.; настоящее имя Алексей Иванович Еремеев; 1908–

1987) — писатель 187, 191, 338

Парнах Валентин Яковлевич
(1891–1951) — поэт, переводчик, танцовщик 308

Пастернак Борис Леонидович
(1890–1960) — поэт, лауреат Нобелевской премии 60, 103, 132, 179, 181, 182, 197, 201, 203, 204, 205, 210, 215, 220, 232, 264, 312, 316, 319, 327, 334, 335, 341, 367, 378, 384, 390, 396, 405, 406

Пастернак Жозефина Леонидовна
(1900–1993) — сестра Б. Л. Пастернака 366

Пастернак Леонид Осипович
(1862–1945) — художник, отец Б. Л. Пастернака

Пастухов Всеволод Леонидович
(1894–1967) — пианист, поэт 160

Паустовский Константин Георгиевич
(1892–1968) — писатель 130

Песталоцци Иоганн Генрих
(1746–1827) — швейцарский педагог, автор идеи о соединении обучения с производительным трудом 362

Петников Григорий Николаевич
(1894–1971) — поэт 331

Петр I Великий
(Петр Алексеевич Романов; 1672–1725) — первый российский император 350

Петров Евгений Петрович
(Катаев; 1903–1942) — писатель 238-242

Петров
генерал медицинской службы, хирург 39

Пикассо Пабло
(1881–1973) — французский художник 49, 50, 55, 69, 235

Пикельный Роберт
(1904–1986) — художник, с 1923 г. жил в Париже 57

Пильняк Борис Андреевич
(Вогау; 1894–1938, расстрелян) — писатель 148, 181, 241, 313, 390

Писарева Анна Евгеньевна
петербургский врач 292,293

Писарев Дмитрий Иванович
(1840–1868) — критик, публицист 139, 140

Платонов Андрей Платонович
(1899–1951) — писатель 182, 245, 248, 390

Познер Владимир Соломонович
(1905–1994) — поэт, Серапионов брат, с 1922 г. жил в Париже, французский писатель и журналист, коммунист 165, 175–183, 303

Познер Соломон Владимирович
(1876–1946) — журналист, историк российского еврейства, с 1921 г. в эмиграции 176

Полевой Борис Николаевич
(Кампов; 1908–1981) — писатель, журналист 267

Полевой Вадим Михайлович
(1923–2008) — историк искусств, профессор 63

Полонская Елизавета Григорьевна
(Мовшенсон; 1890–1969) — поэтесса, переводчица, мемуаристка, Серапионова сестра 50,155–174,180, 284, 286, 287, 289, 290, 293, 294

Полонский Вячеслав Павлович
(Гусев; 1886–1932) — критик, публицист, редактор 332, 333, 360

Полонский Лев Давидович
(1885–1941, погиб) — муж Е. Г. Полонской 158, 290

Полонский Михаил Львович
(1916–1995) — инженер, сын Е. Г. Полонской 161

Поскребышев Александр Николаевич
(1891–1965) — секретарь Сталина 92

Потебня Александр Афанасьевич
(1835–1891) — филолог-славист 124

Потоцкая-Михоэлс Анастасия Павловна
(1907–1981) — биолог, вторая жена С. М. Михоэлса 16, 28, 29

Примаков Евгений Максимович
(р. 1929) — экономист, историк, академик, кандидат в члены Политбюро в 1989–1990 гг., министр иностранных дел и глава правительства Российской Федерации в 1990-е гг. 86

Присманова Анна Семеновна
(1892–1960) — поэтесса, с 1922 г. в эмиграции 314, 315, 321, 322, 359

Прокофьев Александр Андреевич
(1900–1971) — поэт 173

Протасова М.
литератор, соавтор книги о Б. М. Лапине 198

Проффер Карл
(1938–1984) — американский славист, владелец издательства «Ардис» 407

Пудовкин Всеволод Илларионович
(1893–1953) — кинорежиссер 197

Пуни Иван (Жан) Альбертович
(1894–1956) — художник, работал в Париже 56, 57

Пунина Ирина Николаевна
(1921–2003) — искусствовед, дочь Н. Н. Пунина (мужа А. А. Ахматовой в 1924–1938 гг.) 406

Пунин Николай Николаевич
(1888–1953) — искусствовед, педагог, музейный работник 54

Путерман Иосиф Ефимович
(1885–1940) — французский журналист, издатель 299-311

Пушкин Александр Сергеевич
(1799–1837) — ПОЭТ 46, 155, 180, 225, 299, 307, 308, 310, 311, 335, 392

Пятаков Георгий Леонидович
(1890–1937, расстрелян) — деятель большевистской партии, участник левой оппозиции 147

Пятницкий Осип
(Иосиф Аронович Таршис; 1882–1938, расстрелян) — деятель ВКП(б) и Коминтерна 102

Радек Карл Бернгардович
(Собельсон; 1885–1939, убит в тюрьме) — деятель большевистской партии, участник левой оппозиции, публицист 57, 88, 104, 117

Радецкий Сигизмунд фон
(1891–1970) — переводчик на немецкий язык русской литературы и писатель 335

Радлова Анна Дмитриевна
(урожд. Дармалатова; 1891–1949) — поэтесса, переводчица 163

Райт-Ковалева Рита (Раиса) Яковлевна
(1898–1988) — писательница, переводчица, мемуаристка 79

Райх-Раницкий Марсель
(р. 1920) — немецкий литературный критик 7, 368-377

Рассадин Станислав Борисович
(р. 1935) — литературный критик 382, 388

Редько Климент Николаевич
(1897–1956) — художник 69

Рейснер Лариса Михайловна
(1895–1926) — поэтесса, очеркистка, участница Гражданской войны 160

Рембо Артюр
(1854–1891) — французский поэт 210

Ремизов Алексей Михайлович
(1877–1957) — писатель, с начала 1920-х гг. в эмиграции 138, 178, 179,181

Ренар Лиан
жена С. Фотинского 66

Репин Илья Ефимович
(1844–1930) — художник, умер в эмиграции 116, 265

Ривера Диего
(1886–1957) — мексиканский художник 69

Рильке Райнер Мария
(1875–1926) — австрийский поэт 373

Родченко Александр Михайлович
(1891–1956) — художник, фотограф, дизайнер 54

Рождественский Всеволод Александрович
(1895–1977) — поэт, мемуарист 191

Розанов Василий Васильевич
(1856–1919) — писатель, публицист и философ 181

Розанова Ольга Владимировна
(1886–1918) — художница 52

Розенталь
владелица прав на издание немецкого перевода романа И. Эренбурга «Рвач» 365,366

Рольникайте Мария Григорьевна
(Рольник; р.1927) — узница гитлеровского концлагеря, писательница 271-275

Рот Йозеф
(1894–1939, покончил с собой) — австрийский писатель 264, 373

Рубинчик Ольга Ефимовна
литературовед 26

Рубинштейн
берлинский театральный деятель 1920х гг. 136, 278, 347

Ружевич Тадеуш
(р. 1921) — польский поэт, прозаик, драматург 362

Рузвельт Франклин Делано
(1882–1945) — президент США 87, 90

Руофф Ганс
(1893–1986) — переводчик русской литературы на немецкий язык 335

Руссо Жан-Жак
(1712–1778) — французский писатель и философ 125, 345

Рыков Алексей Иванович
(1881–1938, расстрелян) — член Политбюро в 1920-е г., председатель Совнаркома с 1924 по 1930 гг. 104, 109

Савич Альсгута Яковлевна
(урожд. Мазэ; 1904–1991) — жена О. Г. Савича, мемуаристка 66, 68, 70, 71, 78, 229, 299, 300, 305, 309

Савич Анна Тимофеевна
мать О. Г. Савича 229

Савич Овадий Герцович
(1896–1967) — писатель, переводчик испанской поэзии 227–237, 299, 304–307, 310, 335, 339, 340, 355, 356

Савичи
Альсгута Яковлевна и Овадий Герцевич 56, 76, 77, 78, 229, 303, 304, 305

Самойлов Давид Самойлович
(Кауфман; 1920–1990) — поэт, переводчик, мемуарист 261

Сандрар Блез
(Фредерик Заузер; 1887–1961) — французский поэт, прозаик 49

Сарнов Бенедикт Михайлович
(р.1927) — критик, публицист, мемуарист 128, 134, 382,

387-396

Сахаров Андрей Дмитриевич
(1921–1989) — физик-теоретик, академик, правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 243, 394

Сахарова Ирина Владимировна
мать Д. А. Сухарева 64, 70

Саша Черный
(Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932) — поэт 317

Саянов Виссарион Михайлович
(1903–1959) — поэт, прозаик 224

Свердлов Яков Михайлович
(1885–1919) — председатель ВЦИК 121,170

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович
(1890–1939, репрессирован) — критик 303, 308

Северянин Игорь
(Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941) — поэт 181

Сегаль Анна
жена М. И. Сегаля 283, 289

Сегаль Лидия Максимовна
(по мужу Бродская; 1892–1977) — переводчица, художница 283-298

Сегаль Максим Ильич
архитектор, отец Л. М. Сегаль 283

Сезанн Поль
(1839–1906) — французский художник 73

Сеземан Алексей Васильевич
(1916–1989) — старший сын Н. Н. Клепининой 298

Сеземан Дмитрий Васильевич
(р. 1922) — младший сын Н. Н. Клепининой, приятель Г. С. Эфрона 297

Сейфуллина Лидия Николаевна
(1889–1954) — писательница 181, 334, 336, 340

Сельвинский Илья Львович
(1899–1968) — поэт 203

Семенов Г. И. (Васильев)
эсер 121

Семенов Сергей Александрович
(1893–1942, погиб) — прозаик 339

Серебрякова Галина Иосифовна
(1905–1980) — писательница, жена Г. Я. Сокольникова 109

Симонов Константин Михайлович
(Кирилл; 1915–1979) — поэт, прозаик, драматург, мемуарист 216, 234, 248, 380, 381, 382, 384

Синьяк Поль
(1863–1935) — французский художник 69

Синявский Андрей Донатович
(1925–1997) — литературовед, писатель; в 1965 г. был осужден за «антисоветскую деятельность», с 1973 г. в эмиграции 243

Скрябина Ариадна Александровна
(по мужу Сарра Кнут; 1904–1944, расстреляна гестаповцами в Тулузе) — поэтесса, жена Д. Кнута, дочь композитора А. Н. Скрябина 322

Славин Лев Исаевич
(1896–1984) — писатель 222, 210

Слёзкин Юрий Львович
(1885–1947) — писатель 329, 330

Слонимский Антоний
(1895–1976) — польский писатель 144

Слонимский Михаил Леонидович
(1897–1972) — писатель, Серапионов брат 120, 122, 144–148, 152, 165, 177, 180, 191, 331, 340

Слонимский Сергей Михайлович
(р.1932) — композитор, сын М. Л. Слонимского 152

Слуцкий Борис Абрамович
(1919–1986) — поэт 174, 256, 262, 381, 382, 384, 394

Смилга Ивар Тенисович
(1892–1938, расстрелян) — деятель большевистской партии, левый оппозиционер 102

Соболь Андрей
(Юлий Михайлович; 1888–1926) — писатель 324, 326, 327, 334–336, 338, 339, 346, 363, 364

Сокол Моисей Борисович
артист Белорусского еврейского театра 32

Соколов Ипполит
теоретик имажинизма и основатель русского экспрессионизма 202

Соколов-Скаля Павел Петрович
(1899–1961) — художник, автор полотен на историко-революционные и военные темы 47

Сокольников Григорий Яковлевич
(Бриллиант; 1888–1939, убит в тюрьме) — деятель большевистской партии, участник революций, участник гражданской войны, в 1922–1926 гг. нарком финансов, с 1929 г. посол в Англии, в 1933–1934 гг. зам. министра иностранных дел 103, 107, 109, 110, 147

Солженицын Александр Исаевич
(р. 1918–2008) — писатель, лауреат нобелевской премии 243, 244, 394, 406

Соловьева Поликсена Сергеевна
(псевдоним Allegro; 1867–1924) — поэтесса 322

Сологуб Федор Кузьмич
(Тетерников; 1863–1927) — поэт и прозаик 292, 322

Солоухин Владимир Алексеевич

(1924–1997) — писатель 394

Сомов Константин Андреевич
(1869–1939) — художник, с 1923 г. в эмиграции 52

Сосинский Бронислав
(Владимир) Брониславович (1900–1987) — писатель 314, 316, 317, 322, 323, 359, 362

Соснора Виктор Александрович
(р. 1936) — поэт, прозаик 406

Спасский Сергей Дмитриевич
(1898–1956) — поэт и переводчик 202, 203

Сталин Иосиф Виссарионович
(1879–1953) — генеральный секретарь ЦК КПСС с 1922 г., диктатор 8, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 41, 57, 73, 86–90, 92, 95, 103–105, 109, 110, 129,137, 170, 238, 240, 248–254, 260, 263, 266, 306, 309, 387, 396

Сталина Светлана Иосифовна
(Аллилуева; р. 1926) — филолог, дочь И.В. Сталина 16

Стенич Валентин
(Сметанич; 1898–1938, расстрелян) — поэт, переводчик 132

Суок Серафима Густавовна
(ск. 1982) — жена В. Б. Шкловского 130

Суслов Михаил Андреевич
(1902–1982) — секретарь ЦК ВКП(б) с 1947 г., член Политбюро в 1952–1953 гг. и с 1955 г., идеолог эпохи застоя 243, 249, 399

Сутин Хайм
(1894–1943) — художник, умер в оккупированном Париже 50

Сухарев Дмитрий Антонович
(Сахаров; р. 1930) — поэт, биолог 64, 70

Суцкевер Авром
(р. 1913) — еврейский поэт 263-270

Таиров Александр Яковлевич
(1885–1950) — театральный режиссер, основатель Камерного театра в Москве 60

Тарковский Андрей Арсеньевич
(1932–1986) — кинорежиссер, с 1982 г. в эмиграции 382

Твардовский Александр Трифонович
(1910–1971) — поэт, редактор журнала «Новый мир» 95, 107, 224, 247, 248, 252, 254–258, 382, 385, 394, 406

Тёмкина И.
литератор 199

Терешкович Константин Андреевич
(1902–1978) — художник, работал в Париже 57, 67

Тескова Анна
(1872–1954) — чешская писательница и переводчица русской литературы, друг М. И. Цветаевой 300

Тик Людвиг
(1773–1853) — немецкий писатель-романтик 206, 208, 210

Тирсо де Молина
(Габриэль Тельес; 1571–1648) — испанский драматург 343

Тихонов Николай Семенович
(1896–1979) — поэт, Серапионов брат, один из руководителей Союза советских писателей 8, 121, 163, 165, 167, 177, 181, 233, 236, 337-339

Толстой Алексей Николаевич
(1883–1945) — писатель 29, 138, 265, 321

Толстой Лев Николаевич
(1828–1910) — писатель 132, 138, 248, 329, 335

Томашевский Борис Викторович
(1890–1957) — литературовед, текстолог, пушкинист 225

Трауберг Леонид Захарович
(1902–1990) — кинорежиссер 191, 197, 198

Третьяков Сергей Михайлович
(1892–1939, расстрелян) — писатель 343

Триоле Эльза
(урожд. Эльза Юрьевна Каган; 1889–1970) — французская писательница, жена Л. Арагона, сестра Л. Брик 125, 133

Трофименко Сергей Георгиевич
(1899–1953) — генерал-полковник, Герой Советского Союза, командующий Белорусским военным округом в 1946–1949 гг. 20, 22, 24, 25, 27–30, 34–38, 40, 41

Трофименко Ирина Дмитриевна
жена С. Г. Трофименко 21, 22, 29, 30, 35, 36, 41-44

Трофименко Л. С.
см. Эйдус Л. С.

Троцкий Лев Давидович
(Бронштейн; 1879–1940, убит по распоряжению Сталина) — революционер, социал-демократ, один из главных организаторов Октябрьской революции, создатель Красной армии, председатель РВС и нарком по военным и морским делам до 1925 г., главный противник Сталина, в 1929 г. выслан из СССР 57, 97, 100, 103, 104, 137, 161

Тувим Юлиан
(1894–1954) — польский поэт, переводчик, эссеист 155, 264, 265, 369, 373

Тургенев Иван Сергеевич
(1818–1883) — писатель 308

Тухачевский Михаил Николаевич
(1893–1937, РАССТРЕЛЯН) — военачальник, участник Гражданской войны, в 1921 г. подавлял восстания в Кронштадте и в Тамбовской губ. 200

Тынянов Юрий Николаевич
(1894–1943) — писатель 117, 122, 127, 147,150, 151, 181, 230, 232, 306

Тынянова Лидия Николаевна
(1902–1984) — писательница, сестра Ю. Н. Тынянова и жена

Тырса Николай Андреевич
(1887–1942, погиб) — график 54, 226

Тышлер Александр Григорьевич
(1898–1980) — театральный художник, живописец и график 15, 60, 260

Тэффи
(Надежда Александровна Лохвицкая; 1872–1952) — писательница, с 1920 г. — в эмиграции 178

Уманский Дмитрий Александрович
(1901–1977) — переводчик русской литературы на немецкий язык, публицист, брат дипломата К. А. Уманского 337, 347

Утрилло Морис
(1883–1955) — французский художник, мастер городского пейзажа 67

Ушаков Николай Николаевич
(1899–1973) — поэт 390

Фадеев Александр Александрович
(1902–1956, застрелился) — писатель 146, 147, 242, 247-254

Фальк О. Р.
московский домовладелец 199

Фальк Роберт Рафаилович
(1886–1958) — художник 47, 56,61

Федер Арнольд
(Айзик Екевович; 1885–1943, погиб в концлагере) — французский художник 56, 67, 68

Федин Константин Александрович
(1892–1977) — писатель, Серапионов брат, первый секретарь Союза советских писателей с 1959 г. 8, 119, 126, 139, 148, 149, 151, 181, 184, 247, 325, 326, 333, 340

Фельштинский Юрий Георгиевич
(р. 1956) — историк, с 1978 г. живет в эмиграции 110

Фет Афанасий Афанасьевич
(Шеншин; 1820–1892) — поэт 208

Фефер Ицик
(Исаак Соломонович; 1900–1952, расстрелян) — еврейский поэт, деятель Еврейского антифашистского комитета, сотрудничал с НКВД 16,34,35

Филонов Павел Николаевич
(1883–1941) — живописец и график 47, 52

Фихте Иоганн Готлиб
(1762–1814) — немецкий философ 371

Форш Ольга Дмитриевна
(1873–1961) — писательница 166, 232

Фотинский Серж
(Абрам Саулович Айзеншер; Фотя; 1887–1971) — французский график, живописец, работал во Франции с 1903 г. 56, 63–73, 75, 76, 78, 305

Фрезинский Борис Яковлевич
(р. 1941) — историк литературы 300, 414

Френкель Л. Д.
глава берлинского книгоиздательства 327

Фриш Макс
(1911–1991) — швейцарский писатель 373

Фужита Чугохару
(1886–1968) — французский художник, выходец из Японии 69

Фуке Фридрих де ла Мотт
(1777–1843) — немецкий писатель 208

Хазанов Борис
(Геннадий Моисеевич Файбусович; р. 1928) — писатель, с 1982 г. живет в Мюнхене 394

Халатов Артемий Багратович
(1894–1938, расстрелян) — издательский деятель, член

коллегии Наркомпроса, председатель правления Госиздата 360

Хацревин Захар Львович
(1903–1941, погиб) — писатель 199, 216, 219, 220, 224-226

Хлебников Велимир
(Виктор Владимирович; 1885–1922) — поэт 54, 117, 181, 200, 205, 207, 215, 216, 225

Ходасевич Валентина Михайловна
(1894–1970) — живописец, график, художница театра, племянница В. Ф. Ходасевича 120

Ходасевич Владислав Фелицианович
(1886–1939) — поэт, с 1922 г. — в эмиграции 179, 180, 230, 317

Хрущев Никита Сергеевич
(1894–1971) — первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР до 1964 г. 8, 95, 107, 253, 273, 403

Хусейн Саддам
(1937–2006, повешен) — диктатор Ирака 86

Цадкин Осип
(Жозеф Аронович; 1890–1967) — скульптор, с 1909 г. работал в Париже 49, 50, 67, 68, 292

Цанава Лаврентий Фомич
(1900–1955, умер в тюрьме) — в 1943–1952 гг. нарком госбезопасности Белоруссии, в 1951–1952 гг. заместитель министра госбезопасности СССР; за руководство убийством С. М. Михоэлса награжден орденом Красного Знамени 18, 19, 41, 42

Цветаева Анастасия Ивановна
(1894–1993) — писательница, сестра М. И. Цветаевой 298

Цветаева Марина Ивановна
(1892–1941, покончила с собой) — поэт 8, 181, 203, 204, 231, 283, 294–296, 299–303, 317, 319, 322, 378, 390, 405

Цетлин Михаил Осипович
(псевдоним Амари; 1882–1945) — поэт, с 1917 г. — в эмиграции 232

Чапыгин Алексей Павлович
(1870–1937) — писатель 341

Чемберлен Невилл
(1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг. 31

Черниховский Шаул
(1875–1943) — еврейский поэт; в 1922 г. эмигрировал из России 226

Чернышевский Николай Гаврилович
(1828–1889) — писатель, литературный критик 137, 139

Черняков Адам
(1880–1942) — еврейский общественный деятель в Польше, председатель еврейского общинного совета; староста Варшавского юденрата 375

Черняков Борис Вульфович
(1929–1996) — литератор, автор книги «Маленькие еврейские истории» (Тель-Авив, 1996) 397-401

Чехов Антон Павлович
(1860–1904) — прозаик, драматург 138, 192, 256

Чиаурели Михаил Эдишерович
(1894–1974) — кинорежиссер, сценарист 129

Чуковский Корней Иванович
(Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) — критик, детский поэт, мемуарист 116, 144, 146, 159, 168, 176, 394

Чуковский Николай Корнеевич
(1904–1964) — писатель, сын К. И. Чуковского 115, 116, 123, 171, 175, 179, 183

Шагал Марк Захарович
(1887–1985) — художник, с 1922 Г. — в эмиграции 50, 51, 60, 67, 69, 235, 269, 398

Шагинян Мариэтта Сергеевна
(1888–1982) — писательница 161,168,322,393

Шварц Антон Исаакович
(1896–1954) — артист-чтец, кузен Е. Л. Шварца 191

Шварц Евгений Львович
(1896–1958) — драматург 124, 140, 144, 145, 168, 170, 171, 184–193, 197

Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич
(р. 1928) — министр иностранных дел СССР с 1985 г., президент Грузии в 1995–2003 гг. 86

Шевченко Тарас Григорьевич
(1814–1861) — украинский поэт 225

Шейнин Лев Романович
(1906–1967) — с 1936 г. начальник следственного управления прокуратуры СССР, уволен решением Политбюро ЦК в 1949 г., арестован, реабилитирован при жизни; литератор, сценарист и драматург, автор «Записок следователя» 12

Шейнис Зиновий Самойлович
(1913–1994) — журналист, сотрудник газеты «Труд» 85, 86

Шекспир Уильям
(1564–1616) — английский поэт, драматург 195

Шестов Лев
(Лев Исаакович Шварцман; 1866–1938) — философ-экзистенциалист, критик; с 1919 г. — в эмиграции 299, 300

Шидловский
владелец мужской гимназии в Петербурге 176

Шиллер Иоганн Фридрих
(1759–1805) — немецкий поэт и драматург 208

Шилов Александр Максович
(р. 1943) — художник 47

Ширацкая (Берит Ширацки)
переводчица русской поэзии XX в. на немецкий язык 335

Шифрин Жак

сотрудник французского издательства «Н.Р.Ф.», друг А. Жида 308

Шкапская Мария Михайловна
(1891–1951) — поэтесса, очеркистка 322

Шкловская-Корди Варвара Викторовна
дочь В. Б. Шкловского 130

Шкловский Б. В.
преподаватель математики; отец В. Б. Шкловского 115

Шкловский Виктор Борисович
(1893–1984) — писатель, литературовед 115–135, 144, 145, 151, 161, 169, 170, 177, 179–181, 183, 192, 197, 389, 394, 415

Шкловский Владимир Борисович
(1889–1937, погиб в лагере) — филолог, брат Виктора Борисовича Шкловского 116

Шкловский Иосиф Самуилович
(1916–1985) — астрофизик 394

Шкловский Исаак Владимирович
(псевдоним Динео; 1865–1935) — журналист, критик, этнограф; с 1920-х гг. в эмиграции 116

Шкловский Никита Викторович
(1924–1945, погиб на фронте) — сын В. Б. Шкловского 133

Шкловский-Корди Никита Ефимович
(р. 1952) — внук В. Б. Шкловского 133

Шлегель Фридрих
(1772–1829) — НЕМЕЦКИЙ КРИТИК, ФИЛОСОФ КУЛЬТУРЫ 208

Шницлер Артур
(1862–1931) — австрийский драматург и прозаик 362

Шолохов Михаил Александрович
(1905–1984) — писатель, лауреат Нобелевской премии 244–247, 254

Шопен Фридерик
(1810–1849) — польский композитор и пианист 374

Шостакович Дмитрий Дмитриевич
(1906–1975) — композитор 8, 60, 195, 197, 260

Штейнберг Аркадий Акимович
(1907–1984) — поэт и переводчик 14

Штеренберг Давид Петрович
(1881–1948) — художник 54,6о

Штерн Лина Соломоновна
(1875–1968) — физиолог, академик 250, 251

Шубняков Федор Григорьевич
(1916–1998) — полковник МГБ (впоследствии генерал-майор), практический организатор и исполнитель убийства С. М. Михоэлса 17, 19

Шумяцкий Борис Захарович
(1886–1938, расстрелян) — с 1933 г. начальник Главного управления кинопромышленности и заместитель председателя Комитета по делам искусств СССР 198

Эйгер Юлия Яковлевна
(по мужу Мошковская; 1892–1969) — историк, мемуаристка 285, 286

Эйдус Даниил Михайлович
(р. 1922) — профессор-математик, муж Л. С. Эйдус 25, 27, 79

Эйдус Лидия Сергеевна
(урожд. Трофименко; р. 1926) — математик, художница 25–28, 37–39, 42, 43, 79-83

Эйзенштейн Сергей Михайлович
(1898–1948) — кинорежиссер и художник-график 60, 197

Эйхенбаум Борис Михайлович
(1886–1959) — литературовед 117, 124, 128, 161,162

Эйхендорф Йозеф
(1788–1857) — немецкий писатель-романтик 207, 208

Эйхман Адольф
(1906–1962, казнен в Израиле) — немецкий военный преступник, оберштурмбаннфюрер СС, заведующий отделом гестапо, ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса»; в 1960 г. разыскан и выкраден израильской разведкой в Аргентине 274

Элленс Франс
(Ван Эмергем; 1881–1972) — бельгийский писатель 180

Эрдман Борис Робертович
(1899–1960) — театральный художник, брат Н. Р. Эрдмана 348

Эрдман Николай Робертович
(1902–1970) — драматург 240, 345-347

Эредиа Жозе Мария де
(1842–1905) — французский поэт 163

Эренбург Изабелла Григорьевна
(1886–1965) — сестра И. Г. Эренбурга 75

Эренбург Илья Григорьевич
(1891–1967) — писатель, общественный деятель 15, 56–58, 61, 63, 65, 66, 68–78, 87, 106–108, 110, 133, 156–158, 161, 162, 166, 172, 179–181, 187, 192, 193, 199, 220, 221, 225–227, 229, 232–235, 246, 250, 253, 259, 260, 262, 264–270, 273, 274, 277, 284, 287, 299, 300, 303, 304, 306–313, 315, 317, 328, 333–336, 338, 340, 341, 365, 366, 380, 384, 385, 390, 393, 394, 396, 399, 400, 406, 413

Эренбург Ирина Ильинична
(1911–1997) — переводчица французской литературы, дочь И. Г. Эренбурга 68, 75, 199, 212, 214

Эренбург Л.М.
см. Козинцева-Эренбург Л. М.

Эткинд Ефим Григорьевич
(1918–1999) — филолог, литературовед, переводчик, профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена; в 1974 г. был лишен работы и вынужденно покинул СССР 243

Эткинд Марк Григорьевич
(1925–1979) — искусствовед, брат Е. Г. Эткинда 61

Эфрон Ариадна Сергеевна
(1912–1975) — писательница, дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона 296

Эфрон Георгий Сергеевич
(Мур; 1925–1944, погиб) — сын М. И. Цветаевой 296, 297

Эфрон Сергей Яковлевич
(1893–1941, расстрелян) — муж М. И. Цветаевой 295–297, 301

Эфрос Абрам Маркович
(1888–1954) — искусствовед 52

Эффель Жан
(Франсуа Лежён; 1908–1982) — французский график 69

Юдовин Соломон Борисович
(1892–1954) — художник-график 401

Юткевич Сергей Иосифович
(1904–1985) — кинорежиссер 197

Ягода Генрих Григорьевич
(Енох Гершенович; 1889–1938, расстрелян) — нарком внутренних дел с 1934 по 1936 г. 98, 104

Якир Иона Эммануилович
(1896–1937, расстрелян) — командарм I ранга 96

Якобсон Роман Осипович
(1896–1982) — лингвист, литературовед 117, 124, 133, 229

Яковлев Александр Степанович
(1886–1953) — прозаик 327, 340

Ясенский Бруно
(1901–1938, расстрелян) — польский и русский писатель, жил в Москве 241

Becher — Бехер Иоганнес

(1891–1958) — немецкий поэт, член КПГ, с 1935 по 1945 гг. жил в Москве 205

Орган Центра
Вторник
ШАБЛОНЫ И
(книжники)
Chais Family Foundation
AVI CHAI
9 785495 300090
В книге историка литературы XX века Бориса Фрезинского речь идет о людях разной меры известности, дарования, силы характера и целеустремленности. Читатели вместе с автором задумаются над тем, как складывались эти жизни — в зависимости от таланта, натуры и личной воли персонажей и в силу фатальных, нередко трагических, обстоятельств их времени, их судеб… Книга открывается рассказом о начале нового цикла преступлений Сталина — убийстве Михоэлса….
THE CHAIS FAMILY LIBRARY OF JEWISH THOUGHT

notes

Примечания

1

Примечательны бюрократические проволочки: Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении С.М. Михоэлса ордена Ленина и звания народного артиста СССР был подписан только 6 марта 1953 г. (на следующий день после смерти Сталина!), а вот отменен более оперативно: уже 30 апреля того же года. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

2

Биография Ф. Г. Шубнякова характерна — он руководил операцией по практической ликвидации Михоэлса, будучи начальником отдела МГБ СССР, а в 1949 г. стал заместителем начальника 2-го Главного управления МГБ СССР, в 1951 г. — уже начальником этого управления, но в том же году был арестован по делу министра ГБ СССР Абакумова. Однако уже 18 марта 1953 г. Шубняков писал объяснительную записку Берии не как заключенный: обратите внимание на то, что он именовал всех чекистов, кроме арестованного Абакумова, товарищами — как свободный человек, а не арестант. После ареста в июне 1953 г. Л. П. Берии, успевшего добиться реабилитации арестованных врачей и убитого Михоэлса, Шубняков в 1953–1954 гг. снова заместитель начальника 1-го Главного управления МГБ, затем заместитель 2-го Главного управления КГБ СССР…

3

См. также: Л. С.Эйдус. «Под знаком Кафки». Публ., вступит. заметка и примеч. О. Е.Рубинчик //«Я всем прощение дарую…». «Ахматовский сборник». М. — СПб., 2006. С. 24–32.

4

В биографическом словаре «Художники русского зарубежья» (1-е издание — СПб., 1994; 2-е — СПб., 1999) есть заметка о Фотинском, где без ссылки на источник сообщается о его эмиграции в Берлин в 1907 г. и переезде в Париж в 1908 г.; там же есть ссылка только на прижизненное издание мемуаров Эренбурга, а потому нет информации о подлинном имени Фотинского, которое было мною опубликовано в комментариях к первому полному изданию мемуаров Эренбурга в 1990 г.

5

ГАРФ. Ф. 479. Оп.1. Ед. хр.5.

6

Вестник работников искусств. 1926. № 7. С. 8–9. В статье, проиллюстрированной репродукциями полотен А. Федера, К. Терешковича, Л. Козинцевой, двух гоголевских листов М. Шагала и двух скульптур О. Цаткина (так транскрибировал его фамилию Марголин), речь шла о Федере, Ларионове (упорно именуемом Николаем) и Гончаровой, Цадкине и Фотинском. Журналист Марголин более всего был известен киевскими статьями времен Гражданской войны.

7

Дочь писателя В. Г. Лидина Елена Владимировна показывала мне замечательный пейзаж Фотинского, сохранившийся у ее отца, видел я его работы и у И. И. Эренбург и А. Я. Савич.

8

Деревня, где проводили лето Фотинские, в департаменте Дордонь, на юго-западе Франции.

9

Французский политический деятель и литератор Эммануэль д’Астье де ла Вижери (1900–1969) выступал на вечере памяти Гийома Аполлинера в Москве в 1960 г., на котором председательствовал Эренбург.

10

Ирина Ильинична Эренбург (1911–1997) — дочь писателя; Изабелла Григорьевна Эренбург (1886–1965) и Евгения Григорьевна Каган (1883–1965) — сестры писателя, жили у него на подмосковной даче в Новом Иерусалиме.

11

Писатель Вениамин Александрович Каверин (1902–1989) навестил Фотинского с подачи Эренбурга, будучи во Франции в 1961 г. вместе с женой, писательницей Лидией Николаевной Тыняновой.

12

Глава «Ротонда» из первой книги мемуаров Эренбурга, до их публикации в «Новом мире» (тогда они еще предположительно назывались «Годы, люди, жизнь»), была опубликована в № 5 (108) за 1960 г. международного журнала «Horizon» (по-русски журнал выходил под названием «В защиту мира»).

13

С приятелем Эренбурга писателем Владимиром Германовичем Лидиным (1894–1979) Фотинский познакомился в его первый приезд в Париж в 1928 г. С ближайшими друзьями Эренбурга Овадием Герцовичем (1897–1967) и Алей Яковлевной (1904–1991) Савичами, в 1920-1930-е годы жившими в Париже, Фотинский был хорошо знаком.

С.Коэн, прочитав это, сообщил мне, что речь идет о читателях в СССР, так как он тоже читал «Незабываемое» в рукописи.

15

К.И. Чуковский 23 декабря 1932 г. записал в дневнике: «Сегодня утром пришел ко мне Шкловский. Рассказывал о своей поездке к брату — который сослан на принудит, работы куда-то на Север» (К. Чуковский. Собр. соч. в 15 тт. Т. 12. М., 2006. С. 497).

16

В комментарии А. Ю. Галушкина к этому письму говорится: «Речь идет о брошюре Г. И. Семенова (Васильева) „Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг.“, вышедшей в феврале 1922 г. в Берлине», далее сообщается, что автор был одним из организаторов антибольшевистского заговора в конце 1917 г., причем Шкловский, по возвращении в 1918 г. из Ирана в Петроград, примкнул к этому заговору в качестве руководителя Броневого отдела; после разгрома заговора бежал в Поволжье, но в конце 1918 г. отошел от политической деятельности. В начале 1919 г. Шкловский приехал в Москву, где за его политблагонадежность перед Свердловым поручился Горький. Брошюра Семенова, по существу, носила провокационный характер.

17

Имеется в виду расположенная на Шпалерной улице питерская политическая тюрьма, обслуживавшая все политические режимы России. Опасение Шкловского подтвердилось — В. Г. Корди-Шкловская была арестована; Серапионам с большим трудом удалось добиться ее освобождения под залог.

Имеется в виду знаменитый берлинский Зоосад.

19

Чувство к Эльзе довольно долго не оставляло Шкловского; в августе 1939 г. он писал ей с непреодоленной горечью: «Поклон Арагону и всем, кого ты любишь. Надеюсь, тебе придется кланяться не так много».

20

Н. Я. Мандельштам называет «Zoo» «злосчастной книжкой, где Шкловский слезно просит победителей взять его под опеку» (Н. Мандельштам. «Воспоминания». М., 1989. С. 155), но эти слова отнюдь не исчерпывают книгу.

21

В. Шкловский. «Сила нового»; статья, написанная за несколько дней до разгрома Зощенко («Литературная газета», 3 августа 1946).

22

Дочь писателя В. В. Шкловская-Корди пишет: «Чтобы стать благополучным и печататься, нужно было уступить давлению советской власти. Около мамы это было невозможно. С С. Г. — легко… То, что ей удалось подчинить себе и увести отца из дружной, веселой, несмотря на несчастья, семьи, мы с мамой объяснили его привычкой с детства подчиняться чужой воле — матери, которая его не любила… Взяла его в острый клюв и С. Г.» («Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников». М., 2002. С. 323).

23

Приятельница Ахматовой, вдова В. Стенича Л. Д. Большинцова, записала услышанную от А. А. 1 октября 1965 г. реплику: «Ошибка позднего поколения — (даже нашего) — Шкловский. Мы принимали его трескотню за остроумие, блеск и воображение» («Известия», 22 июня 2002).

24

В 1966 г. Шкловский сообщал Эльзе Триоле: «Прислали мне из Мичигана докторскую диссертацию о Викторе Шкловском. 397 страниц, и есть даже раздел „Ссора с Якобсоном“» («Диалог писателей». М., 2002. С. 742).

25

В альманахе «Дом Искусств» (СПб., 1921. № 2. С. ИЗ) упоминается выступавший в Доме Искусств пианист В. Пастухов, исполнитель новой французской музыки; может быть он был автором понравившихся Блоку стихов?

26

Текст записи из рабочих тетрадей Е. Г. того времени и письмо М. С. Шагинян предоставлены покойным М. Л. Полонским.

27

Имитатором Шкловский назвал Эренбурга, и это у Серапионов прижилось.

28

Одно замечание рецензента оказалось курьезным: «Ахиллесова пята ее творчества — язык»; возникло оно оттого, что Г. Иванов ухватился за строчку «На языке чужом Его неловко славлю» (впопыхах он даже процитировал ее неточно, чтобы скорей сделать вывод: «Поэт сам признает, что русский язык для нее чужая стихия»), не поняв элементарного: речь идет о языке, чужом для иудейского Бога, а не для поэта (для Е. Г. русский язык был родным). Поэтому все «надежды» рецензента, что автор найдет в себе силы преодолеть «органический порок» и т. д., — выглядят нелепо. Г. Иванов был знаком с Полонской по Дому Искусств.

29

Мемуары Полонской цитируются по авторской рукописи; они готовятся к печати в издательстве НЛО.

30

Вольная Философская ассоциация, просуществовавшая в Петрограде до 1924 г.

31

1 декабря 1922 г. «Красная газета. Вечерний выпуск» анонсировала ее, называя «Под острым лезвием».

32

«Новый журнал». Нью-Йорк. 1966, № 83. С. 178. Отмечу попутно характерную фразу из этого же письма: «Еще родился новый прозаик, по фамилии Бабель, весьма приятный еврей. Серапионы его ругают, а я одобряю весьма».

33

«В серапионовском братстве были только братья, сестер не было. Даже Елизавета Полонская считалась братом, и приняли ее именно за мужественность ее стихов. Зощенко прозвал ее „Елисавет Воробей“» (Н. Чуковский. О том, что видел. М., 2005. С. 92).

34

12 апреля 1944 г. она обратилась к поэту А. А. Прокофьеву, возглавившему ленинградскую писательскую организацию, прося посодействовать ей в возвращении домой: «Вы знаете меня давно и, если считаете, что я заслужила быть в Ленинграде именно сейчас и что от меня будет польза родному городу, — скажите об этом» (РО ИРЛИ Ф. 726. Оп. 2. № 806. Л. 2); это письмо помогло.

35

И. Соколов без ложной скромности заявлял: «Экспрессионизм возник в голове И. Соколова; таинство крещения получил 11 июля 1919 года на эстраде Всерос. Союза поэтов» (см.: «Литературные манифесты от символизма до наших дней». М., 2000. С. 298). Все свои сочинения Ипполит Соколов издавал брошюрочками в 16 страниц: в 1919 г. — «Бунт экспрессиониста»; без указания года издания — «Полное собрание сочинений. Издание не посмертное», т. 1. (6 стихотворений); в 1920 г. — «Бедекер по экспрессионизму»; в 1921 г. — «Имажистика».

Так, в рецензии Боброва на новые сборники стихов (напечатана под псевдонимом Э. П. Бик. «Печать и революция», 1922, № 1), можно встретить выражения вроде «обычно лакированного Мандельштама» и «мандельштамизации стиха», наряду, впрочем, с «невнятной Цветаевой», что усиливало комплимент Пастернаку, «которого, признаться, чуточку обидно видеть в этой компании». Отметим, что в этой же статье Бобров обругал стихи всех молодых, хотя и заметил, что «все-таки кое-что остается. Таковы за многими оговорками и если вообще не бросят стихачество» — а далее перечислены 6 имен, включая Лапина, причем прочие пятеро точно не остались.

37

И. Кунин приводит в воспоминаниях о Лапине строфу из его стихотворения о Брюсове начала 1920-х годов: «И ты, Валерий, старый пес, / Разобран на гроши. / Тебя пленил бычачий хвост / И покорили вши».

Тут уместно будет привести свидетельство И. Кунина о Лапине: «„О, отцы мои в искусстве! Тик, Брентано, Эйхендорф…“ — писал он сам в одном стихотворении. Несколько позднее это были наши современники, тоже немецкие, — экспрессионисты. Он даже придумал никогда не существовавшего экспрессиониста Теофила Мюллера и иные из своих стихотворений называл переводами из Теофила Мюллера».

39

Габрилович сохранил свои ощущения начала 1920-х и ценил их; другой приятель Лапина — Лев Славин — познакомился с этими стихами через 10 лет, в совершенно иное время, и его суждение 1960-х гг. совершенно иной тональности: «Лапину скоро надоела мышиная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. Однажды он отшвырнул от себя всех этих Новалисов и Кусиковых, „общительных мамелюков“ и „радучих горевальцев“ <у Лапина: рыдучих. — *Б. Ф.*>. Что ему весь этот прокатный бред экспрессионизма? Он вырос из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заемное, не гревшее на русских морозах. А Лапин был человек очень московский» (Лев Славин. «Портреты и записки»).

Так в книге (*прим. верстальщика*).

Потом ее заменило МПО — Московское Потребительское Общество (см. воспоминания И.Кунина).

42

Илья Эренбург вспоминал: «Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом. Он и прежде говорил негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение» (И.Эренбург. «Люди, годы, жизнь» в 3 т. Т. 2. М., 2005. С. 297).

43

Предположение, что Герштейн ошиблась по части чтения «Канцоны» и все происходило на Старосадском раньше, то есть в декабре 1928 г., видимо, неоправданно, так как Лапин 1928 г. провел в Японии. Да и сохранившийся снимок Лапина на летном поле относится к самому началу тридцатых годов.

Здесь — по причине денежных затруднений (*лат*).

Вброшенный (в общество), закрученный им (*фр.*).

Со скульптором О. Цадкиным Л. Сегаль познакомилась во время поездки в Париж.

47

А. Г. Мовшенсон — брат Елизаветы Григорьевны, в ту пору студент Петроградского университета.

48

Речь идет о заметном ухудшении состояния здоровья матери Полонской после скоропостижной смерти 1 февраля 1915 г. в Петрограде отца Елизаветы Григорьевны инженера Г. Л. Мовшенсона.

49

Видимо, имеется в виду «Вечер современной поэзии и музыки» 15 апреля в Тенишевском училище.

50

Это стихотворение написано в июле 1914 г. и вошло в книгу Ахматовой «Белая стая»; оно состоит из четырех двустиший и здесь приводится с ошибками в пяти строчках.

51

Старшего сына уже расстрелянной Н. Н. Клепининой — он был арестован одновременно с нею.

52

По созвучию: Pouter — это ведь почти Pater, то есть «отец» полатыни.

53

Воспоминания А. Я. Савич «Минувшее проходит предо мною» здесь и дальше цитируются по историческому альманаху «Диаспора» (Вып. V. Париж, СПб. 2003) — публикация, запись и комментарии Б. Я. Фрезинского.

54

Всю свою почту Эренбург сжег в Париже в 1940 г., когда в город входили гитлеровцы; письма Путермана Бабелю, очевидно, пропали при аресте писателя. Архив самого Путермана, видимо, не сохранился.

«1837–1937. Pouchkine». Textes recuellis et annotes par J.E. Pouterman. Editions Sociales Internationales. Paris, 1937, p. 236.

56

Дорогой дочке Л.М.К.-Э. отечески И. Е. Путерман (*фр.*)

Russische Rundschau, 1925, № 1. Благодарю А. Я. Иоффе (Бохум, Германия) за информацию о номерах этого журнала, отсутствующего в библиотеках России, и за аннотацию статьи Либермана.

Собрание А. С. Либермана (Париж).

59

Здесь и далее все письма С. П. Либерману приводятся по ксерокопиям оригиналов, находящихся в собрании А. С. Либермана (Париж).

Письма Либермана советским авторам приводятся по подлинникам, хранящимся в РГАЛИ; его письма Замятину хранятся в ИМЛИ.

61

РНБ. Рукописные памятники. Вып. 3, часть 1. Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. Предисловие и комментарии М. Ю. Любимовой. СПб., 1997. С. 424. Далее письма Замятина жене приводятся по этому изданию.

62

Еще в сентябре 1925 г. пьеса была поставлена в Театре русской драмы в Риге — см. Исмагулова Т. Евгений Замятин на сцене театра русской эмиграции // Russian Studies. 1996, v. II, № 2. С. 361.

63

В 1928-м редактор «Нового мира» В. П. Полонский стал одновременно редактором еженедельника «Красная нива», который первоначально редактировал Луначарский.

Свои переводы С. П. Либерман подписывал псевдонимом С. Гаврин. В РГАЛИ хранится письмо С. П. Либермана поры хрущевской «оттепели», в котором говорится о его переводах стихов Гёльдерлина и новеллы Шницлера, а его перевод короткого стихотворения «Зеленые розы поэта» напечатан в сборнике Тадеуша Ружевича «Беспокойство».

65

3 августа 1925 г. Б. Л. писал сестре Жозефине: «Жоничка… Если ты еще в Германии, а в особенности если в Берлине, и тебе интересно, что я начал писать (увы пришлось пока бросить), то начало этого романа в стихах (покамест называется „Спекторский“) ты можешь получить у Семена Петровича Либермана по следующему адресу: Rankestrasse 33, I. Ladyschnikov-Verlag (тел. Steinplatz 7960; 7927)».

Райх-Раницкий М. Моя жизнь. М., НЛО, 2002.